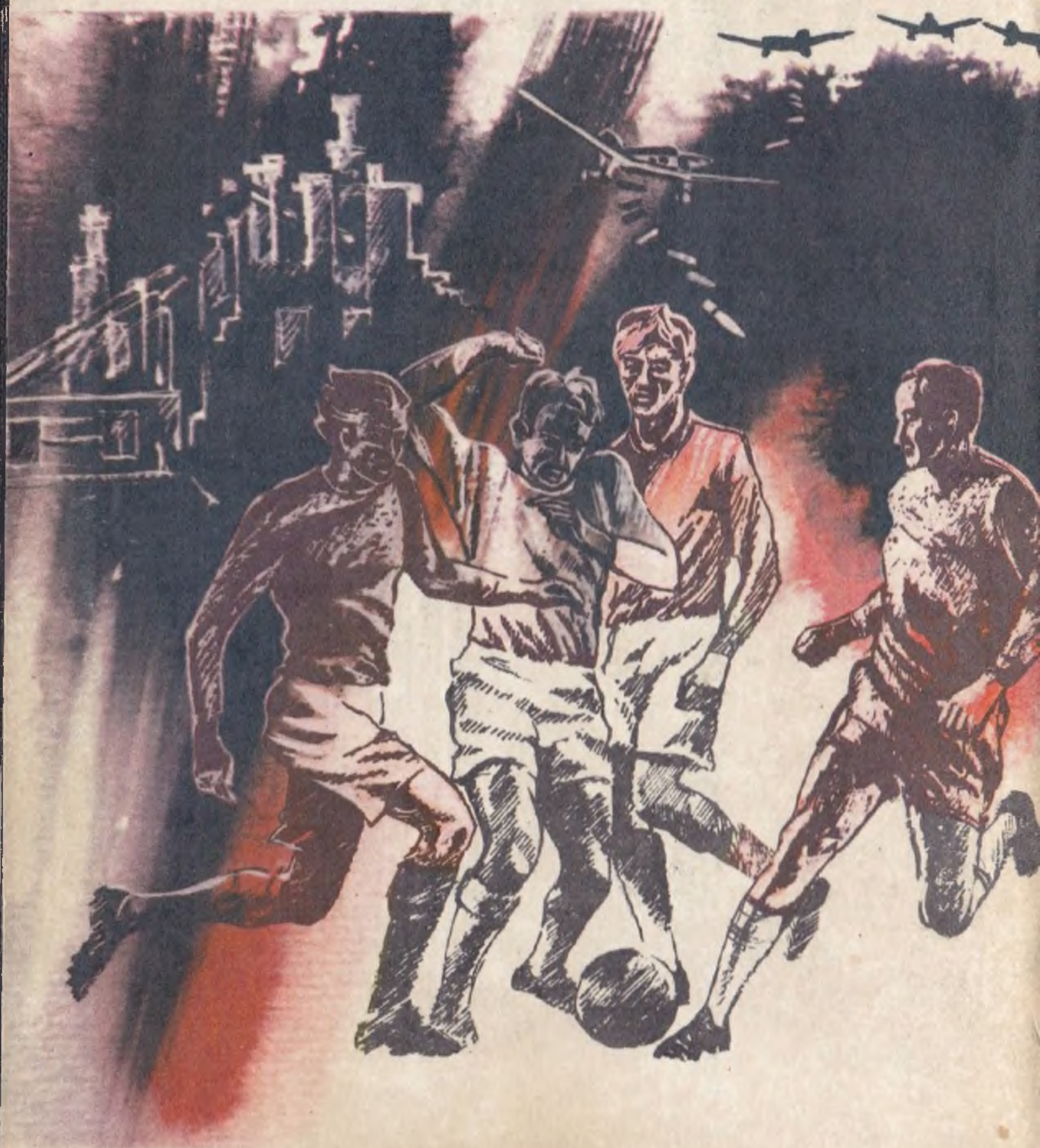




**АНАТОЛИЙ ГОЛУБЕВ**

---

# **УМРЕМ, КАК ЖИЛИ**





Scan Kreyder - 26.08.2018 - STERLITAMAK

**АНАТОЛИЙ ГОЛУБЕВ**

---

**УМРЕМ,  
КАК ЖИЛИ**

РОМАН

МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1981

Б4Р7  
Г62

Г  $\frac{70302-689}{078(02)-81}$  231—80. 4762010200

© Издательство «Молодая гвардия», 1981 г.

*Перестаньте убивать убитых,  
Не кричите больше, не кричите,  
Если вы хотите их услышать,  
Если вы хотите пережить их...*

*Из поэзии итальянского  
Сопротивления*

## НОЯБРЬ. 1964 ГОД

Я вынул пакет из почтового ящика с трудом — в новом доме, оборудованном по принципу неразумной экономности, и почтовые ящики были под стать: маленькие, узкие, только и рассчитанные на личные, уютные письма. Конверт был синий, жесткий, прошитый по центру суровой ниткой и, как бы для прочности, закрепленной жирным фиолетовым штампом. Длинный строгий гриф Комитета государственной безопасности и еще несколько входящих и выходящих штампов жались, забивая друг друга, словно им было мало места на широком поле конверта.

«Так-то, Дмитрий Алексеевич, вот и вновь ваше чекистское сердце откликнулось на просьбу о встрече с нудным, беспокойным «Джеком Лондоном», — думал я, глядя на конверт. Мне не хотелось вскрывать его.

Я положил голову на скрещенные руки и долго смотрел на конверт. Даже не заметил, как подобралась Кнопка, тявкнув, заскребла лапами по брючине, просясь на руки. Машинально подхватив ее, посадил на колени, и она, пригревшись, задремала, тихо покусывая во сне от удовольствия.

Нередко бывали дни, наполненные острым желанием увидеть какой-нибудь собачий сон и узнать, что видится спокойно спящим псам в минуты, когда тебе осточертеет жизнь, когда становится так неумоготу, что забываешь — жизнь-то одна и при всей своей долготе до смехотворного коротка, а ты растрачиваешь ее по пустякам...

Потом я встал и долго рылся на полках стеллажа, пытаюсь найти старую зеленую папку с материалами к книге, непосредственное отношение к которой имеет этот

синий конверт. Книге, которую, как мне казалось всего два года назад, и не суждено будет написать. И воспоминания, такие далекие и такие близкие, чередой и попеременно, нахлынули на меня. Когда это началось? Когда?

## ДЕКАБРЬ. 1957 ГОД

Моросил нудный балтийский дождь. Он уже давно слизал чахлые шапки снега с островерхих крыш и мшистых пней и только никак не мог забраться под темные лапы елей, в густом полумраке талый снег светился сизоватым огнем.

Охота не сложилась. С утра провели четыре гая, но и в мелколесье, и в чащобе, и на почти открытой буроржавой болотине не взяли ни одного зверя. Только перед обедом стоявший на самом дальнем краю стрелковой линии веселый краснощекий литовец, директор крупнейшего в столице ресторана и великолепный рассказчик, словно продолжая излагать небылицу, с одного выстрела взял кабана, шедшего против гона.

Когда тяжелая, набитая сеном телега с огненно-рыжей кобылой в мокрой лоснящейся упряжи собрала нас вместе на сырой опушке, каждый начал выдвигать собственные объяснения неудачной охоте.

Только егерь Трушин молча гонял желваки по скалам, не вмешиваясь в разговор городских гостей.

Я с интересом рассматривал егеря, мордастого парня, мужчину лет сорока пяти, — возраст его путала копна буйных, совершенно седых волос. Ежели бы он не служил егерем в этом глухоманном краю, подумал, что красится молодец. Когда секретарь райкома знакомил с ним, мягко, по-литовски, выговаривая русские слова, склонив в литовскую форму даже фамилию егеря: «Трушинас», — я все глядел на его белые волосы.

Гидеминас Карлович, защищая егеря, примирительно говорил:

— Бывает всякое — это же охота! А насчет зверя не сомневайтесь — у нашего Трушинаса кабанами лес набит.

За обедом, когда славно перекусили, пропустив по несколько стаканчиков домашнего литовского пива, похожего на парное молоко, отчего голова стала чисто-чистой, а ноги будто налились холодной тяжестью, я пересел поближе к Трушину. Он дружески улыбнулся и, перехватив мой взгляд на свои белые волосы, пояснил:

— Это в одну ночь, когда линию фронта переходил под родным Старым Гужем. Расстреляли меня тогда фрицы...

— А лет-то сколько вам было, Федор?

— Восемнадцать. Двадцать четвертого года...

— А выглядите старше, — удивился я, вспомнив, что давал ему сорок.

— Жизнь такая. Не молодила. Воевал. Дважды ранило, — и, как бы предвосхищая мой вопрос о том, как занесло его в эти глухие края на тихую лесную работу, сказал: — Контузило под Берлином крепко. Врачи сказали: «Жить хочешь — в лес забирайся! Только свежим воздухом и прокормишься». Э, да это длинная история. — Он махнул рукой, словно говоря этим жестом: и не проси рассказать, всего, что было, не расскажешь. Но в жесте сквозило и другое — старое жило, и отмахнуться от прошлого не сможет никто: ни он, ни я, ни кто третий... Поэтому, наверно, меня и охватило желание узнать историю Федора Трушина...

— Гитлеровцы нагрянули в Старый Гуж слишком уж быстро. Мы, собственно, и очухаться еще не успели от воскресного матча. Я тогда впервые попал к Токину под бок — был у нас знаменитейший в Гуже центр нападения. Сколько смотрел потом разных футболистов, а такого не помню. Сам после войны уже не играл, раны вязали, а Юрку Токина до сих пор сравнить ни с кем не могу. Такого парня война сгубила! Но как талантлив был, так и бесшабашен. И матч тот, в первый день войны, чуть убийством по его милости не кончился.

Федор помолчал, как бы присматриваясь, интересен ли собеседнику его рассказ о давних, глубоко личных событиях.



— Так вот и кажется, что от матча того до дня сегодняшнего только и была что ночь, когда мы линию фронта перейти пытались. Собралось нас человек семь. Токин тогда подпольной организацией руководил, да что-то мне не нравилась она — может, потому, что все меня еще, как и на футбольном поле, молокососом считали?! Не чувствовал я веры от ребят и решил податься к нашим, в действующую армию. Совпало желание мое с решением организации — помочь офицерам нашим, из лагеря бежавшим, через линию фронта махнуть. Подробности сбора уже и не помню, помню лишь: в дальней деревне у моей тетки ночевали, в сарае, да к стрельбе прислушивались: фронт в те времена будто вода под ветром — то прихлынет, то назад подается. Вышли в потемках. Я с детства отцом к охоте приращенный, вот как вы. Имя-отчество-то ваше как? — вдруг спросил он, подливая в стакан густого пива.

— Андрей...

— А отчество? — настойчиво спросил он.

— Зовите по имени, Федор. Я ведь вас моложе, да и на охоте мы...

— И то верно, — согласился Федор. — Так вот... Охотничьи тропы я знал, но со страху — стрельба то слева, то справа пугала — заплутал чуток. Когда уже показалось, что самое страшное позади, и напоролись. Деревню ту не по реке обходить следовало... Потом, уже в сарае, выяснилось, что егерская засада в уцелевших избах была. То ли своих разведчиков немцы из нашего тыла ждали, то ли наших караулили.

С нами долго не чикались — тут же в соседней избе расспросили, что к чему, и утром — темно еще было, петухи только голосить начинали, — у амбара постреляли нас. Полициям схоронить велели. Обожгла меня пуля, а не прикончила — только сознание потерял. Очнулся уже днем — солнце сквозь туман, как лампа трехлинейная без стекла, едва светит. Подняться не могу — боль в боку, да и бревно на мне. Разобрался — и не бревно то вовсе, а кто-то из наших, зачоченевший уже... Пополз я, до избы добрался, там и отдышался у бабы. А спасло меня, что полицаи пьяные были. Хоропить сразу поленились, а потом всех на подводы погрузили и отправили куда-то.

Федор задумался. Воспользовавшись паузой, я спросил:

— А организация-то действовала? И что с Токиным?

— Э, — махнул он рукой, — темное дело. Я толком не знаю, потому как вновь бежал через линию фронта, и на этот раз удачнее. Вступил в армию. Младшим лейтенантом до Берлина дотопал, и что там дома делалось — не ведаю. После войны пару раз ненадолго ездил в Старый Гуж: первый раз мать хоронить, второй — дом продать после смерти сестры, — всякого наслушался. Кто утверждал, что никакой организации не было, кто говорил, была, да предали ее. И будто предал Токин, за что ему и дали долгий срок. А ребят немцы постреляли. Вот это точно. Среди них много знакомых спортивных парней было. Из того последнего футбольного матча человек пять погибло. А кто в лапы к немцам не попал, воевать ушел. Погиб потом, или война по разным углам раскидала. Теперь уже и не собрать правды по осколкам. Так слухами прошлое и колышется, как неверная дымка. Мертвым — не нужно, живым — некогда: сегодняшние заботы одолевают...

Федор сокрушенно вздохнул.

А мысли мои были уже заняты Гужской подпольной организацией. Чутье подсказывало, что за скупым сообщением Федора кроется любопытная история, которая была бы весьма полезна для моей спортивной газеты.

Вернувшись из Литвы, я четыре дня крутился, как белка, добывая незаконченный материал, — шеф потребовал переделки очерка, вынул из номера и уже трижды спрашивал обо мне.

Признаться, очерк действительно не получился. Если бы не «нужная» тема, никогда не осмелился даже предложить в отделе. Но поскольку о заводских коллективах физкультуры хорошо написать трудно, то и такой уровень вполне проходной.

Шеф же, заворачивая материал, хорошо знал мой непокладистый характер и рассчитывал, что наверняка найду к нему поспорить по замечаниям и он воздаст мне по заслугам за самовольное двухдневное отсутствие.

Его, Петра Николаевича, понять бывало нелегко: с одной стороны — добрейшей души человек. С другой — самодур: то призывает к творческой активности и борется с бюрократическим контролизмом, то требует точнейшей явки на работу, проверяя почти по минутам.

«Ну, дудки, уважаемый Петр Николаевич, ваш номер не пройдет. Я вас жестоко обману — заранее соглашаюсь со всеми вашими претензиями и переделываю, как желаете. А спорить с вами не пойду. Очень вам не понравится этот «лейбмотив», как вы любите выражаться!»

Однако номер не прошел. Петр Николаевич потребовал меня пред свои светлы очи.

Шеф сидел красный, согнувшись над пробной полосою, и зло вычеркивал целые абзацы своим красным фломастером. Его маленькие глазки за толстыми стеклами очков, которые, казалось, потели от жара горящего лица, сделались еще меньше. Шеф, заметил я, действительно не в духе.

— Что с тобой? Или заболел? — Шеф бросил фломастер, откинулся в зыбком, скрипучем кресле и принялся меня рассматривать, словно увидел впервые. — Никогда ни с чем не соглашался, и вдруг такое смирение?!

— Это не смирение, Петр Николаевич, это корысть...

— То есть? — Он подозрительно наклонил голову.

— Задобрить хочу, а когда полюбее, обратиться с необычной, почти творческой просьбой.

— Опять где-нибудь какого-нибудь козла стрелять падумал? — подозрительно спросил он, но по самой его подозрительности, незаинтересованной, выраженной как бы между прочим, было видно, что он отошел и настало самое время...

Сбивчиво и неубедительно, я рассказал ему, что узнал от егеря Трушина и что намерен поискать в Старом Гуже.

Он слушал меня внимательно, постоянно загоняя на место свои тяжелые очки элегантным жестом безымянного пальца.

— Месяц прокопаешься, а потом выдашь жиденькие вариации на темы творчества Александра Фадеева? У меня газета ежедневная и спортивная, а не толсто-сумное издательство. Как, говоришь, его фамилия?

Токин? Не слышал такого. Знаю одно — в сборной России не играл.

Даты, фамилии и результаты шеф хранил в голове подобно запоминающему устройству, и не было случая, чтобы ошибся. Если в ораторской запальчивости на редакционной коллегии он и срывался на такие выражения, как «недоеная корова куста боится» или «он палец о палец не сделал для этого», в знании фактов с ним тягаться не приходилось.

— А коли не был в сборной, так что, не человек?

Мое замечание внезапно рассердило его:

— Как знаешь... Розыски в Старом Гуже пойдут вместо охотничьих экспедиций. Пока не завизируешь свою беседу с Белогубовым... Ответственный секретарь жалуется, что не довел материал.

— Попробуй Белогубова поймай...

— Охотничек! Столичного хоккеиста выследить не можешь, что же ты в лесу делаешь?!

Я стерпел, и терпение мое перешло в наглость — я положил ему на стол письмо.

— Подпись на подпись, Петр Николаевич. Подмахните послание в Старогужский областной комитет государственной безопасности.

— Не в комитет, а в управление, — красным фломастером подчеркнул слово «комитет», но письмо у себя оставил.

## ИЮНЬ. 1941 ГОД

Юрий проснулся с таким чувством, словно и не засыпал. За окном ярко горело солнце, и от света, как бы исходящего от каждого предмета в комнате, нещадно резало глаза.

Юрий лежал, боясь пошевелиться. Не покидало ощущение, что, встань он сейчас — голова так и останется лежать на подушке.

«Который час? — лениво подумал он, прислушиваясь к шуму за окном. — Неужели шести нет?! Солнце вроде бы высоко...»

Он нехотя поднялся на ватные ноги и босиком прошел по вязаному домашнему коврику. Споткнулся о двухпудовик, чертыхнулся. Боль от ушибленного паль-

на как бы заглушила боль головную, и от этого он оцепенел.

«Ох и дурака же сваял я вчера! Сегодня воскресенье, вечером игра... А состояние такое, что не только по полю бегать не будешь — до стадиона не доберешься! И все этот Глебка: «Давай с девочками погуляем, для резкости!» «Для резкости!» — передразнил Юрий, взявшись за голову обеими руками, потряс ее, словно хотел стряхнуть осадок вчерашнего вечера: и спал, и вроде не спал. — Уже неделю чувствовал себя скверно. Ясно, болен! Заложило грудь, из носа потекло... Прошлую календарную игру не стоило вообще выходить на поле. Даже Пестов и тот не хотел ставить. А кто играть будет? Мелкота, что ли, вроде Трушина?! И я отыграл. И отыграл в полную силу. Зато теперь, да еще после этой вечеринки...

Ему, Глебке, что — сиди на скамейке запасных, а с меня, Токина, три шкуры начальник депо спустит, коль «Локомотив» сегодня петуха даст. И так на завкоме каждым освобождением от работы попрекает».

Токин представил себе, чем закончится сегодняшний воскресный день, если они у себя, на железнодорожном стадионе, завалятся этим торгашам из «Знамени». И от одной мысли о справедливом и несправедливом, что обрушится на его голову, он окончательно пришел в себя, натянул трусы, поскольку всегда, зимой и летом, спал голым, и выскочил в сад.

Матери не было — она уехала в деревню к брату помогать окучивать картошку. Обещала вернуться в понедельник к вечеру, оставив сыну прибранный дом и чугунок с едой, еще превшей в полумраке русской печи.

«Или больным сказаться, и пускай без меня мутузятся?! С больного взятки гладки! Да ведь не поверят. Скажут, Токин — и большой! Быть того не может», — Юрий представил себе подобные персусуды и принялся яростно делать гимнастику, словно кто-то мог вот-вот отобрать у него эту единственную возможность прийти в норму.

Надев спортивный костюм, Юрий побежал своей обычной дорогой вдоль длинного некрашеного забора завода Карла Либкнехта, потом в гору, через овраг, в сторону электростанции, а потом вдоль берега Гужа, назад, к заводу, и вдоль забора — домой. Но сегодняш-

нее утро выглядело особенным: ни одной души не попало навстречу, как будто город вымер или затих в предчувствии чего-то значительного. После пробежки сполоснулся из ржавой бочки, стоявшей под яблоней, и хорошенько растерся жестким полотенцем.

«Великая вещь — зарядка! — в охотку потягиваясь, рассуждал он. — А водичкой окатишься, и словно заново родился. Конечно, в игре вчерашняя гулянка скажется. Да семь бед — один ответ».

Юрий прошел на кухню и принялся готовить любимую, в пять яиц, яичницу, предварительно мелко накрошив и хорошенько прожарив пол-ломтя, с кровинкой, украинского сала.

В саду забрежал Салют. Юрий не успел обернуться, как на пороге, с грохотом распахнув дверь, вырос Глеб.

— Юрка, война! — Глеб не выкрикнул, скорее выдохнул, повиснув на низкой дверной притолоке всем телом.

— Жрать будешь? — даже не услышав сказанного Глебом, спросил Юрий. — А то пять яиц на двоих — почти что ничего!

И, лишь всмотревшись в побледневшее скуластое лицо Глеба, услышал, как тот громко повторил, теперь почти прокричал:

— Война ведь, Юрка, настоящая, с немцем!

Глеб прошел в кухню и тяжело опустился на табурет. Юрий повернулся к плите — густой чад от подгоравшего сала столбом тянул к потолку. Сдвинув яичницу с огня, Юрий нырнул в горницу к большому ящику, составлявшему семейную гордость. Это была редкая штука в Старом Гуже — радиоприемник, подаренный ему как капитану команды, выигравшей первенство Российской Федерации среди заводских команд. Ящик, прошлой осенью занявший свое место в просторной горнице, стал любимым развлечением матери. Она регулярно слушала все передачи, даже специальные медленные диктовки центрального радио для местных радиопунктов.

Ящик нагревался не спеша, и Юрий тупо смотрел на разгоравшийся зеленый глазок, и ожидая, и боясь услышать подтверждение Глебовым словам.

Зеленый глазок вспыхнул полным огнем, и тотчас раздался голос диктора:



«...Без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек».

Юрий и Глебка переглянулись. В расширенных зрачках Глебки светился неприкрытый ужас — настолько чудовищной показалась цифра жертв. А голос продолжал:

«Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора... Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей...»

Юрий стоял, обхватив приемник обеими руками, будто опасался, что тот может умолкнуть, убежать, раствориться или выкинуть еще черт знает какой номер и он не услышит главного: что же делать, что же делать дальше?!

Он очнулся, когда из динамика голос, бравший за душу, тихо, но твердо произнес:

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Юрий стоял на трамвайной остановке, небрежно держа свой знаменитый желтый чемоданчик, — аккуратно сложенная форма лежала под крышкой, на которой был наклеен вырезанный из «Огонька» портрет Валерия Чкалова. Любимый портрет любимого летчика. Улыбающийся Чкалов в толстом сером свитере с высоким, крупно вязанным воротником.

На остановке собралось человек шесть. И все молчали, словно на похоропах. Юрий, подняв голову, увидел мелкую черную сыпь на горизонте, там, где кончалась ослепительно белая туча, и словно отдельно, не связанно с видимым, слышал частую сыпучую дробь далеких

барабанных палочек. Самолеты сосчитать было невозможно, ибо шли они стороной, так к городу и не приблизились, то ли боялись зениток, то ли задача у них была иная, и Старый Гуж им был совершенно не нужен.

В обычно шумном трамвае было также тихо, будто Юрий и вошедшие с ним пассажиры принесли с собой гнетущую тишину оттуда, с улицы, с высокого деревянного настила остановки. Только впереди, возле кабины вожатого, двое мужчин переговаривались вполголоса, и, к удивлению своему, Юрий слышал, что беседа у них совсем мирная — о совместном вечернем походе к кому-то на крестины.

«Неужели не знают, что война? А может, выяснится, что паника зряшная?! Так, забрела какая-то свора, их перебили наши пограничники, и баста. — Юрий вздохнул. — А коли всерьез война, может, и играть смысла сегодня нет? Какой там, к дьяволу, футбол...»

Юрий обычно соскальзывал с трамвая на ходу, на самом повороте, и через калитку служебного входа сразу же попадал к раздевалке — веселенькому красносинему дому с двенадцати окнами по фасаду. От дома к деревянной трибуне вела дорожка. Собственно говоря, дорожку как таковую Юрий редко видел — из раздевалки к полю команда шла сплошным людским коридором, в котором стены — все до одного знакомые, благожелательные лица. Сегодня дорожка сиротливо краснела кирпичом, словно раздетая поздней осенью рябина, и от этой обнаженности сердце Юрия захолопуло, как в минуту несправедливого, обидного проигрыша по его вине.

Команда была почти в сборе. Игроки сидели по просторным скамьям, и, казалось, ни у кого не было желания переодеться.

— Здорово! — Юрий прошел к своему шкафчику, несколько не удивившись, что никто не ответил на его приветствие.

Следом за Юрием в комнату вошел Владимир Павлович. Юрий, не оборачиваясь, узнал его по шумному дыханию и тяжелым шагам грузного человека. Пестов, заведующий типографией областной газеты, когда-то был футбольной знаменитостью Старого Гужа. Его забрали в московский «Спартак», но там, в столице, ему не повезло — буквально в первой игре он сломал ногу

и целый сезон лечился. Кость срослась неправильно. Пришлось ломать вновь. И снова срослась неправильно. Кончилось терпение, он раньше времени начал тренироваться. А был высокий, плотный... Кость не выдержала, открылся воспалительный процесс, и сгорел за два года его недюжинный футбольный талант. Теперь Пестов исполнял обязанности тренера «Локомотива», исполнял ревниво, по-серьезному, словно не тренировал молодежь, а мстил жизни за свою собственную неудачу в спорте.

— Здравствуйте, добры молодцы. — Владимир Павлович снял щеголеватую белую кепку, отер рукавом лоб, словно очень спешил, беспокоясь, в каком состоянии найдет свое хозяйство, и, увидев всех в сборе, успокоился. — Здравствуйте, добры молодцы! — еще раз повторил он и, услышав недружный хор голосов в ответ, громко рявкнул: — Здравствуйте!

Все невольно по-солдатски дружно ответили.

— То-то же! Слушаю и не верю — совсем голоса потеряли. Как капарейки перекормленные!

— Не до голосов теперь, Владимир Павлович, — затынул Глеб, — того и гляди головы полетят, а вы о голосах...

— До ваших голов очередь не скоро дойдет. Без ничего в Красной Армии спленки имеются. А вы, как бесценные спортивные светила, будете в резерве сидеть, пока мы к Берлину не подойдем, — Владимир Павлович лукаво оглядел всех и добавил: — Чтобы лицом в грязь на победном параде не ударить, таких красавцев для форсу перед войсками в тренировочных костюмах пустят. Знай, мол, наших!

Шутка не вызвала никакой реакции. Да и сам Владимир Павлович шутил как бы нехотя, с оглядкой, не веря, что поступает правильно.

— Ну вот что... Дело на границе, видно, серьезное. Звонил в обком партии, спрашивал, как с игрой быть: своевременно или нет? Сказали, собирайтесь, как объявлено. По обстановке ориентируемся. Давайте-ка одеваться! А я пойду посмотрю, что в дирекции да на трибунах делается.

Выйти он не успел. Появился Бонифаций Карно, старый банщик и столь же старый болельщик «Локомотива» — один из немногих, кого Владимир Павлович

допускал перед игрой в раздевалку. Бонифаций, бросая свою парную, каждый раз появлялся к игре и дежурил у двери в раздевалку. Право занять такой почетный пост ему давало знакомство накоротке со всей командой — к Бонифацию ребята ходили париться, и каждого он «отделывал» так, что тот как бы заново рождался.

— И-и, Володька! — Он никогда иначе и не звал Пестова. С одной стороны, возраст вроде бы и позволял ему так обращаться к тренеру, а с другой — солидность рослого «Володьки» и воробышья хлипкость Бонифация, невесть где добывшего такое мудреное, небанное имя, делали фривольное обращение почти на-смешкой.

— И-и, Володька! — повторил Бонифаций. — Трибуны-то пусты. Подрейфили, прохвосты, германца в глаза не видели, а уже испугались. Что ж за болельщики? — Бонифаций погрозил маленьким кулачком в сторону двери. — На поверку пустые крикуны всегда жидки!

— Так уж и жидки?! — скорее, чтобы остановить словоизлияние Бонифация, спросил Пестов. — Тысчонки две на трибунах наберется?

— Тысчонки? — ехидно переспросил Карно. — А сотню пацанов, мелкоты разной, не хочешь?

Пестов отстранил Карно от двери и вышел.

— Что же, ребята, давайте переодеваться, — неуверенно сказал Токин. — Будет игра или не будет — не нам решать! А готовыми быть надо.

Карно одобрительно кивнул головой:

— Тем более что знаменцы приехали. И вот-вот выйдут на разминку.

Пестова не было долго. Вошел он мрачный, ничего не объяснил, только одобрительно кивнул, увидев, что все хоть и лениво, но начали одеваться.

Защелкали замочки шкафчиков, зацокали шипы по деревянному настилу. Принялись качать друг друга на спине братья-близнецы Архаровы, игравшие па краях. Если бы не левый край и не правый, то, кажется, и не узнать, где который — где Александр, а где Георгий.

Перед самым выходом на разминку, когда Юрий тревожно прислушивался к непривычной тишине за дверью, вошел начальник депо. Лицо, как всегда, серь-

езно. Только глаза на этот раз смотрели мягче, а не как обычно — с подозрением и непонятным начальственным укором.

— Правильно, что настроились. Игра сегодня, можно сказать, политическая будет. Против всего фашизма. Он на нас пушки, а мы чихали на него! Мы не боимся. И ответим игрой, да такой игрой, чтобы все, кто пришел сегодня, надолго ее запомнили. Это, как сказал секретарь обкома партии, мобилизационная игра. А то кое-кто уже начал в панику бросаться!

— У нас таких нет, — вставил Юрий.

— Знаю, потому и говорю. Немцы немцами, а вы об очках думайте. А то в заварушке знаменцы уведут у нас игру, в следующее воскресенье и не наверстаешь. Смотришь — на будущий год они на первенство Российской Федерации поедут. И на наших же паровозиках! А мы только проводниками да машинистами...

— Игру не отдадим, Всеволод Михайлович, — сказал Пестов. — Ребята будут работать на совесть. Хотя, конечно, настроения необходимого нет. Я был у соперников...

— Ну и как они? — нетерпеливо спросил Всеволод Михайлович. — Ножи точат?

— Непохоже, скорее сопли распустили.

— Знаем мы их сопли! — подал реплику из угла Саша Толмачев — вратарь, а по профессии водопроводчик из горкомхоза. — Они и прошлый раз фертиль выкинули — мол, все больны, а как вышли — полезли, сдва остановили...

Посмеялись. Но, когда выбрались из раздевалки, стало не до смеха. Стадион встретил сиротливой пустотой, такой пугающе непривычной, что все вновь умолкли и угрюмой нестройной толпой побрели на поле.

— Начальство приехало, — сказал Стас Тукмаков, рослый центрхав, наборщик из типографии Пестова, и кивнул на «скворечник» — небольшую беседку с крышей в самом центре главной трибуны. Там набилось столько народу, что, казалось, «скворечник» завалится.

Юрий лениво посылал Толмачу несильные мячи, не столько пытаясь разогреть вратаря, сколько проверяя себя: здорово ли сказывается вчерашнее гулянье? За необычностью сегодняшней обстановки на стадионе

Юрий совершенно забыл о том, что вряд ли сможет играть с полной отдачей.

«И Пестов там, в «скворечнике»... Может, еще отменят игру? Зрителей почти нет. И не припомню, чтобы так мало народу было. Даже когда пацаны играют, и то болельщиков на трибунах хоть отбавляй. Футбол-то уважают...»

Совещание на главной трибуне затянулось. Большие часы с черными деревянными стрелками показывали уже пять минут лишку, а судейский свисток еще не прерывал разминку. Подошел Глеб.

— Судя по всему, можно сматывать удочки.

— Я бы с удовольствием. Нет настроения.

— А Сашок вроде прав — торгаши-то как яростно разминаются! То ли страху нагнать хотят, то ли наперед чуют, что игра не состоится!

— Это только наш Володенька в вечных сомнениях терзается. А те свое дело туго знают!

Свисток прервал их разговор. Юрий побежал вместе с командой под пустую трибуну, уверенный, что игры не будет.

Когда обе команды собрались, сверху спустился секретарь обкома партии, или, как называл его начальник депо, Хозяин. Черные круги под глазами Хозяина, человека, тяжело больного почками, но от болезни своей, может быть, и еще горячее любившего спорт, особенно футбол, стали еще чернее. Красные белки выдавали, насколько бессонна и тревожна была минувшая ночь. Видно, он знал многое гораздо раньше, чем другие, еще спокойно дремавшие в мирных постелях.

— Будем играть, — начал он. — Прошу меня извинить, что вынужден уйти, — дела. Сами видите. — Он широко развел руками, как бы призывая в свидетели пустые трибуны, с которых потекли к ним любопытные. — Желаю вам отыграть как следует. Кто знает, как сложится дальше?! Немцы бомбили Киев, Минск... Не исключено, что и до нас доберутся. Может, даже сегодня. А пока бомб нет, жизнь должна идти нормально. Прошу учесть: ваша игра — наше оружие против паникеров. Пусть людям будет стыдно, что они не пришли сегодня сюда. Начинайте.

Игра, если ее можно было назвать игрой, шла из рук вои плохо. Бежали вяло все. Токин же, пахотясь в



очень выгодном положении для удара, промедлил и упустил мяч.

Подбежавший Глеб зло ткнул кулаком в спину:

— Ты чего коробочку раскрыл?!

— С левой на правую переложить хотел...

— «С левой на правую», — передразнил Глеб. — Тут за каждым пасом на четвереньках ползаешь, а ты верные шарики перекладываешь... Ух! — И, погрозив кулаком, побежал прочь.

Через минуту Токин снова дал петуха — оставшись метрах в пяти перед воротами знаменцев, он послал мяч в штангу пустых, неосмотрительно оставленных вратарем ворот.

— Специально в штангу выцеливал? — проворчал Глеб, оттягиваясь рядом к центру, поглядывая искоса на вратаря, выбивающего мяч от ворот. — Не попасть в такую дыру!

— Сам знаешь! — огрызнулся Юрий, утираясь подолом потной, из голубой ставшей черной футболки. — Говорил вчера — до утра болтаться не надо.

С трудом доиграв первый тайм, Юрий подумал, что и к лучшему, когда такой позорный футбол видит мало народу. Да и счет, собственно, соответствовал характеру игры — по нулям. Мяч, он не дурак, за здорово живешь в ворота не полезет.

По раздевалке медленно вышагивал Владимир Павлович, грузно перебрасывая с ноги на ногу свое тело.

— Что с тобой? — внезапно остановился он перед Токиным, тяжело дышавшим, почти завалившимся на лавку.

— А что? Не успел собраться! Со всяким бывает, — протянул Токин, думая, что Владимир Павлович имеет в виду мячи, которые он должен был забивать.

— Я не об этом... С тобой что? У тебя лицо белее снега...

— Устал... Все-таки не на лавке сижу! Поле больше...

Владимир Павлович помолчал, крикнул и отошел к молодому полузащитнику Федору Трушину, впервые поставленному в основной состав.

— Неудачное время мы с тобой, Федя, для дебюта выбрали. — Он полуобнял растерянного, вконец замotanного бессмысленной беготней Федора, и громко,

чтобы слышали все, сказал: — Неудачное время, если даже такие красавцы, как Токин, забывают, что это футбол, а не игра в расшибалочку.

Юрий дернулся, чтобы ответить тренеру, но тот опередил его:

— Давай давай, капитан, посмотрю, что скажешь! Вместо того, чтобы молодым пример подавать, играешь худшую свою игру! И вообще... — Пестов говорил долго, наверное, все оставшиеся от десяти отведенных для перерыва минуты. Упреки его были не во всем справедливы, но, что поразило Токина, никто даже не сделал попытки оправдаться.

Второй тайм начался удачно. Уже на четвертой минуте Юрий с короткой, неожиданной и неуклюжей подачи новенького Трушина забил первый мяч. Забил красиво, элегантно, сам не ожидая от себя такой прыти. Видно, в какую-то минуту опыт поборол настроение — и получился сильный, без замаха, резкий удар.

Знаменцы понуро готовились начать с центра, когда Глеб, показывая на небо, сказал:

— Смотри-ка! Летят...

Вместо того чтобы остановить проходившего с мячом знаменца, Юрий закинул голову и над самыми вершинами высоких ракит увидел летящие куда-то мимо, как и утром, самолеты. Но потом они, один за другим, развернулись и пошли в сторону центральной трибуны.

Юрий обработал отданный ему мяч и отправил его на правый край одному из братьев Архаровых. А когда вновь взглянул на небо, самолеты висели прямо над полем, невысоко, чуть выше самых высоких ракит. Самолеты были чужие, холодные, с огромными крестами на крыльях и фюзеляже. От одного из них отделились черные точки и понеслись к земле. Из игравших, кроме Юрия, никто не смотрел на небо. И только когда дробным плеском близких взрывов колыхнуло небо, игра остановилась сама собой. С верхних рядов вниз сдуло остатки болельщиков. За центральной трибуной, там, где виднелась труба электростанции, взвилось к небу черное облако.

— Играть! — истошно завопил, сам не зная почему, Юрий и, погрозив кулаком в небо, подхватил мяч. Он держал его у себя в ногах и кричал: — Играть! Плевать на гадов! Будем играть!

Юрий побежал с мячом в сторону ворот знаменцев, низко наклонив голову, не обращая внимания на нарастающий рев самолета, выходявшего из пике над самым стадионом. Он помнил только, что навстречу ему бежал почему-то не защитник знаменцев, а Владимир Павлович.

— Стой, Юрка, стой! Кончай игру! — Он сгреб в охапку Токина и прокричал в ухо: — Людей погубим! Давай всех под трибуны, а то из пулеметов начнут поливать!

И, словно подтверждая опасения Владимира Павловича, следующий пикировщик сыпанул над стадионом длинный веер трассирующих пуль. К счастью, никто из стоявших на поле не пострадал.

Взмыленные, запыхавшиеся, забились они в раздевалку, — обе команды в одну, — прислушиваясь к глухим ударам, несшимся издалека, будто сквозь крышу. Никто не проронил ни слова, словно собрались под трибуной глухонемые. Только порывистое, еще не успевшее установиться дыхание примешивалось к звукам, шедшим извне. Где-то там, за стеной, рвались бомбы, что-то разрушая, кого-то убивая... И все эти привычные предметы — мячи, бутсы, майки — стали вдруг нелепыми в сопоставлении с понятиями «война», «самолеты», «бомбы», ворвавшимися в жизнь Старого Гужа.

Токин еще не отдавал себе полностью отчета в том, что незнакомое слово «война», с которым ворвался в его дом Глебка, теперь из абстрактного понятия превратилось в реальность. Для него, заводского парня, футбольные баталии были высшим мерилем человеческого достоинства, складывавшегося из таких составных, как смелость, мастерство, стойкость... Удачливая заводская команда, снискавшая в стране популярность пусть не такую, как ведущие столичные клубы, но заставившую говорить о себе всерьез. И он, капитан, футбольная гордость города, сидя здесь, в раздевалке, просто не представляет себе не то что своего будущего, а дня завтрашнего. Он знает только одно — приближаются игры, неизмеримо суровее тех, что казались им такими бескомпромиссными.

Токин сидел, опустив руки между коленей, неподвижно, будто все свои силы потратил на тот истерический

крик, призывавший к игре. А перед глазами вставали светлые трибуны московского стадиона «Динамо», на котором проходил финальный матч турнира заводских команд. И он, Юрка Токин, забил два красивейших гола. И ему хлопали москвичи. И о нем сказал известный мастер: «Помяните мое слово — об этом парне еще заговорят в стране!»

А потом круг почета, море цветов, и этот подарок — радиоприемник, и поездка к морю в профсоюзный санаторий... Когда же это было?! Кажется, что все связанное с тем триумфальным матчем в Москве было давным-давно, по крайней мере, столетие назад...

## ЯНВАРЬ. 1958 ГОД

Шеф остался верен себе, поворчав, даже не преминув это сделать на очередном заседании редколлегии, он тем не менее не только выполнил мою просьбу и подписал письмо, но и позвонил в управление Комитета государственной безопасности.

Когда я приехал в Старый Гуж и предъявил редакционное удостоверение в бюро пропусков, дежурный был уже предупрежден, и через десять минут я сидел в приемной. Дважды подходила пожилая блондинка и вежливо просила извинить начальника — у него экстренное соззачание. Смешно! Как будто, проводи он совещание обычно, мне не пришлось бы ждать. Правда, внимание показалось мне вскоре единственным признаком какой-то заинтересованности местных товарищей в том вопросе, с которым я приехал. Такое впечатление еще более укрепилось, когда через полчаса я наконец миновал двери кабинета и навстречу мне, широко улыбаясь, поднялся высокий подполковник, пожал двумя руками мою протянутую руку и сказал:

— Очень рад, очень... И простите, что заставил ждать.

— Что вы, — смущенно пробормотал я, — у вас дела...

— Есть немножко, — согласился он. — Итак, вас интересует молодежное подполье... Предупреждаю, привыкайте сразу к условности этого понятия.

— Условности? И вы считаете, что...

— Видите ли, — перебил начальник управления, — мне бы очень не хотелось навязывать вам свою точку зрения. По крайней мере, до того, как вы ознакомитесь с материалами следствия, которыми мы располагаем. Там не все равнозначно. Были и у нас свои осложнения. Но картина перед вами будет широкая. А вот ясности... Э, да... — он махнул рукой, как бы говоря: вспоминать об этом теперь уже поздно. — Вы устроились?

— Нет. Прямо к вам. Не хотел терять времени...

Начальник нажал кнопку под крышкой стола. Вошла дама, как я ее назвал, еще сидя в приемной.

— Мы бронировали товарищу номер?

— Все в порядке, Михаил Михайлович. Третий номер, как договорились.

— Ну и ладно. — Проводив секретаршу одобрительным взглядом, Михаил Михайлович. — это я уже намотал себе на ус, так как официального представления не состоялось, — сказал: — Идите-ка отдохните! А часика в три приходите к нам. Первую партию документов для просмотра наши товарищи вам уже готовят. Машина внизу вас ждет... Не прощаюсь...

Это было как в сказке. Давненько не испытывал я в своей хлопотной журналистской жизни такой заботы. И машина ждала, и номер был заказан отменный.

Наскоро умывшись, перекусив в буфете, я вернулся в управление, и меня провели в небольшую комнату. На столе лежали пухлые папки... В том мире, который открыли мне разноцветные, разноформатные, в линейку, в косую, в клеточку или просто пожелтевшие от времени некогда белые листки, заполненные синими, фиолетовыми и черными чернилами, грамотно или не очень, разными почерками или прыгающими буквами старой ундервудовской машинки, я провел долгие часы. Эти бумаги захлестнули меня и понесли, понесли, круша все на своем пути: сомнения, гипотезы, предположения, симпатии и антипатии. К вечеру четвертого дня я одолел последнюю папку и, как обычно, голодный и усталый, отправился в гостиницу.

Я уже совсем собрался было спуститься в ресторан поужинать, когда робкий стук в дверь донесся до спальни.

— Да, да! — громко, может быть, даже громче, чем следовало, крикнул я.

Дверь открылась осторожно, словно входивший подозревал какой-то подвох, ожидавший его за дверью. Я бросил завязывать галстук и, прислонившись к притолоке, с интересом стал наблюдать, что же будет после того, как наконец дверь откроется.

Когда она открылась достаточно широко, в комнату вплыл — другое слово придумать трудно, — вплыл прямо, гордо, как испанская каравелла, мужчина. Он был среднего роста, худ, с бледным лицом, окаймленным густой шапкой темных, с редкой сединой волос. Первое, что надолго приковало мое внимание в нем, были руки: сухие, бестелесные, с вздувшимися узлами как бы пустых вен. На ощупь они оказались еще противнее — сухонькие и жаркие, словно с затаившимся внутри огоньком.

— Чем могу?... — начал я, но вошедший, будто меня и не было, внимательно огляделся, опять-таки осторожно, как бы боясь подвоха. Это начало меня уже злить. Я собрался повторить свой вопрос, но, опередив меня, вошедший резко повернулся и, как-то изнутри облизнув языком губы, «как суслик», мелькнуло у меня, заговорил:

— Вот там, у задней стены, стояла кушетка. Возле правой стены — диван. А рядом, на вертящемся стульке у стола, сидел немец и печатал на машинке то, что ему диктовал переводчик Гельд... — Говоря все это, вошедший, по-монашески, лодочкой сложив на животе ладошки, постоянно облизывал губы, отчего сходство его с грызуном возросло настолько, что у меня, не знавшего ни его имени, ни судьбы, само собой родилась кличка Суслик.

При фамилии Гельд, где-то мной слышанной или виденной совсем недавно, я подался вперед, внимательно вглядываясь в Суслика, который вел себя самым странным образом.

Не представившись, не обращая на меня, хозяина, практически никакого внимания, он продолжал говорить будто бы только для себя:

— Посредине кабинета, вот здесь, где кадка с фикусом, стоял исключительно длинный стол. Слева от него — стулья. Следовательно Моль сидел на диване и



держал в руке кусок свинцового кабеля. Гельд вертел в руках парабеллум. Справа от окна сидел Караваев, перед ним солдатский котелок с ложкой, буханка хлеба и бутылка водки. Караваев был полупьян. Лицо покраснело, волосы обвисли по обеим щекам. И странно — никаких следов побоев...

Впечатление, что Суслик просто умалишенный, медленно улетучивалось по мере того, как новые и новые знакомые мне имена произносил этот странный посетитель. Я еще не знал тогда, как долго придется мне плутать в дебрях этих эпитетов и отводить от своего горла сухонькие и жаркие руки стоящего передо мной Суслика.

Странный посетитель тем временем буравил меня маленькими глазками и продолжал свой монолог:

— Моль спросил: «Вы знаете Токина?» Я сказал: «Лично не знаю, но до войны слышал про такого футболиста». Моль ударил меня кабелем по плечу. «А про доски с гвоздями ты тоже ничего не знаешь?» — «Знаю, — ответил я, — такими досками забивал на прошлой неделе подвальную дверь на электростанции...» Гельд перебил: «Что-то ты путаешь — не об этих досках идет речь!»

Я решил тоже перебить Суслика:

— Извините, но кто вы и почему вместо того, чтобы представиться, входя в чужой дом, вы предаетесь таким воспоминаниям..?

Чуть склонив голову набок, словно пытаюсь проникнуть в какой-то тайный смысл моих слов, Суслик слушал, почтительно замерев с загадочной улыбкой:

— В этой комнате, к сожалению, я побывал раньше вас, молодой человек. Здесь, в здании гостиницы, размещалось гестапо. И допрашивали нас именно в этой комнате. Так-то... А зовут меня Сизов Алексей Никанорович. Наверно, уже слышали?

И тут я вспомнил сразу все. Вернее, связал происходящее в моем номере со всем тем, что узнал во время работы над протоколами. Имя Сизова, одного из самых активных деятелей Старогужской подпольной организации, мелькало почти на каждом допросе.

— Присядем? — не то спросил, не то предложил он и, не дожидаясь ответа, осторожно опустился на самый краешек стула.

Суслик — Сизов по-хозяйски отодвинул в сторону графин с водой, и тут только я заметил, что под мышкой он держит пухлую аккуратную папку неопределенного цвета. Положив папку перед собой, он поднял на меня глаза и взглядом пригласил к столу. Мне очень хотелось есть, но любопытство заставило тут же позаволноваться о голоде. Я решил не обращать внимания на экстравагантность поведения Суслика и поспешно, настолько поспешно, что по тонким губам Суслика пробежала едва заметная самодовольная улыбка, сел напротив.

Совсем неожиданно он спросил:

— Почему не поинтересуетесь, откуда я узнало вас?

— Действительно, откуда? В первую минуту, да, признаться, и сейчас все кажется, что вы ошиблись дверью и вам нужен кто-нибудь другой, а не я...

— Время покажет, ошибся я или нет, — как-то многозначительно сказал он. — А откуда узнал, так это просто. Город у нас не столичный, тут каждый про каждого если не все, то многое знает. Слухами земля наша испокон веку чаще, чем хлебом насущным, кормилась...

Он аккуратно, словно боясь чего-то, трижды перекрестился и, перехватив мой взгляд, с усмешкой спросил:

— К пабжности моей у вас, поди, претензии? Молодежь ныне...

— Что вы, что вы... — пробормотал я, с каждой минутой все более заинтересованно рассматривая своего собеседника.

На нем был серый, в полоску, довоенного пошива костюм, скорее непошечный, чем хорошо сохранившийся, с мятыми лацканами, заходившими почти на плечи, и с высокими ватными подплечниками.

А Суслик между тем развязал папку, и я увидел пухлую стопку аккуратно сложенных выписок, вырезок, различных бумаг на бланках учреждений, писем, то написанных от руки, то отстуканных на машинке, с резолюциями в углах и без оных. Суслик, как бы защищая от меня все свое достояние, прикрыл папку сухонькой ладошкой, а второй рукой поправил тяжелый, плохо завязанный узел засаленного галстука.

— Так вот, — начал он, — в этой самой комнате и

закончилась вроде бы история нашей организации. Ан нет, сражаться с врагом оказалось легче, чем доказать сегодняшним, как жили мы, за что боролись и почему не получили свое, кровное, по заслугам. Для вас, человека нового, многое непонятно, и если вы не случайный какой летун, захотевший подзаработать на крови погибших, — увидев мой решительный жест протеста, он повысил голос: — Да вы не обижайтесь, — и облизнул губы, — я правду людям в глаза говорю. У кого совесть чиста, тому заячьи скидки делать нужды нет. Я вас не знаю, а за годы эти многих видел, многие всякого наобещали, а так до сего момента правды и не сказано всей и до конца. И справедливости нету. Исключительно справедливости...

Он, не глядя, сунул свои тонкие пальцы в папку и извлек оттуда многостраничный документ. Через руку я сумел прочитать: «Справка о партизанско-диверсионной группе. Январь 1943 года». Это был единственный документ того времени, впервые попавший на глаза, кроме протоколов допросов, допросов и допросов... Я хотел спросить Суслика об этом, но, увидев, что тот настроился на долгий рассказ, и уже уловив в характере этого человека неодолимую страсть к самоизлиянию, решил терпеливо молчать, слушать и только в крайних случаях, желая прояснить что-либо важное, спрашивать.

Когда Суслик заговорил вновь, я не мог удержаться, чтобы не посмотреть на него с удивлением — в комнате звучал совершенно другой голос, хотя все также вкрадчиво, но суше, словно читалась казенная, составленная опытным секретарем бумага. И еще мне показалось, что фразы, которые ловко лепил друг к другу сидевший передо мной странный посетитель, были много раз обкатаны, обдуманы, проверены на слушателях, а осторожность, бросившаяся мне в глаза с первой минуты, сыграла свою роль даже в подборе слов, которыми пользовался Суслик.

— Я еще в январе 1943 года составил отчет о партизанско-диверсионной деятельности нашей организации. Отряд, по моим предположениям, насчитывал человек триста. Сложная система конспирации не позволяла даже нам, руководителям, точно учитывать численный состав. Мы хорошо знали лишь руководящее ядро, — он сделал паузу и мельком взглянул на меня. — Впро-

чем, для вас я опущу многие подробности, поскольку вы уже ознакомились с солидными документами в солидной организации, — тень иронической улыбки лишь мелькнула по губам.

— Нет, почему же! Мне как раз интересно услышать от живого свидетеля, — а вы едва не первый, с кем я встречаюсь, — услышать подробности о событиях тех дней.

Суслик не реагировал на мое замечание и снова весь ушел в себя.

— Отрядом проведен ряд дерзких операций. В частности, выведено из строя генераторов от двух до трех тысяч штук. Трансформаторы выводились путем добавления кислоты в масло охлаждения. Я лично вывел из строя насосную станцию, подававшую воду для питания котлов. Мы располагали двумя радиостанциями. Ими распоряжался только Токин, которого я давно и хорошо знал как тренера при горкоме комсомола...

Последняя фраза заставила меня невольно зажмуриться — своей пелепостью и апломбом, с которым была произнесена.

«Он что, дурачит меня? Притворяется или на самом деле настолько невежествен, что может говорить такие вещи?»

В эту минуту Суслик начал рассказ, как он лично украл с немецкого склада семьдесят «винтовок с дисками».

«Как это — винтовки с дисками?! А если он начнет говорить с такой же степенью грамотности и о взаимоотношениях в организации, что мне, журналисту, куда важнее, чем количество украденных винтовок, то как разобраться, где правда, а где лишь домысел, сдобренный невежеством?»

Но я тогда еще даже не предполагал, насколько все это будет сложно. Я сделал лишь одно — подвинул к себе толстый блокнот и начал почти стенографически записывать все, что говорил Суслик. Когда мы кончили нашу одностороннюю беседу — он говорил, я слушал, — было около полуночи, и Суслик, вдруг прервав себя на полуслове, скомандовал:

— На сегодня хватит. Поздно уже. Если позволите, я доскажу остальное при следующей встрече. Когда вам удобно?

— А вам?

— Мне всегда удобно. Я без дела и без... — он запнулся. — Словом, это мое святое дело — рассказать правду о товарищах-героях.

— Тогда позвоните завтра, когда вам удобно.

Он усмехнулся:

— Вы исключительно вежливый молодой человек. Если так будете и наше дело отстаивать, многого не добьетесь.

Он поклонился и, не подавая руки, вышел. А я еще долго сидел за столом, пытаюсь перебрать в памяти основные моменты деятельности подполья, о которых говорил Суслик, но мысли мои вертелись все время вокруг самой личности говорившего.

«Странный человек, — думал я, — очень страшный...»

## ИЮЛЬ. 1941 ГОД

Мать не вернулась ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду. Токин пошел в военкомат, но, узнав, что перед ним доброволец с Карла Либкнехта, старый офицер, посаженный на регистрацию, сказал:

— С Карла? Не велено брать. Завод важный — броня у вас! Не приходите, пока вам соответствующего указания не будет. Только время отнимаете...

Юрий вышел растерянный. Радиосообщения неслись одно тревожнее другого. Наверное, только этой тревогой да еще, может быть, жалостью к столь дорогой его сердцу награде объяснялось рискованное решение Токина не сдавать приемник. Он несколько раз порывался пойти и сдать аппарат, но каждый раз не хватало духу.

В тот вечер впервые, пожалуй, он не пожалел, что не подчинился общему распоряжению. Жадно прислушиваясь к голосам, летевшим из эфира через треск, который казался ему теперь эхом тяжелых боев, Юрий услышал глухой, тихий голос, который заставил его вздрогнуть. Смысл слов сдержанного как бы личного, обращения вывернул душу наизнанку:

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!..»

Юрий превратился весь в слух. Потом, спохватившись, на обороте подвернувшегося спортивного диплома начал записывать тупым огрызком карандаша фразы, которые доходили до сознания, хотя толком еще не знал, зачем это делает.

Когда Сталин перестал говорить, Юрий сразу же выключил приемник и принялся быстро, на память, дописывать все, что в спешке пометил лишь одним-двумя словами.

На душе стало как-то спокойнее. И чувство тревоги не то чтобы исчезло, но заменилось решительным желанием что-то делать. А матери все не было. Юрий не знал, что думать. На следующее утро, отпросившись на два дня, он отправился в деревню к брату узнать, что с матерью.

В Старом Гуже стояли довольно спокойные дни. После того футбольного матча даже случайные немецкие самолеты обходили город стороной, но привычная тишина, соседствуя с тревожными вестями, шедшими с фронта, пугала еще больше.

До районного центра он сехал на попутной машине. Раза два шофер останавливал полуторку и, подняв капот, копался в железных внутренностях мотора. Потом они трогались в путь. Наконец километра за три до районного центра полуторка заглохла, и шофер, молодой боец в промасленной гимнастерке, устало сказал:

— Если торопишься — дуй пешком! Кобыла сдохла! Динамо развалилось...

Юрий проторчал возле мертвой полуторки еще с полчаса — неловко было бросать симпатичного парня в беде. Но, когда шофер, хлопнув капотом, отказался рыться в моторе, Токин двинулся пешком.

Вечерело. Может быть, из-за северного вечернего света, может быть, потому, что понадеялся на память, он сбился с пути и долго плутал по лесным, похожим одна на другую тропинкам. Только глубокой ночью вышел на огни и, к своему удивлению, а еще большей радости, увидел, что попал в Знаменку. Братнина хата стояла второй с краю. Он громко застучал в дверь, задвинутую на щеколду. В потемках раздался голос золовки:

— Ктой-то?

Отозвавшись, Токин услышал громкие радостные



восклицания, потом его пустили в хату, и щеколда вновь легла на место.

В хате было темно, видно, уже давно легли спать, и разобрать кто где было трудно. Юрий услышал с печи голос матери. И хотя она запричитала быстро и тревожно, Юрий как-то сразу успокоился: мать жива и здорова. В последнем, как выяснилось, он ошибся. Пока собирали с лавок и печи старые тулупы и залепляли ими с помощью рогачей маленькие полуслепые окна, чтоб свет не попадал на улицу, Юрий стоял у стола и не решался двинуться. После вечерней прохлады духота наглухо закупоренной хаты напоминала парную старика Бонифация.

Наконец засветилась «трехлинейка», и в прыгающем неверном свете Юрий разглядел мать, свесившуюся с печи.

— Живой? — спросила она и вновь запричитала: — А я уж извелась — некормленный, обед оставила только на два дня. А тут еще война! Узнала — обмерла! И видеть тебя уже не чаяла — думала, в армию забрали! Думала, убьют и поцеловать глазки твои не доведется...

— Да полноте, полноте, мама! — Юрий стал па лавку и, обняв мать, поцеловал в лоб. — Жив-здоров, никакой армии. Я тоже беспокоился: где пропала?! Уж все передумал. Со дня на день ждал, не вытерпел и пошел...

— Правильно сделал, — вернувшаяся из сеней золовка поставила на стол крынку с молоком и большую миску с холодным вареным картофелем. — У мамани беда — ранила тяпкой ногу на прополке. Рана пустяковая, а вот не уберегли. Пухнуть стала, пухнуть, фельдшера вызвали, он сыпал лекарством, красноту сбил, а рана не затягивается — все плачет и плачет гноем.

— И ходить не можешь? — спросил Юрий, обернувшись к матери.

— Не, сынок, не могу! Как стану — по кости боль до самой макушки отдает. Думала, здесь и концы оставлю.

Юрий засмеялся.

— Перестань, маманя! Меня похоронила, себя тоже. Мы еще поживем.

— Ой, недолго жить! — заныла золовка.

— А Федька-то где? — догадываясь о причине ее слез, спросил Юрий.

Та зарыдала еще громче, а мать с печи ответила вместо нее:

— Ушел Федька, прямо в среду добровольцем и ушел. Он же активист был, спортивный, охотник...

— Ну полно тебе, Лидуха. Вернется Федька. Там хоть и затянулось дело, но ненадолго. Вон меня в военкомате и слушать не стали. Говорят — катись домой, без тебя разберемся.

— Ой, как бы так! А сердечко мое чует, не видать более Федора.

— Да что вы, бабы, белены объелись?! — закричал Юрий, и от крика пламя «трехлинейки» за новым толстым стеклом закачалось из стороны в сторону, и по хате побежали зыбкие тени. — Или потемки на вас так действуют?! Все о смерти, все о смерти!

— Так ведь дело какое! Примет дурных много. Матери ногу поранило, раз. Телка сдохла невесть отчего, два. Ветеринар на обследование увез в район. Грибов ныне тьма-тьмущая, три, — она опять принялась всхлипать.

Юрка обнял золовкины плотные плечи и, наклонившись, снова сказал:

— Будет. Все обойдется...

— Ты ешь, ешь, — подала голос мать. — Мы уже всчеряли.

Лидуха утерлась платком, повязала его на голову и вновь исчезла в сенях. Появилась с двумя большими деревянными блюдами, которые Федор, большой искусник, долбил сам каким-то своим хитрым способом из старых узловатых корневищ. Блюда казались телесными, с прожилками и такими разводами, словно кто-то специально и тщательно раскрашивал их долгими зимними вечерами. В одной миске горой золотилась капуста. Другая по края была наполнена прошлогоднего засола огурцами и зелеными помидорами.

С духоты холодные соленые огурцы и твердые помидоры елись особенно аппетитно. Плеснув в миску своего, домашней отжимки, постного масла, пахнувшего крепко жареными подсолнуховыми семенами, Юрий с удовольствием макал в него картошку и так, без со-

ли — ее заменяли солёности — умял почти полмиски. Пока ел, сидели молча. Лидуха смотрела на него заплаканными глазами, как на дальнего заморского гостя, о приезде которого молила долго и тщетно. Когда он выпил две большие кружки парного вечернего молока, мать принялась рассказывать:

— Оступилась я. Полола и сплеховала. Жаркое нынче лето. Земля сухая. Комок такой, что трактором не раздавить. Ударила тяпкой, да притомилась, наверно, криво ударила. А сама на грудок наступила — вот нога под тяпку и пошла. Феденька только наточил ее, чтобы мне легче работать было. И вот тебе напасть. Сейчас бы домой надо.

— Вдвоем мудрено вернуться. — Юрий пересел поближе к печи. — Я один-то сюда едва добрался. Машину попутную поймал, и та сломалась.

Юрий принялся рассказывать о том, как живут в городе, как немцы обстреляли стадион и как выступал Сталин. Что раненых уже привезли с войны много — больница полна, — рассказывать не стал, дабы не бедить и без того смятенную душу Лидухи.

Мать слушала не перебивая, потом уснула тихо. Лидуха хотела постелить Юрию в хате, но он воспротивился и, прихватив нехитрые постельные принадлежности: мягкий лоскутный ковер и пеструю необъятную подушку, — забрался на сеник. Долго прислушивался к ночным звукам, как бы плывшим в терпком сенном запахе, ко вздохам коровы, шумно ворочавшейся внизу, под дощатым полом чердака, и, кажется, так задремал.

Когда проснулся, солнце стояло уже над лесом, а Лидуха сливала свежее, утренней дойки молоко в большой белый бидон. Было блаженно и покойно. Вставать не хотелось. Сон на свежем воздухе согнал напрочь усталость. Надо было что-то решать — все-таки война, и невесть как повернутся дела: с завода отпустили лишь на два дня...

Весь следующий день Юрий пытался найти врача, по оказалось, что это не так просто. Фельдшер, который смотрел мать, уже ушел на фронт — врачей мобилизовывали в первую очередь.

К вечеру пришла колонна с ранеными, и Юрий упросил сопровождавшую бойцов пожилую седую женщину-врача, усталую и раздражительную, взглянуть на рану матери. Она осмотрела, как показалось Юрию, слишком бегло, но тем не менее ходить матери запретила, дала пару бинтов для перевязки и лекарства на случай, если вновь появится краснота выше раны.

Юрий пошел провожать ее к машине. Колонна уходила дальше, в сторону Старого Гужа. И то, что сказала врач, взволновало Юрия еще больше, чем искромсанные тела, стоны и черная усталость на лицах. Врач сказала:

— Вы, молодой человек, мать оставьте в деревне. С ней ничего не случится. Ей нужен покой. А сами выйдите отсюда как можно скорее. Говорят о большом окружении наших.

Она села в зеленую потрепанную трехтонку, и колонна закачалась по дороге, запыхалась и, прежде чем исчезнуть вдаль, растворилась в завесе густой, синюшной по-вечернему пыли.

«Окружение... Выбираться самому... — думал Юрий. — Судя по всему, дело принимает дурной оборот. Но немцы ведь еще где-то у границы! До Старого Гужа далеко... Путаешь что-то врачиха».

Он не стал ничего говорить ни матери, ни Лидухе. В тот вечер, засыпая на своем сеновале, Юрий не чувствовал запахов, не слышал ночных звуков. Проснулся от гула, шедшего откуда-то сверху, из-за соломы, гула неясного, будто глубоко в колоде раскатывали пустую бадью, пытаясь неловко опрокинуть ее набок для хорошего зачерпа.

Спускаясь по лесенке, он спросонья дважды скользнул ногой по отполированным поперечинам. Когда выглянул за плетень, и вовсе обомлел. — по широкой деревенской улице катили в пыли серо-зеленые автомашины с крестами на бортах, и сквозь надсадный рев моторов прорывалась громкая чужая речь.

Юрий смотрел и не мог поверить своим глазам, не мог осознать, что это идут немцы.

Бесконечная колонна мирно катилась в сторону районного центра, и Юрий, стоя у плетня, забыл и об опасности, и о том, что едут его враги, и все думал: как же так?..

Очнулся от резкого рывка — подкравшаяся за спиной Лидуха отдернула его от плетня.

— Ошалел, что ли? Чего выпучился? Гермапек идет! Бечь надо! — горячо и сбивчиво зашептала она ему в самое ухо, словно в этом грохоте кто-то мог их услышать, а в этой пыли — увидеть.

Дорога, неделю назад занявшая всего несколько часов, теперь неизмеримо удлинилась — Юрий шел уже четвертые сутки.

Он покинул деревню через час, после того как увидел колонну немцев за своим плетнем. Когда Лидуха, причитая, втолкнула его в избу и, как наседка, заметалась по горнице, не зная толком, что предпринять, Юрий уселся на скамью и тупо уставился в пол. Мать с печи теребила его за плечо:

— Сынок, сынок, что случилось, сынок?!

А он не отвечал. Перед глазами продолжали катиться тяжелые запыленные машины, и тугой грохот, настоящий па пыли, звучал в ушах.

— Немец, мамочка, немец! — крикнула Лидуха, поспешно сваливая в чистый вещмешок остатки завтрака.

Мать истово перекрестилась и, ойкнув, осела на печи.

— Что же теперь будет, что же теперь будет?! — запричитала она.

— Юрку спасти надо! — скорее разговаривая сама с собой, чем со свекровью, повторяла Лидуха.

Она притащила из погреба ворох снеди и туго набила мешок. Споро, привычно, как делала, собирая мужа на сенокос, завязала постромки рюкзака и сунула сго в руки все еще сидевшему неподвижно Юрию.

— Беги, беги, Юрочка! Не дай бог, ироды нагрянут! Что делать с тобой, мужиком, будут? Мы-то бабы! С нас спрос какой?! А ты беги, беги к нашим, пока далеко не отступили...

На печи, свесившись жидкой грудью в белой холщовой рубаше, затихла мать. Зажав щеки маленькими сухонькими кулачками, она сквозь слезы молча смотрела на сына, словно и понимая и не понимая, что говорит невестка.

Поцеловав Лидуху и мать, судорожно хватавшую его

за плечи, Юрий покинул избу, так толком и не решив для себя, что собирается делать и куда идти.

Он пробрался задами огородов до дороги в сторону районного центра и только тогда поймал себя на том, что идет назад, в Старый Гуж. И это ощущение уже принятого без его воли решения утвердилось само собой, и будто не могло быть иных решений — он должен вернуться домой, туда, где, несомненно, его ищут. Ночевать устроился в полусожженном стогу прошлогодней желтой осоки на краю болота. Он попал сюда, так и не решившись подойти к райцентру, — поселок горел в нескольких местах, и Юрию чудилось, что из-за дымов несется все тот же грохот стремительно идущей колонны. Он решил обойти райцентр стороной, но, несмотря на дневной свет, заплутал, как в потемках. И вот к вечеру добрался до стога, так и не определив, где находится.

Он вяло пожевал кусок хлеба с огурцом. Есть не хотелось. Завязав рюкзак, привалился к стогу, выдолбив глубокую уютную нишу. Не спалось. Все мысли были там, в Старом Гуже. Юрий пытался представить себе, что делается на заводе, на стадионе. И, странное дело, в нем росло чувство уверенности в том, что немцев в Старом Гуже еще нет, — серо-зеленая колонна в его воображении никак не вписывалась в знакомые до боли старогужские улицы.

Он задремал перед самым рассветом. Ночь была шумная, с гулкими всполохами редкого огня и двумя яркими высокими заревами на востоке. Проснулся Юрий от жестокого удара, встряхнувшего, кажется, не только стог, но и всю землю.

Молочный туман полз по сырой белесой траве. И взрыв тяжелого артиллерийского снаряда, колыхнувший землю в десятке метров от стога, был столь ужасающе нелеп в тиши этого нарождающегося дня, что вызвал в душе Юрия панику. Он начал выползать из стога, когда новый снаряд разорвался чуть дальше, потом еще и еще, словно все пушки мира били по стогу, под которым почевал он, Юрка Токин. Почти зажмурившись, зажав голову руками, он, подобно зайцу, рванулся в туман, словно за его белесой стеной надеялся укрыться от опасности, прилетавшей неведомо откуда.

Сколько так бежал по болоту, Юрий не помнил, но,

когда на опушке леса пришел в себя и не стало слышно взрывов, только тогда обнаружил, что потерял рюкзак, — то ли забыл его под стогом, то ли бросил, когда петлял болотиной, утопая по колено в черной воде и с трудом выдергивая ноги.

За день он несколько раз отдыхал, подремав под деревом, видел много жутких снов. Все более навязчивым среди них становилось видение Лидухиного рюкзака, полного еды. Голод начинал мучить всерьез. Пахучая земляника не могла утолить голода. Ягода только раздражала аппетит. Он начал прихватывать ее с зеленым перистым листом, горчившим, но тоже пахшим земляникой. Иногда попадались запоздалые белые земляничные цветения.

Увлеченный сбором, он не заметил, как добрался до старого бугра, сплошь красневшего ягодой. Когда протянул руку за очередным ярким кустом, увидел устремленные на него глаза. От неожиданности Токин присел...

— Лезь сюда быстро, — прошипел глядевший на него из травы.

Только скатившись за бугор, Юрий осмотрелся. За старым валом оказалась полуразвалившаяся землянка. Лицо же принадлежало молодому, обросшему светлой щетиной парню в красноармейской форме, изодранной и покрытой пятнами всех цветов и оттенков, словно парень специально занимался маскировкой.

— Что торчишь наверху? — беззлобно сказал он. — Ягодки захотелось?! А пулю не хочешь?!

Он ткнул рукой в сторону широкой бесконечной просеки, уходившей вниз. И где-то там, далеко внизу, Юрий увидел опять те же, только уменьшенные расстоянием серо-зеленые машины и маленькие фигурки шагающих людей. Они как бы появлялись в кадре из-за кромки леса и, показавшись двум беглецам, исчезали за другой кромкой.

— Кто такой? — спросил незнакомец, откинувшись на спину.

— А ты кто? — спросил Юрий.

— Я все-таки хозяин здесь! — по-мальчишески запальчиво ответил парень в красноармейской форме.

Юрий молчал, не зная, то ли радоваться тому, что наконец кончилось его столь страшное одиночество, то ли ожидать опасности со стороны этого человека.

— Успел в гражданку переодеться? — спросил после долгой паузы парень, кивнув на одежду Юрия, и в голосе его прозвучала нескрываемая зависть.

Юрка молча кивнул. Потом добавил:

— Успел. А ты давно бредешь?

— Как накрыли нас у Баковки, так и осиротел. Из домов едва выскочить успели! Да и то не все! Гады! Совсем с другой стороны подошли! — Он зло сплюнул.

— А с остальными что? — спросил Юрий.

— Не знаю. Их была целая колонна... Танки, грузовики битком набиты... Начали поливать из автоматов. Ну, я садами, садами... — Он посмотрел на Юрия и, не заметив осуждения, добавил: — А что делать было? Их вон сколько, а нас точно знаю — неполный взвод. И те сопляки-первогодки. — И, вдруг подумав, что теперь настало время вроде и представиться, сказал: — Юрием кличут меня, а тебя?

— Тезки, значит, — ответил Токин.

Парень присвистнул:

— Скажи-ка! За черное взяться бы — счастливая примета. Что задумаешь — все сбудется!

Он вновь перевернулся на живот и, подтянувшись на руках, посмотрел в сторону просеки.

— Да, сбудется, — проворчал он зло. — Вон их сколько — конца и края нет. Я тут ночевал. Так они и ночью шли...

Юрий перебрался поближе к тезке и тоже принялся наблюдать за колоннами. Разрозненные прежде, они теперь тянулись одной непрерывной лентой, словно где-то за леском развернувшись, все те же солдаты, все те же танки и все те же машины, вновь и вновь проходили перед двумя беглецами — настолько однообразным и бесконечным было движение колонн.

— К переправе идут... Река тут рядом. Я было вчера сунулся, да где там — оцеплено все. Ни вдоль не пройти, ни переправиться. Ночью попробовать надо. А куда пойдем? — вдруг спросил он в упор. — Может, в деревне спрячемся? Тебе хорошо. Гражданка на плечах, — он опять как-то нехорошо посмотрел на костюм Юрия.

В землянке они пролежали до вечера. Юрий задремал. Проснулся от ощущения опасности. Открыв глаза, увидел над собой парня, и в руке его была зажата ма-



ленькая саперная лопатка. Только спортивная реакция спасла его. Он не успел ни подняться, ни перехватить занесенную для удара руку. Он лишь крутнулся в сторону, и лопатка врезалась в землю у самой голозы. Через мгновение Юрий стоял во весь рост и ударом ноги, словно бил далекий штрафной, рубанул парня в бок. Тот, ойкнув, покатился на пол землянки.

— Ты что, сволочь? — яростно крикнул Юрий. — Ты что?

Он хотел было ударить еще, но парень лежал согнувшись, поджав под себя руки, и всхлипывал. Бить плачущего Юрий не смог. Он опустился рядом с парнем и рванул за плечо.

Заросшее лицо было мокрым, и глаза смотрели умоляюще.

— Отдай одежду, слышишь, отдай! Если лесами пойдешь, ты и в мосей можешь. А мне бы в деревню, слышишь?! Я никуда не хочу, слышишь?! В моей-то фриц меня сразу пристрелит. Отдай одежду!

Юрий привстал на колени.

— Дурак! Ведь на тебе все мое мешком висеть будет! Каждый поймет, что переоделся. По росту подобрать надо...

Он выбрался на бугор и в сумеречном свете стал шарить по земле, скорее на ощупь, чем на глаз, определяя мягкие и теплые, словно живые кровинки, ягоды земляники.

Когда совсем стемнело, они молча двинулись к реке. Токин пустил тезку вперед, не то, чтобы боясь нового нападения, а потому, что парень уже знал дорогу к реке. По ширине и полноводности открывшейся глади он признал Гуж. Другой такой реки быть не могло.

— Гуж, — тихо сказал он, — по пойме и пойдем. Там в кустах и камышах укрыться даже днем можно.

За ночь они стороной обошли немецкую переправу, перебежав дорогу в разрыве колонны и едва не попав в свет неожиданно вынырнувшего грузовика. Но к утру напоролись на новую переправу. Забрались в камыши так близко от моста, что порывы ветра доносили не только лающую немецкую речь, но даже легкое позвякивание оружия и смех.

Тезка устроился на коряге, Токину пришлось забраться вглубь, и он с трудом уселся, поджав ноги, на

старой охотничьей засидке, сложенной из плавника и жесткой иссушенной осоки.

Он не помнил, сколько сидел так, прислушиваясь к звукам, каждый из которых грозил если не смертью, то опасностью, и поглядывал на солнце, которое мучительно, словно вконец обленившись, тянулось по чистому, без единого облачка, небосводу.

К полудню стих и ветер. Стало не только жарче, но и опаснее — стоило повернуться на занемевшей ноге, как далеко, кажется, до дороги, несяся хруст сухого камыша. Хотелось пить, спать и купаться.

«Какая смехота: до воды подать рукой — и умирать от жажды и жары...» — думал Юрий, глядя на темный до угольного блеска кусок речной глади с кругами быстринных разводов, проглядывавших сквозь два густых снопа камыша.

«Скажи кто вчера, что буду сидеть у воды и не выкупаюсь, засмеял бы».

Он прислушался к шуму, который то ли из-за дневного марева, то ли потому, что действительно движение на дороге спало, затих. На фоне звенящей полуденной тишины он услышал треск. Несмотря на страх выдать себя, поднялся над камышом так, чтобы видеть дорогу, и опешил. От их камышового укрытия шагал человек, в котором Юрий с трудом узнал своего тезку. Он шел, широко расставляя ноги, как человек, прошедший немало часов в седле. Юрий сразу даже не понял, что делает тезка.

«Никак сдаваться пошел, ублюдок?! Да на что же он рассчитывает?!»

Токин втянул голову в плечи, понимая, что теперь каждое его движение еще заметнее с дороги, но не мог оторвать взгляда от бредущей жалкой фигуры.

На переправе парня заметили не сразу. Потом несколько немцев, среди которых был один офицер, с интересом уставились на подходившего. Автомат, который было поднял один из солдат, офицер отвел рукой и что-то громко сказал.

Парень выбрался на дорогу и почему-то начал быстро-быстро кланяться. Немец прижался к кланявшемуся, и Юрий понял, что тот обыскал подошедшего. Парень с каждой минутой все энергичнее размахивал руками, оборачивался назад и показывал на камыши.

«Закладывает, подлец», — подумал Юрий.

Немцы что-то говорили между собой громко, почти не обращая на парня внимания. Когда тот еще раз махнул рукой в сторону камыша, офицер тоже махнул рукой — дескать, иди. Тезка, ничего не понимая, сделал, пятясь, несколько поспешных шагов. И тогда, почти не целясь, офицер выстрелил навскидку, наверно, одним движением вынимая пистолет из кобуры и разряжая его в русского. Блондин взялся за голову, словно только сейчас поняв, какую глупость сделал, выйдя из камыша, и тихо лег в пыльную траву. Скрипнув зубами, Юрий нырнул в камыш, достал из кармана спички — единственное оружие.

«Суньтесь только, паразиты, суньтесь! Я вам не этот слизняк. Весь камыш запалю, до самой вашей дороги!»

## ФЕВРАЛЬ. 1958 ГОД

Честно говоря, все сказанное Петром Николаевичем я осознал только в коридоре, поскольку его новое словообразование — «персона нон грант» — напроць выключило меня из делового состояния.

Слухи о моей коллекции его, мягко говоря, экзотических выражений давно достигли руководящего уха. Шеф знал это и, как многое другое, прощал, поскольку по природе своей был человеком добрым.

Выйдя в прокуренный коридор редакции и на ходу здороваясь со знакомыми и полужнакомыми людьми, я понял, что мое дознание по Старому Гужу из обычных журналистских поисков вдруг начало превращаться в какой-то невидимый бой.

Шеф говорил со мной как-то странно.

— Между прочим, мне тут звонили... — он многозначительно умолк. — Спрашивали, чем ты там занимаешься, в своем Старом Гуже?! Жалоба поступила.

— На меня? Откуда?

— Оттуда. Говорят, вместо того, чтобы вести себя как полагается партийному журналисту, ты якшаешься с предателями и бюрократами?! — Он выжидающе посмотрел на меня.

— Думаю, что это ошибка. Я встречался с вполне порядочными советскими людьми...

— Это тебе так кажется. Знаю, ты любишь идти круговым путем, вместо того чтобы так вот, сразу правду взять за рога...

— А правда-то еще телочка! Нет у нее рогов. Не выросли. Ведь я, Петр Николаевич, только-только копать начал. Еще и с поверхности не зачерпнул...

— Зачерпнул не зачерпнул, а, судя по письму, уже павоза поднял много. Я тебя позвал, чтобы задать один вопрос и дать один совет, — он пошамкал губами и толкнул сползавшие очки назад на переносицу. — С кем-нибудь схватился в Гуже?! Знаю твой характер...

— Клякусь, не было ничего похожего даже на самый безобидный спор!

— Тогда вот тебе мой совет. Брось-ка это дело совсем...

— А вот этим советом, Петр Николаевич, боюсь, не воспользуюсь...

— Дело твое. Совет от приказа тем и отличается, что к руководству действием необязателен. Тогда доверок к совету — будь осторожен. Что там написано, не знаю, но если куратор наш спрашивал, то дело не пустячное, у него опыт огромный, и человек он умный. На прощание тебе скажу сразу, чтобы немножко был твой охладить, — пока не принесешь материала, заверенного всеми, кем следует и кем не следует, пока с фактами в руках не докажешь каждую строчку — печатать ничего не буду. Сразу говорю. Чтобы знал и не обижался.

— Так и будет, Петр Николаевич.

— То-то, — он хотел что-то добавить, но зазвонил телефон, и он, вслушиваясь в далекую речь собеседника, поморщился, а потом, увидев, что я еще не ушел, махнул рукой: мол, можешь быть свободен.

«Итак, — размышлял я. — Что-то странное. Ничего толком не сделав, никого не тронув, я уже получил удар под дых. Что это? Предупреждение? От кого? Я видел в Гуже четверых. Естественно, работники управления не считаются. Три встречи мимолетных и только с Сусликом затянувшаяся беседа. Уж не он ли написал письмо?! А с какой стати? Он так долго и заинтересованно просвещал меня и призывал к активному поиску, что было бы нелогично противоречить действию письмом. Я же вроде с ним ни о чем не спорил. Больше слушал.

Да и данных у меня пока никаких нет. Странно. Думаю, что пока не увижусь со всеми, оставшимися в живых, никаких выводов делать не буду. А совет шефа смысла не лишен».

Я вернулся к себе за стол. Вадим, наш второй разъездной корреспондент, маленький, толстенький, бело-брысый парень, встретил меня участливым вопросом:

— Его величество гневается?

— С чего ты взял?!

— По слухам, которые наводнили редакцию. И, естественно, поступают из приемной с обильностью океанского прилива.

— Ай-ай, ты стареешь, зайныка! У тебя притупились нюх. Тебе с разъездного надо переходить на руководящую работу в бюро прозорок...

— Ай-ай, — в тон мне повторил Вадим, передразнивая. — А я уповал, что шеф твои мозги, поставленные набекрень, все-таки вернет на место. И ты вместо того, чтобы шлаться по каким-то Гужам, жене позволишь и о здоровье женщины, ожидающей ребенка, справишься...

Удар был ниже пояса. Я опять не выполнил просьбу жены подыскать комнату потеплее той, которую мы снимали в старом доме у Комсомольской площади, и даже не позволил ей.

Я ринулся к телефону. Вадим бросил мне в спину:

— Между прочим, сказала, если не позволишь до двух, можешь вообще не звонить. А сейчас две минуты третьего.

Я лихорадочно крутил диск телефона, но короткие гудки, как бы подыгрывая Вадиму, начинали звучать каждый раз, как только набирал первые четыре цифры.

Когда наконец я прорвался через их густой частокол, голос жены был не то чтобы сердитый, скорее плачущий.

— Что с тобой, Ксантик? — Я старался говорить как можно ласковее. — Что ты делала сегодня?

— В футбол играла, — она говорила почти плача. — И тебя с утра разыскивала. Если ты через полчаса дома не будешь, то меня уже не заставишь. Врач едва отпустила из консультации, хотела положить немедленно, но я сказала, что дома меня ждет горячо любящий супруг, который очень волнуется, и я не могу, не прости-

шись и не дав ему последних указаний, и не... — голос се прервался.

Вадим по моему лицу понимал, что у нас происходит за разговор, и укоризненно качал головой.

— Ксантик, Ксантик! — бормотал я, стараясь вставить хоть слово, а потом крикнул: — Я сейчас буду, через минуту! Жди! Буду!

Повесив трубку, я сгреб все бумаги со стола в ящик. Но потом вспомнил, что не закончил правку материала в номер.

— Вадик... — начал я, но тот уже протянул руку за рукописью.

— Давай, давай! И с Евгенией Васильевной я договорился — машина шефа ждет тебя внизу. Дуй домой, зам в курсе, и будь человеком — проводи жену, постой под окнами родильного дома. Они, бабы, это любят. Кстати, там еще тот спектакль наблюдаешь. Я с прошлого года его забыть не могу.

— Умница ты мой, зайныка! И как бы я без тебя жил?!

— А ты бы и не жил — влачил жалкое существование...

С водителем шефа, в прошлом автогонщиком, мы были дома через пятнадцать минут.

Оксана сидела на стуле посреди комнаты и плакала.

Ее пышные, медно-красные волосы, были спрятаны под черный, повязанный по-деревенски платок. Лицо, покрытое синеватыми пятнами, раздражавшими ее во время беременности куда больше, чем необъятный живот, было бледным и злым, даже нос с горбинкой как бы еще более выгнулся, будто у хищной птицы. Была Оксана колючей и жалкой.

— Ну, что ты, глупая, словно навечно собираешься! Это ведь недолго и не страшно. Все через это проходят.

— Ах все? — сказала она, утирая слезы. — Так вот иди и рожай сам!

— С удовольствием, пусть меня только научат! — Я опустился на колени и принялся вытирать ей слезы.

Но шутка моя успеха не имела. Мы вышли из дому, так и не примирившись. Лишь перед самым приемным покоем Оксана взяла себя в руки, как-то очнувшись от делового и грубоватого голоса большой толстой нянечки.

— Чего хнычешь? Хозяин твой здесь постоит, а ты марш переодеваться. Вещички ему вернешь, когда переоденешься. Стой, куда лезешь — там женщины. — Она остановила меня, когда я хотел пройти в комнату вслед за Оксаной.

Покраснев, я неловко прижался к колонне и стал ждать. Казалось, прошла вечность, пока из-за полуоткрытой двери не выглянуло улыбающееся лицо жены, и она позвала:

— Иди сюда. Теперь можно. Нет никого.

Она сунула мне в руки узелок с вещами и, запахивая полы больничного халата, чмокнула в щеку.

— В холодильнике колбаса — купила килограмм. Суп на два дня сварен. Картошки сам себе начистишь — она под столом в пакете.

— Я в столовой поем.

— Я тебе поем! Опять желудок болеть будет. И не работай по почам.

— До работы ли теперь! Когда можно позвонить и узнать?..

— Вот телефон. В любое время. — Она сунула мне клочок смятой бумаги, и тут сзади на нее навалилась нянечка.

— Иди на место, — заборчала она. — Не наговорились дома, что ли?

Дверь закрылась.

Выйдя за ворота родильного дома, я вдруг почувствовал, что идти-то мне, собственно, некуда, что самое дорогое в моей жизни остается в этом пятиэтажном доме из мрачноватых серых бетонных плит и, где бы сегодня ни оказался, все мои мысли будут здесь.

## **АВГУСТ. 1941 ГОД**

Двое суток Юрий не выходил из дому, прислушиваясь к редким выстрелам и непривычной тишине бестрамвайной улицы. Глухие ставни он открывать не хотел, чтобы сохранилось впечатление заброшенного дома, — тогда, в ночь своего прихода, он не заметил, что ближайший к улочному забору угол дома просел от взрыва, оставившего в соседнем саду глубокую, черную воронку.

Решив, будь, что будет, Юрий ближе к полудню вы-

брался на пустынную улицу и долго стоял, не решаясь оторваться от забора, словно только учился ходить и без опоры боялся упасть. Мертвенность окружающего усиливала эту боязнь. Он не узнавал своего района — по обе стороны улицы тянулись помятые сады, прожженные заборы, вместо некоторых знакомых с детства домов чернели остовы труб, словно траурные ленты на широких рукавах щедрых, разукрашенных яблонево-мозаикой густых палисадников. Прореженная улица открывала вид на завод Карла Либкнехта, вернее, на то, что осталось от его трех главных цехов.

«Так вот что грохнуло той первой ночью! А я-то думал, горит ближе, где-то у соседей. А это мой завод полыхал!»

Юрий вспомнил, что, глядя сквозь щели ставень на яркие проблески близкого крозавого зарева, он даже подумал, что красиво горит. Но тут же испугался: горит — значит, что-то гибнет, а гибнуть может только то, что ему дорого, поскольку с ним рождено, с ним вместе выросло.

Наконец, Юрий свыкся с пустышностью улицы и сделал несколько шагов. Слева, на заборе, он увидел плакат, напечатанный на густо-желтой оберточной бумаге каким-то странным русским, но с готическим начертанием — никогда не виденным прежде — шрифтом. Плакат был невелик, и потому жирность заливной черной краски особенно бросалась в глаза:

«Разыскивается... — прочитал Юрий первое слово, набранное крупнее других, — комиссар Пестов. Возраст 40—45 лет. Роста выше среднего, коренастый, светлый шатен, круглолицый, нос прямой, длинный, сам сутуловатый, говорит спокойно, голос низкий, волосы набок, с пробором, бороду и усы бреет, походка размеренная. За поимку преступника — награда. За укрывательство — расстрел. Военный комендант».

Юрий с трудом воспринимал написанное. Расстановка слов, орфография и весь дух документа на стене были настолько чуждыми, что, лишь прошагав пол-улицы, Юрий понял: человек, который разыскивается военным комендантом, ему хорошо знаком. Несмотря на приблизительность словесного портрета, образ был точен, а фамилия окончательно исключала сомнения — разыскивается его тренер.



Юрий прошел еще два квартала, потом повернул на главную улицу, повернул потому, что на главной улице было многолюдно. Суетился пестро одетый народ, образуя вокруг рослых фигур в столь непривычной серо-зеленой форме предупредительные пустоты. Напрасно Юрий вглядывался в лица встречаемых — город как бы подменили: мелькали лица, которые никогда в той, теперь такой далекой до неправдоподобия предвоенной жизни ему не встречались. Плакат о Пестове вновь стрелнул в Токина желтым пятном с прокопченной стены развалин райисполкома.

«Разыскивается...» — успел прочитать Юрий, когда за его спиной насмешливый голос произнес:

— Интересуетесь документами новой власти? Хорошо. Даже похвально.

Юрий обернулся. Перед ним стоял Бонифаций, одетый чересчур франтовато даже для большого праздничного дня. Юрий рванулся к нему, но остановился под насмешливым взглядом. Нескрываемое презрение светилось в каждой складке морщинистого лица Бонифация, смотревшего на Токина явно враждебно.

— А тут все беспокоились: в эвакуационной суете пропала спортивная знаменитость! А ценности Советской власти подлежали вывозу!

Бонифаций поправил большой галстук бабочкой, издавна служивший объектом насмешек старогужских бс-сяков, и спросил:

— Торопишься куда аль просто так?

— Просто так, — глухо ответил Токин, стараясь представить себе, что кроется за словами Бонифация, и как действительно его искали, и каким подонком он, наверно, выглядит в глазах друзей. Да еще теперь, появившись здесь, в своем городе, в первые дни установления повой власти.

— Пройдемся, у меня полчаса есть. Коль желание имеется...

— А ты куда торопишься, Бонифаций, если не секрет? — смерил Юрий оценивающим взглядом яркий наряд старика Карно.

— Как куда? Господ офицеров мыть! Наше дело такое — банное! Всякий человек должен быть чистым... — сказал Бонифаций и добавил: — Если, конечно, чистая совесть позволяет иметь чистое тело...

Не говоря больше ни слова, они пошли рядом, уступая дорогу встречным и невольно прижимаясь к стене, когда, ухая сапогами, навстречу попадаясь немецкий патруль, даже не удостаивавший их взглядом.

— А насчет Пестова, если интересуешься, то поздно... — внезапно и глухо сказал Бонифаций, и в его голосе что-то дрогнуло.

Юрий посмотрел на старика.

— Не туда смотришь. Ты не на меня смотри. Вот куда, — он почти незаметно кивнул в сторону универсама.

И только тут Юрий увидел два продолговатых предмета, которые раскачивал ветер под балконом старого, обрушившегося всеми пролетами Дома торговли. Он остановился, невольно повернувшись к повешенным всем телом.

— Идем, идем, — прошептал Бонифаций. — Здесь стоять негоже. Долго в комендатуре объясняться придется...

Он дернул Юрия за рукав, и тот машинально пошел за стариком, не в силах заставить себя отвернуться.

Повешенных было двое. Ближний — седой старик, маленький, сухонький, в фигуре которого застыл немой вопрос: «За что?» Его немощность подчеркивала грузная фигура второго человека, в котором Юрий без труда признал Пестова.

— Значит, все-таки разыскали... — охнул он, еще не сознавая, что это смерть человека, которого он так хорошо знал, и что он, Токин, больше никогда не услышит голоса, густо звучавшего в раздевалке.

«Что успел сделать этот мирный, живший одним спортом человек, вдруг став врагом номер один нового порядка?»

Юрий не заметил, как они дошли до здания старой купеческой бани, которое, как ни странно, осталось целым, лишь большие красочные витражи высыпались цветной изморозью и, небрежно сметенные от входа, светились вдоль белесого от известки тротуара.

Карно затянул Юрия в свою каморку под лестницей. И впервые тот почувствовал себя дома. Да, да, дома! Он сел, закрыл голову руками.

Бонифаций толкнул его в плечо.

— Помоги вязать веники, коль не торопишься. И для глаз посторонних отвадно, да и веники нужны.

Бонифаций сплюнул.

Юрка сел и начал собирать первый веник, машинально встряхивая грудь несвежих березовых сучьев, явно крупных и плохо пригодных для веников.

— Где был-то? — спросил Бонифаций.

Юрий понял, что, если он убедительно и правдоподобно не объяснит, где был все эти последние дни, он не добьется от старика ни одного ответа и на свои вопросы. Что происходило в городе, пока он был в деревне, за что повесили Пестова, куда делись товарищи по команде и что делать дальше? В голове у него теснились тысячи вопросов.

— Мать у меня застряла в деревне, в братановой семье. Я за ней пошел, отпросившись у директора...

Бонифаций кивнул, словно знал о договоренности с директором.

— Мать тяткой ногу повредила... — начал он, но Бонифаций не смог отказать себе в удовольствии вставить:

— Нашла, старая, время...

— Пока туда-сюда, а они уже в деревне...

Юрий рассказал, как впервые увидел колонну немцев, как ринулся в город, как блуждал, как двое суток боялся выйти из дома, как сквозь ставни видел зарево...

— Зарево — дело рук Пестова, — сказал Бонифаций. — Ему поручено было взорвать завод. То ли что-то не вышло, то ли специально затянули, но взрыва не получилось. Немцы ведь в город дважды входили. Первый раз нагрянули — бабы-торговки газированную воду из стаканов слить не успели. Ну, кого знали, кого смогли — тут же постреляли, а наутро опять наши в город вошли. Да недолго продержались...

Карно сделал паузу, посмотрев на Юрия, словно проверяя: знает ли он обо всем этом или нет, — и зашвырнул сделанный веник в самый грязный угол, куда раньше сметал сор из пивных ящиков и остатки вяленой воблы.

— Если первый раз случайная дивизия прорвалась в тыл с севера, то второй прорыв был серьезнее — видимо-невидимо через Старый Гуж прошло ихнего брата — с танками, с машинами, с пушками... Часть за-

вернула на Либкнехта. Территория, знаешь, большая, помещений после эвакуации оборудования тоже хватало. Вот тогда-то и рвануло. Долго фашисты кресты за Коломенским кладбищем ставили. Ну и выяснилось откуда-то, что Пестов да еще старик из охраны...

Юрка понял, что речь идет о втором повешенном.

— Вчера вечером согноли всех... И Володьку... того... На глазах жены и детей... Кричала...

Бонифаций несколько раз взмахнул веником, но не как в парильной, а будто махал клинком в лихой атаке.

— А что мне делать? Где ребята? — спросил наконец Юрий.

— Где — сказать не берусь. Может, вроде тебя тоже где-то отлеживались, когда другие воевали.

Юрий протестующе вскинул руку, но старик Карно не обратил на этот жест никакого внимания.

— А дело сам себе выбирай... Сейчас время такое — не по желанию занятие себе выбирать надо, а по совести. Хочешь, к себе в баню устрою?! Хотя вакансий нет: фрицы на второй же день всех истопников и мойщиков вытащили и баню пустили. Очень уж они завшивели! Пыльная она, земля паша, летом, грязная — осенью, а какая зимой будет, пусть у Наполеона спросят.

— В баню не пойду, — буркнул Юрий. — К нашим уходить надо.

— Уходить?! А где они, паши, спрошу я тебя? Ты хоть одну пушченцию слышишь? То-то.

— Что предлагаешь? Сидеть у тебя в каморке и веники для господ офицеров вязать?

— Ишь ты какой шустрый. Что-то не шустрил, когда из деревни в город вернуться надо было и защищать его, — Бонифаций тяжело и не по-хорошему посмотрел на Юрия.

— Не знаю я, ничего не знаю... — растерянно произнес Юрий.

— И никто ничего не знает. По одному никто ничего знать не может... А посоветую я тебе, парень, вот что: завтра с утра приходи-ка на биржу труда. В бывшем сельхозтехникуме она.

Юрий кивнул, подтверждая, что хорошо знает, где был техникум...

— На работу устраивайся легально. Можно на раз-

борку развалин, коль очень гордый. А коль не очень — на какой, гляди, заводешко... Они тут промышленность налаживать собираются.

— А потом что? Дальше?

— У, попугай футбольный, заладил, что дальше? Время такое, что о прошлом думать опасно, а он — о будущем! — И уже мягче: — Со следующего понедельника фрицы разрешили ходить в баню и гражданскому населению. Объявлено, что мыться следует обязательно. Дескать, новый порядок любит чистоту. Паразиты, а то мы хуже их знаем, что такое мыться да еще с веничком!

— Ну и какое это имеет отношение к будущему?

— К будущему? Никакого. Кроме того, что пойдет в баню народ. Смотришь, кого знающего встречу. Попаримся, поговорим, подумаем. Сообща мы и не такие задачи решали. Вспомни, когда первенство России на одном энтузиазме выиграли...

— И на опыте Пестова.

— И Пестова тоже... — тихо согласился Бонифаций.

— Пожалуй, пойду к себе, — сказал Юрий и, стряхивая оборванные березовые листочки на пол, бросил готовый веник в кучу.

— Пожалуй, иди. А то воп уже мои новые клиенты валом повалили. — И вдруг спросил: — А жрать-то у тебя дома найдется?

— Погреб не разворовали. Картошка, капуста... — уклончиво ответил Юрий.

— Харч береги. Судя по всему, трудно доставаться будет. Слух прошел, что фриц скоро по домам двинется. А зимой под снегом у нас, знаешь, булки не родятся.

Юрий ушел.

Они договорились, что завтра после биржи он заглянет к нему, чтобы помочь вязать веники для господ офицеров.

Старый, с крючковатым носом еврей помечал на руке жирным мелком порядковые номера в длинной очереди, выстроившейся к узкой двери универмага. Люди молча протягивали старику ладони, на которых он чертил кривые прыгающие цифры, и, сунув руку в кар-

ман, продолжали молча держать почти недвижимый порядок. Нумерация была бессмысленна, поскольку никто не уходил из очереди и никто не рвался вперед. Люди замерли, будто были обречены на это стояние, и никто не был в силах помешать им выполнить то, что начертано судьбой.

Давно уже прошли все сроки свидания с Бонифацием, а Юрий едва добрался до двери, у которой дежурил рослый бритоголовый полицейский.

Больше всего Юрия поразила не сама очередь, не настроение людей, а то, что, сколько ни вглядывался он в лица окружавших, не попалось ни одного знакомого. Еще месяц назад он был убежден, что знаком всему Старому Гужу и сам знает половину, если не больше, жителей города. А вот поди ж ты, когда надо встретить знакомого, и нет ни одного. Или прошлое представление о популярности оказалось обманчивым, или была иная причина, о которой Юрий не то чтобы не догадывался, скорее боялся догадываться.

Незнакомое окружение говорило лишь об одном: людей, с которыми он так долго жил бок о бок, которых хорошо знал, здесь нет, их просто не могло быть здесь. Они там, где рвутся снаряды, где не успевают таять над землей пороховой дым, и на сотни километров перекачивается гул войны. А он смиренно торчит здесь, в очереди за неизвестностью...

В большой пустой комнате за столом, поставленным в центре, сидела машинистка из типографии, в которой работал Пестов. И это было первое знакомое лицо. Увидев Токина, она извиняюще улыбнулась ему и начала опрос:

— Фамилия? Имя? Отчество?

И дальше шла анкета, очень походившая на десятки спортивных анкет, которые доводилось заполнять раньше.

Справа у стены стояло двое мужчин. Токин принял было их за полицейских, но повязок на рукавах не увидел.

— Чем занимались при Советах? — спросил, глядя на него исподлобья, средних лет шатен с грубыми, боксерского типа, чертами лица.

— На заводе Либкнехта работал... Играл в футбол...

— А-а-а! — протянул он. — То-то вижу знакомое...

Гордость Старого Гужа! — И, повернувшись к стоявшему рядом с ним мужчине лет сорока, пояснил: — Наша спортивная знаменитость! Бил с обеих ног так, что заезжие гастролеры только ахали... Помню, помню... — то ли действительно вспоминая что-то, проговорил шатен, то ли просто стараясь поддержать разговор. — Здорово драпали комиссары, если такие ценности на произвол судьбы бросили! Впрочем, им сейчас не до футбола! У них новая игра теперь — спасай свои шкуры! — хохотнул шатен, довольный собственной остротой.

Юрий обратил внимание, что стоявший рядом с шатеном мужчина отнесся к шутке сдержанно.

— А живешь где? — внезапно спросил шатен. Не дожидаясь ответа, начальственным жестом вынул карточку из пишущей машинки. — Угу, отличная улица. В центре. Удобно. Кто с тобой в доме?

— Один. Жил с матерью... Да она в деревне застряла.

— Дом цел?

— Угол взрывом зацепило, но жить можно.

— Значит, в жилье не нуждаешься?

— Вроде нет, — с плохо скрытым чувством недоумения поспешно ответил Юрий.

— Да ты не бойся! Мы вот хотим тебе квартиранта порекомендовать. Морозов Сергей Викторович. Большой у нас человек: назначен начальником электростанции. Может, Сергей Викторович, пройдете с парнем, посмотрите, что да как?.. В конце концов, к себе на работу возьмете. Люди нужны будут.

Морозов молча кивнул.

Пока Юрий расписывался в карточке, обязывавшей его под страхом смерти не покидать город, регистрироваться каждые пять дней в комендатуре и беспрекословно подчиняться новому порядку, он успел рассмотреть своего возможного квартиранта и начальника. Был тот крупен, широкоплеч, высокого роста. Волосы зачесывал назад. Но самым примечательным в его облике были карие глаза под черными мохнатыми бровями, словно искусственной стенкой разрубленные надвое прямым длинным носом.

Прощаясь с Морозовым, шатен бросил:

— Надо сказать бургомистру, что спортивные звез-

ды остались. Может, и со спортом наладим. Жить-то надо, — закончил он.

Когда уже шагали к дому, Юрий обратил внимание на походку своего спутника — была она быстрой, энергичной, немножко раскачивающейся. Юрий шел молча, не зная толком, расспрашивать спутника или молчать.

До дома дошли скоро. Морозов осматривать ничего не стал, только поинтересовался:

— Какую комнату занять можно?

— К какой душа лежит.

— После тюремной камеры к любой хорошо ложится, — усмехнулся Морозов очень открыто и симпатично, что так не вязалось со смыслом сказанных слов.

— Да-да, — подтвердил он, перехватив удивленный взгляд Токина. — Я сюда прямо из тюрьмы. Пять лет по милости Советской власти зеком звался.

— За что сидели? — осторожно спросил Юрий, отодвигая в сторону тяжелый деревянный щит, которым для верности изнутри было заставлено одно из окон.

— Было за что, — пожал Морозов плечами, — пришли, взяли, посадили. Только в Сибирь загнать не успели — фриц налетел. Теперь хоть поживу... — он опять усмехнулся, помедлил, — на свободе.

Чтобы переменить тему разговора, Юрий сказал, поведя рукой:

— В горнице и располагайтесь. Комната большая, светлая. Мы здесь с ребятами обычно после игры в случае победы чаи гоняли...

— Мне большой не надо, если можно, вон туда. — Он показал на открытую дверь. Это была маленькая комната брата до того, как он перебрался жить в Знаменку.

— Воля ваша, — пожал плечами Токин.

— Воля моя, а дом твой. Я ведь только квартирант.

— А кто этот шатен, который был на бирже?

— Этот... — Морозов попробовал рукой сетку на кровати, пошатал, проверяя на прочность, стул. — Этот шатен — заместитель бургомистра по вопросам труда.

Перехватив долгий взгляд Юрия на портрет, спросил:

— Отец?

— Да.

— Сейчас где, если не секрет...



— Погиб в тридцать седьмом... В Испании, в интербригаде...

Морозов понял укор, но не повел и бровью. Сделал вид, что это его не касается.

— Ну что ж, — сказал он наконец после продолжительной и гнетущей паузы. — Вот мы, кажется, и познакомились. Если хозяин не возражает, я тут и поселюсь.

— Живите, — равнодушно сказал Юрий. — А то одному в пору по-волчьи выть. Непривычные мы — по одному...

— О плате, думаю, договоримся, — продолжал Морозов. — А вот на электростанцию идти не советую — там хлопот много, и хозяева спрашивать с меня и рабочих будут строго. Без тока городу жить нельзя... Я тебе другую работу пайду — не хуже.

Прощаясь, уже на крыльце, сказал, подбросив на ладони ключ от дома, который передал ему Юрий:

— Особенно не стесню. На станции дел у меня по горло. Если задержусь, там и переночую. Вещи при случае заброшу — чемоданчик да кинг узелок.

Он пошел по улице спокойно, словно для него не было ни немцев, ни фронта и, вообще, никаких особых забот. Дождавшись, когда Морозов скроется за углом, Юрий кинулся к Бонифацию. Но, к своему удивлению, старика на месте не нашел.

— А он сегодня работал только до обеда, — объяснили ему.

Странно вел себя квартирант Юрия.

Исчезнув на два дня, так что Токин, ожидавший устройства на работу, даже не сходил к Бонифацию, Морозов прислал большой чадающий грузовик с рабочими и материалами, который внезапно остановился перед домом, немало напугав Юрия. Внеся в комнату начальника электростанции чемоданчик и узелок с книгами, туго перетянутый вожжами, рабочие споро, будто обстраивали свой собственный дом, заделали разваленный угол и даже подкрасили, отчего дом сразу принял облик жилого, ухоженного строения.

Один из электриков, занимавшихся проводкой света в доме и на улице, передал Юрию записку, в которой

Морозов советовал на паровозоремонтном заводе обратиться к сменному мастеру Уткину Сергею Павловичу и сказать, что «по распоряжению бургомистра Черноморцева Токина надлежит взять на работу слесарем».

«Узнал даже, где я работал и кем, — подумал Юрий. — Навел справки, начальничек! И видно, большей властью пользуется, коль может в такое время целый грузовик с материалами на свое личное дело выделить. И не боится».

Дождавшись, когда исчезнут мастера, Токин заглянул к Бонифацию.

— Полюбуйся, мой квартирант ордер на работу выдал, — Юрий подал Бонифацию записку.

Тот взял ее спокойно и так же спокойно вернул.

— Будешь работать, где и прежде — неплохо. Как будто ничего не изменилось... Но совет тебе — осторожнее с этим Морозовым. Чужой человек. Я тут поспрашивал, никто плохого сказать ничего не может, но и хорошего тоже. А Уткина знаю. Да и ты его знаешь. Завядлый болельщик.

Уткин действительно признал Токина сразу.

— Ну, так я и подумал! А то Морозов мне объясняет, кто да что, а сам толком не знает. Уж я-то помню, как тобой любовался! Постой, постой, а времени с последнего футбола сколько прошло?

Прикинув, что и месяца не прошло, крикнул, и шею его налилась краской.

Они прошли по внутреннему двору завода, заставленного ящиками с немецкими надписями, которые под руководством нескольких солдат ворочали рабочие.

Юрий осматривался с любопытством — впервые после возвращения в город он видел столько немцев и рядом, и главное — будто все сместилось, — не ощущая в них врагов. Немцы смеялись, дробно, по-своему, молотили языками, а приказания в основном отдавали простым и доходчивым жестом — тыкали пальцем в ящик, а потом показывали, куда этот ящик следует поставить.

Завод узнать было трудно. Три цеха, в том числе основной, паровозный, лежали в пугающих руинах. На месте высоких пролетов, некогда сплошь застекленных, дыбилась погнутая металлическая арматура. Подъ-

ездные пути были разворочены, а четырехстворчатые во весь торец ворота могучая сила взрыва сняла с петель и кинула под забором.

В дальнем конце цеха стены теряли свои очертания на осыпях, а те, что остались неповаленными, так зловеще зияли черными дырами, что только человек вроде Юрия, знавший завод довоенным, мог представить себе, какой красавец цех стоял на этом месте.

«Пестова работа! Знаменито он его рванул. Вот только непонятно, почему именно он?! Ему с руки типографию было уничтожать. Оборудование ценное вывезти надо, а остальное, говорил, рвануть к такой-то матери! А вот поди — совсем другим занялся!»

И снова где-то в душе у Юрия мелькнуло сомнение, что Пестов причастен к взрыву на Либкнехта.

Уткин довел его до уцелевшего угла паровозного цеха, в котором возилось десятка полтора рабочих, разбивавших завалы, и представил молодому стриженому парню.

— Павлов, вот тебе помощника прислали! — и, повернувшись к Юрию, объяснил: — Твой бригадный будет. Пока разбирать завалы, к зиме в цехе «буржуйки» делать начнем. Зима не за горами, а наши новые хозяева ее не очень любят и загодя готовиться решили. Свыкайся.

Он отвел Павлова в сторону и что-то зашептал ему. Павлов несколько раз взглянул на Токина, и Юрий понял, что речь идет о нем. Как только Уткин ушел, Павлов зычно крикнул:

— Шабаш! Передых!

Рабочие стали стекаться к длинным самодельным лавкам — пока единственной мебели, установленной в цехе.

— Ну, здорово, капитан! — раздалось у Токина за спиной.

Юрий обернулся и обмер. Перед ним стоял Борис Фадеевич Архаров, отец Георгия и Александра, обоих краев заводской команды, и улыбался в свои пушистые усы.

— Борис Фадеевич! — выдохнул Юрий и кинулся к старику. — А ребята где?!

— Не дальше твоего ушли, — сказал Архаров, усаживаясь на лавку.

К ним начали подходить рабочие, неспешно деля самосад и скручивая «козьи ножки».

— Оба в соседнем цехе слесарят. Скоро в паровозный перейдут. Жорку контузило снарядом, когда наши город назад отбивали, — он сказал «наши» так, будто и не было этих серо-зеленых мундиров, видневшихся сквозь стеной провал там, на залитом солнцем заводском дворе. — Очухался Жорка. Только кость правой ноги пет-нет да заломит.

Из подошедших поздоровались с Юрием человек пять. И на душе у него стало радостно.

— А с Пестовым как случилось? — спросил он громко.

Борис Фадеевич, сдерживая раздражение, тщательно выбил трубку, но на вопрос Юрия не ответил. Нагнувшись, долго искал проволочку и, прочистив мундштук, когда уже впечатление от громкости вопроса несколько сгладилось, сказал:

— Идем, я тебе покажу твое рабочее место. Чтобы знал, где хлеб зарабатывать будешь.

Они пошли в глубь цеха.

— Ты вот что, парень! Болтай поменьше. Здесь разных ушей много торчит. В одной нашей бригаде незнакомого народу полно. А за такой вопрос рядом с покойным болтаться будешь.

Борис Фадеевич вдруг перекрестился, хотя Юрий точно знал, что старик скорее предпочитал пустить матерком, чем положиться на бога.

Архаров подошел к выбитому оконному проему и, облокотившись на обгорелую доску — все, что осталось от подоконника, — сказал, глядя на двор, в котором разгружалась новая машина с немецкими солдатами:

— В последние дни тут такое было, что мудрено разобраться. Эта дивизия, выскочившая в тыл, невероятную панику подняла. Сначала в немцев никто не поверил. А когда поверили, то их мотоциклисты уже катили по улице. Похватали, расстреляли разного народа. Ну и, видно, многие планы спутали. Э, да что долго говорить — знаменитую комбинацию, может быть, свою самую знаменитейшую разработал Владимир Павлович. Выдал он немцам две мины — на подъездных путях и под виадуком. Они ему поверили. А когда в

паровозный набились, тут он и рванул... Еще сейчас зеленые тряпочки от мундиров находим. Немецкая похоронная команда все считает, сколько под камешками ихнего брата лежит. Сам вот Владимир Павлович не ушел... — Архаров не стал распространяться, видно, и он немного знал.

— А я совсем растерялся, — признался Юрий. — Куда ни пойду, нигде ни одного знакомого лица! Только Бенифаций и попался.

— Он про тебя и рассказал, — сказал Архаров, и Юрий понял, что жизнь идет и что это только он выпал из ее привычного круговорота, а люди живут и связь держат, и все не так безнадежно, как казалось ему первой ночью, проведенной в затворенном доме.

— Думал, в очереди на бирже кого встречу... ни души... Словно я и не жил в этом городе...

— В такое время многое переворачивается и по-иному познается. И что своих не встретил — неудивительно.

Старик прищурился и начал сосредоточенно набивать трубку. Издалека послышался голос Павлова:

— Кончай отдыхать!

Юрий думал над смыслом последних слов старика Архарова, когда внезапно увидел прямо перед собой немца. Тот стоял перед густым малиновым кустом, пилотка его была засунута под погон расстегнутого френча, рукава засучены. Он щипал с куста щедрую россыпь переспевшей малины и набивал ею рот жадно и поспешно. Тяжелый малиновый сок кровавыми потеками оплывал по его подбородку, мундиру и рукам. Он стоял в малиннике нагло, по-хозяйски. Токина захлестнула волна острой ненависти к этому немцу, ко всему, что принеся он на родную землю, что заставил пережить в последние недели. Юрий даже подался вперед, до боли в суставах сжимая половинку кирпича, но Борис Фадеевич, уловив настроение Токина, тихо взял за плечо.

— Ничего. Пусть жрет. После сладких ягодок будут колючки. Пойдем-ка отсюда, Юрчик!

Голос Павлова еще раз позвал на работу.

— Вечером домой вместе пошагаем. Вот ребята обрадуются! Думаю, и поговорить о чем найдется.

Пожар вспыхнул точно в полночь. Юрий это хорошо запомнил — он совсем было собрался нырнуть в постель и, взглянув на ходики, увидел, как по хромированным гилям заплясали робкие блики. Потом сразу, внезапно, вся комната наполнилась мерцающим светом.

«Как после пестовского взрыва... — подумал Юрий. — И горит где-то рядом, совсем в центре...»

Он выскочил на крыльцо. Горело так близко, что Юрий ощущал жаркое дыхание большого пожара. Прикинув на глаз расстояние до огненного столба, гулко, искристо уходящего в августовское порожнее небо, он определил безошибочно: горят торговые ряды на Старой площади.

Несмотря на поздний час, мимо калитки бежали люди, обмениваясь тревожными, короткими репликами.

Юрий, словно зачарованный, смотрел на огонь. Там, на пожаре, время от времени что-то тяжело ухало, и тогда в столб пламени, красного, неостановимого, как бы добавлялся мазок золотистой краски.

«А ведь там сейчас фрицевские склады! — ахнул Юрий. — Так ведь это же здорово! Это же как продолжение пестовского дела!»

Он кинулся в дом, напаял на себя, что попало под руку, и через несколько минут стоял на углу Красноармейской улицы и Старой площади. Дальше не пропускали — лицом к пестрой толпе напряженно замерла цепочка автоматчиков, черных, чернее ворон, на фоне пожара. Впрочем, идти дальше и не было нужды — все было как на ладони.

К небу возносился уже не столб, а громоздилась рвущая башня огня. Ни сводчатых перекрытий дореволюционных построек, ни по-купечески прижимистых окон верхнего этажа не было видно в этом бездымном потоке, уносившемся кверху. Казалось, длинный, приземистый дом не горит, а расплавляется в золотом мареве. Фигурки метавшихся вдоль огня солдат и полицейских выглядели жалкими и беспомощными перед огненной стихией.

От военных грузовиков, крытых тентами, и двух бокастых водовозов, хотя и отогнанных поодаль, валил парок, словно и они готовы были вот-вот вспыхнуть от невыносимого жара.

Жар опалял Юрию лицо, время от времени застав-

ляя отворачиваться в прохладную темень. Но, отвернувшись, он по-прежнему видел только огонь, и почему-то ему чудился не вот этот реальный, полыхавший перед ним пожар, а тот, который он так и не видел вблизи, рассматривая отблески сквозь щели светомаскировки, тот пестовский пожар первых дней его возвращения в город. И сквозь золотое биение пламени проступало лицо Пестова, собранного, спокойного, но смотревшего с укором. И словно слышался его голос: «Да, в плохое время мы начинаем, Федя, если даже такие мастера, как Токин, играют свою худшую игру...» Или что-то в этом роде. Токин не помнил точно слов Пестова, но смысл его реплики в перерыве того, последнего, матча, казалось, жил в нем все эти дни.

Немцы ничего не тушили... Смирились, что склады уже потеряны. Сновали вокруг горевших помещений, будто в ритуальном танце. И эта бессмысленная суэта так контрастировала со спокойствием толпы, равнодушно взиравшей на огонь, что Юрий даже вздрогнул.

Он представил себе совсем недавнее прошлое, когда беда, нависшая даже над маленьким домиком, сплачивала незнакомых и малознакомых людей в единую семью. И каждый стремился помочь хоть кружкой воды, хоть горстью песка. Вокруг пожара тогда, в мирное время, бушевал другой огонь — огонь человеческого соучастия.

Юрий жадно всматривался в лица стоявших вокруг людей, озаренных жарким светом, и, странное дело, все они казались ему на одно лицо: и бабы, и редкие мужики. Только потом он понял почему: на всех лицах застыло одно выражение — выражение холодного отчуждения. Откуда-то из темноты улиц подбегали новые люди и замирали, словно патыкались на незримую стену, а отнюдь не на цепь автоматчиков. И Токин увидел, как едины люди в своем неприятии врага, как в глубинах, им еще не измеренных и не познанных, продолжает зреть искра пожара, запаленного Пестовым. И ни виселицы, ни пули не в состоянии затушить ее. И она еще взвоется к небу вот таким пламенем не раз, и нет, не может быть силы, которая была бы способна ей противостоять.

Потрясенный этим открытием, Токин, повернувшись, медленно пошел домой, продолжая думать о невидимой,

но сегодня так явственно им осознанной связи между пестовским лицом и цепью лиц в толпе, будто отлитых из холодной красной меди.

## МАРТ. 1958 ГОД

Как всегда, мы опаздывали. И все по милости Вадика, Вадика, который часа за три до игры начинал ныть, что пора двигаться, что надо наконец хоть раз по-человечески добраться до Лужников — в приличном, а не в спрессованном метротолпой виде, что ему хоть раз хочется занять в ложе прессы свое, законное место, а не раздвигать приятелей в разные стороны, чтобы с трудом впихнуться на полкресла.

И все кончалось как обычно. Сам же Вадик находил в последнюю минуту какие-то дела, и мы бежали от редакции до метро, и я, поскольку он всегда забывал разменять деньги, совал за него в автомат второй пятак.

Сегодня 23 марта, решающий день Кубка страны. Вадик, ярый болельщик армейцев (что ему плохо удается скрывать и в отчетах об играх), в приподнятом настроении. Армейцы имеют все шансы удержать у себя Кубок страны по хоккею и опять натянуть нос динамовцам. А это сиречь мне. Поскольку, если быть откровенным до конца, я не только прирожденный динамовский болельщик, но и журналист, не лучше Вадика умеющий скрывать свою клубную приверженность.

— Мне это простительно, — обычно говорю я, — когда-то сам играл за «Динамо».

Вадик лишь ехидно улыбается, а главный редактор начинает кипятииться:

— У меня не клубная команда! Чтобы я больше ни от кого не слышал предвзятых суждений! Хватит и так читательских писем!

В конце концов шеф принял поистине соломово решение — отчет о матче ЦСКА — «Динамо» нам поручалось писать вдвоем. Любил шеф затеять маленький служебный спектакль, а самому со стороны посмотреть, как будут актеры делить неделимые роли.

И вот мы едем писать совместный отчет.

Поездка начинается крайне неудачно — людской



поток рассекает нас, и перед самым Вадькиным иссом захлопываются двери, и он, по-петушиному кинувшись на плотную стену втиснувших меня в вагон людей, остается на перроне с кислой рожей. Я, даже не имея возможности сделать ему ручкой, показываю язык. Но на этом мои радости и кончаются. Когда толпа выплевывает меня на перрон станции «Спортивная», она делает это словно издеваясь, поскольку выплевывает на растерзание новой толпы — жаждущих лишнего билета.

Меня, уже забывшего, как ходят на стадион по билету, всегда умиляет этот волчий оптимизм жаждущих, которые непоколебимо уверены, что они все-таки своего дождутся. И тогда, чтобы отбиться от них, остается лишь единственный способ — развенчать, унизить себя в их глазах, — и я скороговоркой, не дожидаясь вопроса, а лишь заведя очередное искаженное мольбой лицо, громко, на разные лады выкрикиваю:

— Сам ишу! Са-аам и-ишу! Сам ишу-у-у!

Появляется Вадька, огрызаясь по сторонам, и мы выбираемся наверх.

Духота переполненного метрополитена сменяется зябкой сыростью мартовского оттепельного вечера, когда редкий снежок превращается в воду, еще не достигнув асфальта. Со служебного входа, предъявив свои пропуска, попадаем внутрь. Мест в ложе прессы, естественно, нет, поскольку там сидят все, кто имеет отношение к прессе, и все, кто к ней не имеет никакого отношения. Я спокоен: Вадька начинает сложные многосторонние переговоры, одновременно успевая с умилением взирать на своих любимцев, которые, словно стараясь пробить борт или устроить собственного вратаря, нанизывают друг на друга гулкые шайбовые выстрелы.

Мы усаживаемся точно по свистку судей, вызывающих команды на лед. Вадька волнуется. Его неизменный блокнотик в руках. По клеточкам мелко расчерченной бумаги сейчас начнут разбегаться значки, подающиеся только хозяйской расшифровке. Порой мне кажется, что расшифровка, когда Вадька это делает, чистой воды надувательство, и он бессовестно импровизирует. Но, к удивлению своему, обнаруживаю, что излагаемое Вадькой соответствует действительности и что

его система значков существенно дополняет мою отменную, по словам самого же Вадьки, память. Но сегодня я полагаюсь не только на нее. Еще дома я накатал такую «динамовскую рыбу», что при всей легкости пера Вадьки симпровизировать будет трудно, когда после игры наступит цейтнот и отчет в редакцию придется диктовать, поскольку отчетом закрывается номер. Конечно, если сама игра армейцев не принесет тот ожидаемый сюрприз, когда все хорошие слова в адрес динамовцев станут пустым звуком, неспособным даже приглушить звучание внушительного счета армейской победы.

Первый период армейцы играли так, будто хотели в один период вместить все, что отпускалось им талантом и стараниями па шестьдесят минут игры. Я знал это. Более того, я уже написал об этом. И о ничейном счете первого периода, и о мужестве динамовцев, которое сродни мужеству обреченных в осажденной крепости. Но как и дома, когда писал, так и сейчас, вспомнив слово «обреченный», я поежился, и сердечко мое жалобно запыло в дурном предчувствии.

В перерыве и я и Вадик ринулись в раздевалки своих команд. «Поскрести по сусекам», как любил выражаться наш шеф — авось услышится что-то интересное, да и полезно сверить свои ощущения с тренерским восприятием игры.

Аркадий Иванович был, как всегда, сдержан. Я себе представил, что делается в армейской раздевалке, — каждый раз, возвращаясь оттуда, Вадик весьма неохотно рассказывает, что там происходило, только повторяет: «Спектакль, вот спектакль...»

Старший тренер динамовцев очень коротко, буквально в трех-четыре фразы проанализировал игру и пошел раздавать каждому отдельные замечания, очень дружеские и очень категоричные. Он видел, что ребята сделали все, что могли, и честно устали. Сбросив майки, опустив подтяжки, расшнуровав ботинки, они полулежали в мягких креслах, вытянувшись, как лесорубы после долгой изнурительной смены. Кажется, никакая сила уже не способна поднять их из «мертвых». Но сигнал как рукой снимает расслабленность. Незаметно одеваются и тянутся к выходу. А старший тренер подбадривающе хлопает каждого по плечу.

Первый период со вторым сравнить трудно. И армей-

цы немножко сели, но и динамовцы сдали. Больше начали делать ошибок — сказывалась усталость. А тут еще «подарок» динамовского вратаря — легкая шайба, скользнувшая под клюшкой, — вконец расстроил команду. Динамовцы с трудом удержались при минимальном счете проигрыша до перерыва. И сама атмосфера в раздевалке сразу стала напряженной — дамокловым мечом повисло ясное сознание отданной игры. Еще двадцать минут назад — усталость, смешанная с уверенностью бороться за победу. Сейчас — усталость с тревожным сознанием невозможности победить. И даже больше — предчувствием неотвратимости беды...

Вадька пришел из своей раздевалки тихий, но по тому, как бесенята прыгали в глазах, можно было судить, что он крайне доволен. Да и неудивительно — ведь старший тренер армейцев не мог не понимать того, что чувствовали динамовцы.

И игра прошла не по плану, а по предчувствиям. Увы, случается и такое. Достав из кармана заготовку будущего отчета, я время от времени выкидывал то абзацы, то выражения, удивляясь, что все-таки правильно расставил эпитеты, — дело в спортивной журналистике нешуточное.

Когда раздался финальный свисток и под рев трибун армейцы ринулись обнимать друг друга и по-бабьи — всегда раздражавший меня обычай — целоваться, на электрическом табло красовалось 4:1. Солидно. Зал, разделенный в своих симпатиях и антипатиях, продолжал еще дружно бушевать, приветствуя обладателей Кубка страны, а мы, забившись в полупустую комнату пресс-центра, дописывали свой репортаж. Четыреста строк на двоих. Вадька был сдержан, как и подобает триумфатору. Но сдержанности не хватало, поскольку шла она все-таки от такта, а не от души. Недостаток сдержанности он пытался компенсировать демонстративной деловитостью и озабоченностью.

Я сделал по своей части все, что считал нужным, минут за десять и сидел молча, глядя, как суетливо бегают по бумаге перо Вадьки, как, слегка морща лоб, он разгадывает свои крестики-нолики, как легкие бисеринки пота выступают на кончике носа.

Трудно, трудно писать о победителе, которого любишь. Вряд ли это понимают наши «дорогие читатели».

Трудно потому, что хочется найти слова, которых не произносил еще никто, — как при объяснении в первой любви. Но надо заботиться еще и о том, чтобы не обидеть поверженных.

Почти неразрешимая задача.

Но вот Вадька откладывает перо и протягивает руку за моим куском. Я молча подаю ему, и он читает. Читает так бегло, что кажется, опять мистифицирует внимание и ничто его не интересует.

— Может, уберешь слово «бесперспективный»?

Я удивляюсь зоркости его глаза и кивком головы соглашаюсь. Но Вадька еще до моего кивка вычеркивает «бесперспективный» и, собрав в кучку разнокалиберные листочки, набирает номер редакционного телефона. Он диктует торжественно, будто священнодействует. И четкость произношения, которую так любят наши редакционные стенографистки, и само спокойствие даются ему с трудом. Наконец, он заканчивает диктовку. Мы одеваемся здесь же, в комнате. И когда выходим на улицу, белый снежный простор вокруг Дворца пуст — толпа уже разошлась. Идет редкий снежок. Морозцем прихватило сырость, и асфальта не видно под тонкой, но ровной пленкой чистого снега. Мы неторопливо шагаем к метро. У нас есть еще время. К моменту, когда войдем в редакцию, на наших столах будут лежать сыроватые, пахнущие краской оттиски набора. Тогда-то начнется настоящая работа. До хрипоты, до скандала, до изнеможения... Все кончится лишь со словами ночного редактора: «Амба, время истекло». И, несмотря на наши литературно-теоретические разногласия, отправит полосу в печать. Только тогда я вспомню, что уже второй час ночи и что дома ждет Оксана и трехмесячная дочка, которая сейчас, наверно, устраивает концерт, от которого не спят соседи...

Кабинет директора находился на пятом этаже, напротив небольшого зала заседаний, увешанного иллюстрациями к роману Джованьоли «Спартак». Черно-белые литографии с резкими красными элементами и гротесковым рисунком создавали удивительное ощущение древности, подлинной, а не мнимой, ощущение драматизма и собственной причастности к тем далеким со-

бытиям нелюбимой мной римской истории. Нелюбимой, потому что варварский, с моей точки зрения, Рим уничтожил великую культуру Греции.

В приемную директора издательства я попал случайно, несмотря на лежавшую в моей папке заявку на книгу, которую хотел предложить издательству, свою третью по счету книгу. Позавчера, когда мы ждали с Вадькой оттиски сигнальных полос, я вдруг понял, что это может быть настоящая книга, о которой мечтает всякий в меру тщеславный человек, держащий перо.

Правда, я много раз сталкивался с этим ощущением, очень похожим на африканский мираж, который с приближением тает, и остается вместо роскошного озера в пустыне все тот же желтый до бесцветности песок. Аналогичное может случиться и с этой книгой. Но после разговора с Вадькой у меня все горело в груди, будто куснул красного стручкового перца. Я создал трехстраничную заявку и вот сижу здесь, жду приема, толком не зная, почему пошел прямо к директору.

— Прошу вас, товарищ Сергеев, — в момент, близкий к белому кипению, пропела секретарша и открыла тяжелую, обитую кожей дверь. Я вошел в просторный, слегка вытянутый кабинет. В конце бесконечного стола, под стеклом которого красовались всеформатные портреты знаменитых людей с автографами, сидел полный добродушный человек с приятным лицом. Он был очень полным и очень добродушным, с едва уловимой смешинкой в уголках пухлых губ.

— Чем могу служить?.. — Он дважды повторил этот вопрос, пока я наконец, осмотрелся.

Мне всегда претило находиться в роли просителя. Я предпочитал отказываться от самого необходимого — качество, которое явно не устраивало Оксану, — только бы не обращаться с просьбой к кому бы то ни было. Исключение составлял, пожалуй, Вадька...

— Юрий Николаевич, — начал я — имя и отчество директора подсказала секретарша, — я побеспокоил вас, потому что нашел, кажется, удивительную историю...

— Уж так, понимаете, удивительную?!

Скосив глаз, увидел, как мелким почерком он заносит в свой ежедневник мою фамилию и готовится записать все, с чем я пришел. Список посетителей доходил до нижней кромки.

— Есть такой древнерусский город Старый Гуж. В первый год войны там действовала подпольная организация. Подпольщики сделали немало, но организацию предали. Ребята держались героически и на допросах, и на казни. Это были крепкие парни, в основном спортсмены. Возглавлял организацию кумир болельщиков — центральный нападающий местного «Локомотива». Я собрал кое-какой материал, хотя еще копать и копать. Но появился уже авторский зуд — убежден, что может получиться настоящая книга. Принес вам заявку....

— Признаться, ожидал, что обрадуете очередным укусом о велогонщиках.

Заметив мое замешательство, пояснил:

— Читал вашу книгу и пожалел, что она вышла не у нас. Издатель, понимаете, должен следить за тем, что выходит не только в своем хозяйстве, но и у конкурентов.

Я сразу же почувствовал себя так, словно не раз встречался с этим человеком. Он расспрашивал меня о подробностях поиска, о характерах, о возможных сроках подготовки рукописи и, наконец, включил рычажок на неуклюжем, неполированном ящике.

— Алексей Георгиевич, зайдите, пожалуйста!

Через несколько минут в комнату проскользнул худенький человечек с лысым загорелым черепом и бесцветными бегающими глазками. Длинный, как у Бура-тино, нос смотрел задиристо — так и хотелось ткнуть этим носом в холст старинной картины.

— Вольнов, — тихо представился он.

— Наш заведующий редакцией. Думаю, ваше предложение по его епархии. Повторите вкратце идею.

Я повторил.

Вольнов слушал бесстрастно, и на его пустопочти-тельном лице я не уловил ни одного знака живого интереса. Но директора это не смущало.

— Стоит немедленно заняться этой книгой. Дадим автору срок до конца следующего года. Нет, до первого ноября. И пусть кладет на стол документальную повесть...

— Но я хотел художественную! Может быть, роман...

— А вы пишите, понимаете, как пишется. А мы пока

договоримся о документальной. Там будет видно.... И не убеждайте больше, что о героике не пишут.

— Юрий Николаевич, но...

— Не спорьте, понимаете. Скажите лучше спасибо, что я нашел вам тему.

— Спасибо, — Вольнов сказал это таким тоном, что я подумал: если в редакторе автор обычно видит помощника и товарища по работе, то в Вольнове я отпыле нажил по меньшей мере недоброжелателя.

В тесной каморке заведующего редакцией события развивались со скоростью, заданной в директорском кабинете, — через полчаса, не спрошенный больше ни о чем, я расписался в четырех экземплярах издательского договора.

Полное сознание того, что я взвалил на свои плечи, пришло лишь дома, когда остался сидеть с дочкой, а жена спешно и надолго отлучилась в прачечную.

Ужинали шумно. Раскутанная Ксюша кричала на кровати в жарко натопленной комнате, разметав свои крохотные кривые ножки по байковой пеленке. Я собирался рассказать, что и как решилось в издательстве, но Оксанка, истосковавшись по собеседнику за время одинокого сидения дома, говорила без умолку.

— Знаешь, Ксюша уже начинает разговаривать. Ну, может быть, и не совсем разговаривать, но понимает, во всяком случае, что я говорю. «Ксаночка, кушать будет». Она во весь ротик засмеется и так, знаешь, как бы изнутри: «Гыг-гы! У-гы!»

Я смотрю на жену, наверно, с иронией. Ксанка-старшая завелась, и теперь — уж это знаю точно — ничто не заставит ее умолкнуть, пока не выговорится. Я ем и временами бросаю взгляд на кровать, где лежит крошечное существо, и, чтобы подразнить Ксанку, спрашиваю...

— А сама она еще есть не просит? Ну, скажем: «Поджарь глазунью, только обязательно на сале?»

— Дурачок ты, Андрейка, — отвечает жена. — Она ведь весь мир еще кверху ногами видит.

— Яичница и кверху ногами такая же, — острою я, но острота моя повисает в воздухе. Жена слушает только себя. Да и слушает ли? Она переполнена радостью общения с этим маленьким комочком, и я с долей рев-

ности вдруг начинаю понимать, что отхожу на второй план. Это маленькое существо, наше общее существо, теснит меня в сторону и все больше и больше захватывает воображение своей мамы...

Я давно съел все положенное и сижу, обхватив голову руками и глядя на жену. Она вдруг замечает меня и, переменившись в лице, спрашивает:

— Ты чего такой смурной?

— Слушаю. Тебя слушаю. И кажется мне, что ты об инопланетной жизни рассказываешь.

— Издеваешься?!

— Что ты, Оксанка?!

Я встаю, обнимаю жену. Мы идем к постели и ложимся рядом с маленькой Ксюшкой. Смотрим на ее курносый носик, собственно, и не носик, так, пуговицу, в которой по невнимательности сделали только две дырки из четырех, на черную челку над лобиком и поповский венчик таких же черных волос, на пульсирующее, будто сердце вышло на поверхность, темечко, едва покрытое редким пушком, и на совершенно белесые брови. Я подаю Ксюшке палец. Она цепко хватается за него и, пуская пузырьки, мурлычет, пытаюсь что-то рассказать о своей жизни.

— А у меня сегодня заявку на книгу приняли, — выпаливаю я вдруг ни с того ни с сего, хотя весь вечер собирался сказать именно это.

— На книгу? Правда?! — радостно вскрикивает Оксанка и, обняв меня, целует. — Поздравляю! Вот здорово! А сможешь? Ведь ты сам говорил, что сделано так мало, что все еще впереди.

— Времени осталось с гулькин нос. В следующем году надо положить книгу на стол.

Оксанка хмурится. Вижу, как на ее высоком лбу растет упрямая складка и упирается прямо в нос с горбинкой — верный признак того, что жена прикидывает, как сказанное отразится на ее планах.

— А как же с отпуском? — на одном выдохе спрашивает она.

Не подумав, отвечаю:

— Придется потратить его на сбор материала. Поехать в Старый Гуж, посидеть в архивах, но зато...

Но «зато» жену уже не интересует. Она сразу снижает, отстраняется.



И только Оксанка-младшая по-прежнему крепко держит меня за палец, словно боясь, что я уйду. Жена садится за стол, подперев кулачками щеки, и говорит:

— Мы же собирались в деревню к матери. Я ведь, Андрюшка, умаялась. Мать бы помогла. Трудно пока, с непривычки...

Выдернув палец из кулачка Ксанки-младшей, я подсаживаюсь к жене и, обняв за плечи, заглядываю в глаза. Они полны слез. Мне становится муторно на душе. Нет и следа той буйной радости, которой я был налит, шагая из издательства домой. И далекая война, и ребята, погибшие в Старом Гуже, и весь этот поиск, и Суслик — все тонет в назревающем будничном разладе. Уже представляю себе, как долго будет он длиться, сколько сил и нервов отнимет и как вспыхнувший творческий порыв начнет гибнуть в суете повседневных — увы, от них никуда не денешься — забот.

Мне становится совсем тошно на душе. Но надо идти на мировую. После долгих, долгих дискуссий жена, конечно, согласится, чтобы пропал совместный отпуск, потому что она жена журналиста и она понимает меня и уже не раз отказывалась от манящих удовольствий, принося их в жертву моей суровой необходимости стучать по клавиатуре пишущей машинки.

Сходимся на том, что, если удастся, я попрошу творческий отпуск за свой счет и мы все-таки уедем к матери в деревню, чтобы жена смогла хоть чуть-чуть выспаться, не поднимаясь на каждый плач дочки.

В такие минуты я особенно остро ощущал зыбкость не только своего домашнего мира, но и мира большого, лежащего где-то за границами квартиры, мира, уводившего в прошлое, в том числе и в тот военный, неопределенный Старый Гуж.

И как только я начинал думать о Токине и его парнях, беды мои сегодняшние становились такими мелкими, а жизнь, полная вроде столь значимых дел, казалась пустой и бессмысленной.

Со временем я привык к мысли, что без такого сравнения прошлого и настоящего не могу определить своего места на земле.

Иногда Старогужская история так зримо вторгалась в жизнь современную, что из рук валилось все. Мне казалось, что, если не напишу книгу о старогужских пар-

нях, не напишу ничего. Почти физическая ответственность за происшедшее в том далеком военном году подвигала на новую активность. И тогда на смену нелегким периодам сомнений и разочарований вдруг приходило одно пронзительное убеждение — и Ксюшкин плач, и строки, написанные мною для газеты, и то, что я живу, дышу, — все это уже было однажды оплачено самой дорогой ценой — ценой человеческой жизни. Тысяч жизней. Миллионов жизней. И совесть каждого живущего сегодня зовет к возвращению своего долга людям, сделавшим для них, моих современников, так бесконечно много...

## СЕНТЯБРЬ. 1941 ГОД

От зноя, испепелившего летом все окрест, осень стояла жухлая. Она как бы поглотила бабье лето. Будто знала, что это золотое времечко, и как все ценное, что прятали от врага то под землю, то во временные бункеры, то подальше — за Урал, в Сибирь, — захоронила бабье лето под бесконечной пеленой удручающих дождей. Обвялый лист на тополях и ракитах легко обламывался под тяжестью воды, и только самые стойкие, испив освежающей влаги, расправлялись и зеленели вызывающе, как бы с двойной силой, наперекор всему — и бывшей засухе, и огню пожаров, и расколам снарядных взрывов.

Если прежде, до войны, дожди ранней осени приносили с собой влажное тепло грибных походов, легкую прохладу перегретому за лето телу, то теперь от них лишь вконец развезло и без того разбитые невиданным обилием техники дороги.

С того самого дня, как рабочие отремонтировали угол и провели свет, Морозов ночевал редко. Он уходил на работу раньше Юрия и приходил часов в десять-одиннадцать вечера. Юрий спал или притворялся спящим. Было в квартиранте что-то такое, может быть, сама его самоотверженная работа на новый режим, что раздражала Юрия. Потому они лишь дважды или трижды ужинали вместе.

Юрий, неумело штопавший прорванный железом ватник, даже вздрогнул, когда в комнату вошел Морозов.

— Рано вы сегодня, — не без вызова сказал Юрий.  
— На станции все нормально. — Морозов усмехнулся. — Да и тебя вижу редко. Соскучился. Неудобно как-то — вроде хозяин, а должного уважения к тебе не проявляю.

Юрий насторожился, но напрасно. Морозов достал из брезентовой сумки копченого леща и две банки немецких консервов в ярких обертках и поставил на стол. Потом вынул из внутреннего кармана пол-литровую бутылку, запечатанную бумажной пробкой.

— Не первач, — смущенно улыбаясь, пояснил он. — Но можно. Особенно, если нос зажать пальцами, когда пьешь.

— Ничего, фрицы наш самогон, не зажимая, дуют.

— Им можно. Они и сами пахнут не лучше сивухи.

Почувствовав, что сказал лишнее, Сергей Викторович поспешно пошел умываться.

Зажгли свет. Юрий принес миски и голубые чашки, из которых с матерью часто чаевничали.

Молча выпили и принялись сосредоточенно жевать.

— Как работается? — спросил Морозов. — Не обижают?

— Лучше меня знаете, что на заводе делается. Небось, когда направляли, все справки в управе навели...

— Время такое, сосед, без справок трудно...

— Вам же немцы верят без справок? Вон какой пост поручили! «Осветитель отечества», я бы сказал!

Морозов пропустил реплику мимо ушей.

— Ошибаешься, браток, и я со справочкой! Работал когда-то сменным инженером в Саратове. Надоело сидеть на зарплате. Захотелось погулять. Понадобились деньжата. Пришлось провернуть одну лихую комбинацию. Но она оказалась слишком лихой... И пошло мотать по тюрьмам. Последний раз сидел в Витебске. Не знаю, что бы сделала с нами Советская власть при эвакуации, да бомбежка помогла — полтюрьмы завалило, а кто остался — деру дали. По дороге к немцам попал. Думал, легко все обойдется. А они такую проверку устроили, что милиции и не снилось. Аккуратные черти, — то ли с одобрением, то ли с осуждением, сказал Морозов, — тюрьму расчистили до камушка. Все архивы подняли и на основе подлинных документов мне справочку выписали.

Он налил по новой чашке самогона, но Юрий, прежде чем выпить, сказал:

— Мне кажется, не поверил бы я в эту историю.

Морозов вздрогнул и насторожился. Но, разгоряченный самогоном, Юрий не заметил этого. Морозов сразу же взял себя в руки.

— А ну-ка расскажи, как тебе видится чужая жизнь!

— Думаю, что воевали вы лейтенантом. В танковых войсках, допустим. И фамилия не Морозов у вас, а какая-нибудь Кочкин или Птичкин. В окружение попали. Струсили. Документы и оружие закопали. В гражданку переоделись и заявили немцам, что уголовник...

Морозов крикнул, выпил залпом остатки самогона и сунул в рот кусок розового леща.

— Каждому верится во что хочется! Но жизнь прошлую переделать нельзя. Из нее, как из песни, слова не выкинешь!

— Семья-то у вас, Сергей Викторович, есть? — Может быть, впервые в охотку по имени-отчеству, сам не зная почему, назвал его Юрий.

— Была. И отец жив еще был до суда, и мать, и сестра, и жена. А мальчонка родился уже без меня. В день суда и родился, — он криво усмехнулся. — Ну да сочтемся, Юрий. Жизнь прошлая, она прошлая и есть. Человек на землю единожды приходит, да и то ненадолго. И как бы там на земле нашей ни было, с ней мы радовались, с ней горевали, с ней и дальше заодно будем...

Неизвестно, чем бы закончился этот затянувшийся разговор, но в дверь вдруг тихо, не по-свойски, постучали. Морозов испытующе посмотрел на Юрия, Юрий — на него. Хотел убрать со стола самогон, но Морозов остановил.

— Не надо! Пусть стоит. Нам прятаться нечего...

Юрий пошел открывать дверь и привел в комнату парня лет семнадцати, в серой деревенской одежде, изрядно пропыленной, с пятнами грязи на штанах.

Увидев двух мужчин, парень снял картуз и, не зная к кому обратиться, спросил:

— К Токину правильно в хату попал?

Услышав свою фамилию, Юрий ответил:

— Правильно. Я Токин. А ты чей будешь?

— Из Знаменки я...

Юрка бросился к парню и под недоуменным взглядом Морозова стянул с него котомку.

— Ну как там? — спросил он, заглядывая в глаза вошедшему. — Мамка как?

— Убило ее, — без всякого дипломатического подхода сказал парень, и за этой прямотой крылось столько выстраданного, столько страхов и смертей, что Юрий в ужасе закрыл глаза.

— Что ты сказал? Повтори? — прохрипел он.

— Убило ее, — упрямо повторил парень. Юрий рванулся, но плечи его сдавили сильные руки Морозова.

— Спокойно, Юра, спокойно... Давай-ка все по порядку. Может, тут ошибка какая?!

Но не приученный с детства к недомолвкам, вошедший высыпал деревенской скороговоркой:

— Нет никакой ошибки! Знаменку разбомбили... Домов пять уцелело. Братнина жена за картохой в поле ушла, а бомба прямо в трубу попала. Будто печь с маманей и подлетела к небу. Сноха пришла — только яма и осталась. Узнала, в город иду — велела рассказать, коль найду.

Парень умолк.

Весь остальной вечер — спать легли уже почти перед рассветом — прошел у Юрки как в тумане. Он судорожно молчал. Расспрашивал гостя Морозов, будто речь шла о его матери, а не о токинской. Накормив парня, Морозов сам уложил его спать, от усталости тот задремал прямо за столом.

Токин и Морозов еще долго сидели молча. Квартрант не успокаивал. Курил одну самокрутку за другой, кричал, этим странным звуком как бы отвечал своим мыслям.

«Мамки больше нет... Нет, вот и все! Нет ее ласкового голоса: «Молочко с погреба возьми». Нет ее хлопотных рук. Нет всего... Странно, — думал Юрий, — но почему я не ощущаю в себе боли! Ведь это ж мать! Мамка!»

Юрий пытался прислушаться к самому себе и найти объяснение, почему он еще сидит вот так, почему в нем все не крутится, не ломается, не сыплется по частям. «Мамка ведь!»

Морозов тронул его за плечо.

— Ничего, Юрка, время такое... Терять да терять...

Поспи. Забудешься. А при свете дня многое по-иному видится. Осмысленнее.

Юрий в ту ночь так и не заснул. Голова полнилась воспоминаниями детства. И не было конца этим воспоминаниям, как не было, он чувствовал теперь, конца той пустоте, которая обозначилась перед ним со смертью матери. И есть, пожалуй, только одна сила, которая способна заполнить эту пустоту, — месть...

Весь следующий день разбирали завал тяжелой колючей арматуры, скрученной огнем в замысловатые узоры. Старик Архаров первый заметил, что Токину не по себе. В обед подошел и, как бы между прочим, спросил:

— Ты случаем не прихворнул?

— На душе погано.

— А у кого хорошо?

— Вот у них, — Юрий кивнул в сторону трех немцев. — Гогочут — хоть бы что...

Он с ненавистью смотрел на рыжего немца, которого увидел обжираться в малиннике. Рыжий что-то сказал — остальные засмеялись. Рыжий ушел. А в глазах у Юрия все стояло ненавистное лицо немца, слышался его лающий голос.

— Не хандри, парень, — сказал Борис Фадеевич и, полюбив, встряхнул не по-стариковски сильно.

— Да что там... — ушел от разговора Токин.

После беседы с Архаровым на душе не стало лучше, и только неожиданное появление к концу смены Сашки Кармина, правого полузащитника и закадычного друга Глебки Филина, обрадовало Юрия.

— Как ты сюда попал? — скорее для проформы, чем для дела взявшись за конец рельса и раскачивая его, спросил Токин.

— Долгий разговор, — одними губами ответил Кармин, — воевал в ополчении. Два дня и повоевал только. А потом... — Он махнул рукой.

— Ладно, — остановил Юрий. — Айда после работы ко мне домой. Поужинаем. Кое-что из жратвы осталось... Еще от матери... — Он помрачнел, бросил рельс. — Убило ее бомбой в Знаменке... — Будто Александр непременно должен был помнить, что мать его застряла тем воскресеньем в далекой деревне.

— А у меня деда повесили...

И только тут Юрий вспомнил: человек, который висел на балконе универмага рядом с Пестовым, был дед Кармина, суетливый говорун, с которым не однажды пили тягучую «фирменную» вишневку — отменно сладкую, крепкую не спиртом, а душистой пряностью вишневого сока.

— Значит, про Владимира Павловича знаешь?

— Знаю. В город пришел, когда их уже сняли. Прятался у Глебких родственников.

— А Глеб-то где?

— Там же, — неопределенно ответил Александр и, увидев, что двое незнакомых парней направились в их сторону, начал усердно раскачивать рельс.

После работы они отправились к Токину. Шли не разговаривая, будто два случайных попутчика. Только на углу главной улицы одновременно замерли и долго провожали глазами мотоколонну, состоявшую из грохочущих, почти квадратных танков, уже знакомых тупорылых грузовиков и трескучих, деловито шинряющих мотоциклов, в которых сидели зашлепанные грязью по самые уши солдаты. От резких ударов из мощных танковых траков вываливались жирные пласты загородной глины. Юрий обратил внимание, что под осенним дождем солдаты выглядели совсем не так браво, как тогда на пыльной улице Знаменки.

— Погодите, сволочи, вы у нас еще зимой померзнете! — Александр погрозил кулаком проходившему совсем рядом танковому борту. Слова Александра даже Юрий разобрал с трудом, а вот жест Сашки, казалось, увидел сидевший за башней солдат. Юрий, дернув приятеля за рукав, утащил в переулок.

— Им не кулаком грозить надо — их, как крыс амбарных, травить нужно. Бить поленом по голове!

— Поленом много не набьешь.

Они вошли в сад и устало опустились на ступени крыльца, жалобно скрипнувшего под их тяжелыми телами.

— А мне все равно чем, только бы бить! Слышишь, Сашка?! За мать... деда твоего... Не могу больше! Душа горит! Лишь кровью их подлой пожар залить можно!

Александр медленно поднял голову и очень внимательно посмотрел на Токина.

— Пионерскую улицу помнишь? — вдруг спросил он.

— За трамвайным депо?

— Да, дом двенадцать. У обрыва. Крайний. Сад как на кривой доске стоит. Там Глебкина бабка живет. Махнем туда — покажу кое-что интересное.

— Давай, — охотно согласился Юрий.

— На всякий случай пойдем врозь, — предложил Кармин.

— Дуй ты, а я через пяток минут подтянусь.

Кармин одобрительно кивнул головой.

— Посматривай вокруг. Народа мало, каждый человек замечен. Заходи прямо в дом, я ждать тебя в горнице буду.

Когда через полчаса, благополучно миновав патруль из полицейских, впервые проверивших у него рабочий пропуск, он вошел в незнакомый дом, как в свой, Сашка нетерпеливо поглядывал в окно — все ли спокойно там, за редким покосившимся забором из штакетника. Удостоверившись в относительной безопасности, поманил Юрия рукой, и они выскользнули в сад. В кустах крыжовника, обвитого лохмотьями мокрой старой паутины, Юрий увидел широкий, закиданный сучьями вход в подпол. Такие ледники делали старожилы, чьи огороды выходили прямо на берег. С весны набивали льдом, долго не таявшим, свои подземные кладовые.

Сашка быстро разбросал сучья и по-хитрому стукнул в дверцу. Крышка приподнялась, и, прежде чем Юрка успел удивиться, из-под нее выскользнул Глеб. Бледный, осунувшийся, в теплом, не по сезону, ватнике, позволявшем, наверно, не так мерзнуть в подполе.

Они обнялись.

— Как ты?

— А как ты?

И умолкли. Юрий пожал плечами и неопределенно сказал:

— Работаю...

— А я вот дырки немецкие залечиваю. — Глеб показал на ногу.

— Хорошо, пуля сквозь мякоть прошла. Теперь и ходить могу. Но, видно, отыгрался, — он криво усмехнулся, постучал себя по мощным ляжкам, которые всегда выставлял напоказ, нося короткие, короче, чем



кто-либо в команде, трусы. Эта привычка Глеба выделяться вечно раздражала Владимира Павловича.

— Обойдется, Глебка! Нам сейчас в другие игры надо играть. Простреленная нога такому футболу не помеха.

— Показать? — вдруг спросил Кармин, обращаясь к Глебу.

Тот согласно кивнул и, как делал уже, видно, по привычке, стал легкими кругами массировать больную ногу прямо через холщовую брючину. Кармин нырнул в подпол и, будто из преисподней, позвал:

— Лезь. Здесь неглубоко. Только голову осторожней.

Юрий очутился в сухом погребе, осмотреться в котором смог лишь после того, как глаза привыкли к неверному свету уходящего в вечер пасмурного дня.

Песчаные стены погребка были усилены ивовой плеткой — старой, но достаточно крепкой. По крайней мере, Юрий даже не заметил за одним из плетеных щитов большой ниши. Сашка стал на четвереньки и вытянул из ниши сверток. Раскинув брезент, Юрий увидел смазанные, будто только что с завода, винтовки и автоматы, несколько пистолетов, связанных за скобы ржавой проволокой. Потом из показавшейся бездонной ниши Кармин извлек ящик с гранатами, несколько коробок патронов и разложил все перед Токиным, словно грек в овощном ряду центрального рынка.

Юрий опустил на колени, зажал в руке ноздреватый ствол. Он ощутил ласковую прохладность металла, не воспринимая автомат как оружие. Мускульным воспоминанием всколыхнулось то далекое чувство, когда впервые взялся за берданку, отправившись с братом на охоту. Утиного лета не было, ему так и не довелось выстрелить, но неповторимость ощущения осталась. И сейчас, крепко сжав шейку автоматного цевья, он уважительно сказал:

— Машина!

Потом подкинул на руке пару гранат.

— Будто вчера только сдавали нормы ГТО. Ты, Сашка, на сколько метнул? — Токин показал гранату.

— Не помню. Что-то неважно — метров на сорок.

Юрий осторожно положил гранаты, и, замаскировав все как было, они выбрались наверх.

Тревожный закат красил тихую, словно застывшую в горе, воду неестественно густой киноварью. При взгляде на плес, ощущение сырости усиливалось.

Глеб полез в свой погреб, Сашка пошел провожать Юрия. У калитки он вдруг предложил:

— Вот что, капитан. Глебка ранен. Правда, легко, уже поправляется, — поспешил успокоить Кармин, поймав тревогу во взгляде Юрия. — На футболистах, сам знаешь, как на собаках, все заживает. Нас уже трое. Архаровых пощупать можно. И давай-ка возглавляй команду: надо доиграть тот прерванный матч. Только мячики мы пожестче достанем. — Сашка наклонился к Токину: — Знаешь, что сейчас на стадионе?

— Нет. — Само слово «стадион» Юрий воспринял как нечто совершенно абстрактное и незнакомое. И только сейчас подумал, что за этот месяц он ни разу даже не вспомнил о стадионе, не заглянул туда, будто со смертью Владимира Павловича само понятие «спорт» перестало существовать.

— Там склад трофейного оружия, — Сашка неопределенно повертел ладонью. — Даже складом назвать трудно. Свалка. Понаташили с полей все, что наши оставили отступая, свалили в кучи, проволокой колючей наспех обнесли и раненого Ганса сторожить поставили.

Сашка еще раз испытующе посмотрел на Юрия — доверять или не доверять ему нечто существенное. И, наконец решившись, сказал:

— А может, наведаемся ночью на стадион? Они, дуруни, нашего заячьего лаза не открыли. Я ведь все это оружие оттуда натаскал.

Юрий вспомнил лаз, о котором знали далеко не все мальчишки. Это было тайной их, заводских пацанов. По нему они попадали на самые интересные матчи.

— Что добудем — к тебе отнесем. Укрыть где найдется?

У Юрия зачесались руки: иметь под боком маленький арсенал — лучше не придумаешь!

— Найдём. — Он, правда, еще не представлял себе, где сможет укрыть оружие, но знал, что придумает.

Сашка забежал в дом и вынес два армейских рюкзака. Когда выбрались на реку и, крадучись вдоль берега, двинулись к стадиону, совсем стемнело. Только

свежившаяся полоса воды указывала путь. Юрий шел напряженным шагом, то и дело спотыкаясь о корневища вырубленных ивовых кустов. К забору стадиона вынырнули внезапно и залегли в траву, вслушиваясь в ночные звуки.

— Часовой околачивается в будке у ворот. Если тихо да и в рост не поднимаясь — ни за что не заметит, — прошептал Сашка.

— Пошли, — Юрий по-пластунски скользнул в кусты и по старому виадуку добрался до узкой норы — лаза. Втянув голову в плечи, осторожно нырнул в щель, привычно замолотив ногами по воздуху.

— Тише ты, черт! — раздался сзади горячий шепот Сашки.

От забора до едва различимых высоких куч оружия было метров пять. Набив рюкзаки всем, что попадалось под руку — патронами, лимонками, круглыми дисками от ручных пулеметов, — и прихватив по автомату, они без приключений добрались до токинского дома.

Когда разложили добычу на полу, Юрий увидел, что Кармин взял больше его — дотащил еще небольшой промасленный ящик на десяток ручных гранат.

— Надо этот склад по подвалам растащить. Нас в ополчении, правда, и к трехлинейке не успели толком приучить. Да мы ведь спортивные, сами, что к чему, разберемся! — решительно проговорил Кармин.

Все добытое сунули под кровать и забросали тряпьем. Александр отправился домой, договсрившись, что до утра Юрий найдет надежное укрытие для оружия.

Токин вспомнил о небольшом подвальчике в сенях, в который мать часто ставила розы, приготовленные на продажу, и как он безрезультатно воевал с крысами, жадно, варварски обгрызавшими пахучие бутоны, пока не догадался втискивать в подвал бак с крышкой.

Юрий снес туда оружие и тремя гвоздями прочно прихватил малоприметную крышку. Ящик с гранатами он оставил в комнате. Заперев дверь на засов, чтобы врасплох не застал Морозов, вскрыл ящик. Гранаты новенькие, заводской упаковки, с промасленным листком инструкции, как вставлять детонаторы и как собирать противотанковые связки по пяти штук. Инструкция его заинтересовала. Он мысленно прикинул силу взрыва

и быстро, будто занимался этим всю жизнь, сделал связку. Взвесил на руке. И одновременно с этим родилось решение.

Взрыв раздался неожиданно. Тропу на краю малиника как перерубило. Юрий, бросивший связку метров с десяти, из-за обломка стены не видел, что произошло дальше. Не видел, как двое немцев, в том числе его «рыжий», растворились в пламени вспышки. Через мгновение после броска, так ему показалось, он уже держался за конец очередного рельса, старательно выковыривая его из-под кирпича. Дышать было трудно — рывок по щебню от стены до места его постоянной работы дался дорого. Он кашлял, стряхивал кирпичную пыль. Сердце предательски громко стучало.

Над заводом поплыл вой сирены, и солдаты ворвались в пустое, едва прикрытое крышей помещение цеха.

Их всех согнали на заводской двор и оставили мокнуть под начавшимся дождем. Люди стояли молча, не понимая причины столь неожиданного перерыва в работе. Мимо них пронесли носилки, крытые зеленым брезентом, и погрузили в военный грузовик. Комендант завода обер-лейтенант Краузе что-то возбужденно объяснял высокому поджарому офицеру с золотым пенсне.

— Господин Моль, я не верю, что это злой умысел. Саперы просто небрежно обыскали завод.

— Смотрите, Краузе, — раскачиваясь с носков на пятки, цедил сквозь зубы Моль. — Вам работать с этими свиньями. Фюрер не рекомендует их распускать. Вы знаете это не хуже меня. И за каждый волос, упавший с головы солдата великой армии рейха, мы будем снимать их нестриженные скальпы сотнями.

— О да, господин Моль, можете не сомневаться, если увижу хоть малейший признак саботажа, не то что диверсии, я прикажу расстрелять, вы меня знаете, не только подозреваемых, но и еще десяток лишних. Для верности, — рассмеялся он, — чтобы меньше кого подозревать в следующий раз!

— Что касается меня, я бы сейчас пристрелил пяток для острстки. Ну прощайте, Краузе, помните, что мы готовы прийти к вам на помощь в любую минуту...

Офицер в золотом пенсне сел в черный лимузин. Юрий, вслушиваясь в звуки чужой речи, не подозревал, что, может быть, именно сейчас решался вопрос его жизни.

Краузе отдал короткую команду, и солдаты закинули автоматы за плечи. Перед строем зеленых мундиров вырос как из-под земли невысокий старик, похожий на старомодного купчишку откуда-то из пьес Островского.

— Граждане! — сказал он и откашлялся.

По рядам прошел шумок. Стоявший рядом Архаров прошептал:

— Голова наш! Господин Черноморцев. Лично! До революции в Старом Гуже его отцу почти вся городская торговля принадлежала.

— Граждане! — повторил Черноморцев, будто не веря, что вся эта масса неприязненно смотрящих людей с одного раза поймет, что они и есть те граждане, к которым обращается он, бургомистр города. — На заводе произошел несчастный случай. От взрыва погибли два наших освободителя. Вечная им память! — Черноморцев перекрестился, закатив глаза к небу. — Господин Краузе, военный директор завода, глубочайше убежден, что все происшедшее действительно несчастный случай, а не злой умысел недруга. Но он хотел бы предупредить, что если заметит хоть какие-то признаки саботажа, то будет вынужден принять самые строгие меры. Он выражает также свое недовольство по поводу медленных темпов разборки развалин. Со своей стороны, я, как бургомистр города, хочу призвать вас, моих сограждан по новому вольному государству, к активности во всех сферах нашей городской жизни. Немецкие власти более чем кто-либо заинтересованы в нормализации жизни нашего древнерусского города. И потому не зазорными будут считаться ни шумные свадьбы, ни веселые русские вечеринки, ни любые проявления симпатии к новому порядку.

Юрий больше не слушал Черноморцева, он протолкался к Сашке:

— Слышишь? А насчет вечеринок это он здорово сказал. Надо первую как можно быстрее организовать.

— Веселья захотелось?

— Точно, — Юрий широко улыбнулся. — Соберем всех наших и обсудим что надо.

Сашка понимающе кивнул.

Юрка оглянулся, ища глазами среди расходившихся рабочих братьев Архаровых, но натолкнулся на колющий, осуждающий взгляд Архарова-старшего. И не понял почему.

Архаров подошел к Токину перед самым концом рабочего дня.

— Оторвись от трудов — все не переделаешь.

Юрий бросил лом с радостью и какой-то тревогой — осуждающий взгляд Бориса Фадеевича весь день не выходил из головы. Пока рассаживались на изогнутой дугой рельсине — любимом месте сиделок вдали от чужих глаз, — у Юрия все больше сосало под ложечкой — не представлял, о чем может пойти речь.

— Герой, значит? — вполголоса, словно говоря с самим собой, произнес Борис Фадеевич, скручивая козью ножку. — Видел, как ты гранаты метал, видел, как по кучам обратно драпал. Сожалею, что упредить тебя не успел — пришлось одного любопытного отвлекать. Как раз бы он тебя и засек!

Юрий посмотрел Борису Фадеевичу в глаза. Они светились добрым участием, и Токин напрочь отбросил сомнения.

— Что было, то было, — признался он. — И еще не раз будет! — Юрий сжал кулаки. К своему удивлению, в глазах Архарова он не уловил одобрения.

— Ты, парень, не суетись. Смелость, она всегда хороша. Но еще краше, когда умом подкреплена. Вот ухлопал ты двух фрицев. Доброе дело для нашей победы сделал. Но мало это для целого фашизма — пока ты, только ты, Юрий Токин, будешь время от времени убивать его солдат... К тому же долго это не протянется. До сих пор не пойму: то ли они действительно дураками сегодня были, то ли игру непонятную затеяли. А только твоя граната могла до массового расстрела довести. Полсестры бы наших ребят положили ни за что, ни про что. И героя могли бы прихватить...

— Тише.

Мимо них ленивой походкой прошел незнакомый долгозаяый малый, и Борис Фадеевич проводил его скрытым настороженным взглядом.

— Не из пугливых мы, Борис Фадеевич, — попытался было возразить Токин, но Архаров остановил его:

— Тут, Юрочка, в одиночку дела не справишь. Передавят по одному, как котят. Лют фриц и умен. Понимает, если под своей властью собрать всех нас, соединить не сможет, то вторую задачу непременно решать должен: разогнать каждого по своим закуткам, не давать вместе собраться. Знает нашу историю — коль соберутся русские мужики в кучу, то кулак огромной, зубодробильной силы получится.

— Надо, чтоб каждый убил по фрицу — вот и победа. Нас-то сколько?! — горячо возразил Токин.

— Не все такие смелые, как ты. Ты вот мать потерял, для тебя все острее. А кто-то еще проснуться не успел, боязно кому-то, на других надеется... — Борис Фадеевич придвинулся по рельсу и обнял Юрия за плечи. — Тут надо кулак собирать. Дело сделанное — за тобой честью и останется. Но большей чести будешь достоин, когда парней поднимешь, людей за собой поведешь. Ты ведь футбольный капитан, тебе и карты в руки. А мы, старые партийцы, поможем, мы, старики, на своем веку немало чего поорганизовывали.

— Так ведь и я так же думаю, Борис Фадеевич! Немца же убил так, от души это, невтерпех на рожу его смотреть поганую...

— А ты терпи. Ты одну мать потерял. А земля наша без скольких матерей, отцов, детей своих осталась?! Но терпит! — Он снова свел свои мохнатые брови в густые кусты и добавил: — Ох и лютой будет месть... Враз! За все!

— Борис Фадеевич, я тут уж прикинул. Хотим вечеринку собрать по совету дорогого бургомистра. Побеседуем. Есть ребята. И никто не хочет терпеть. Только с какого края взяться, мало кто знает. Вон приятель с немецкого склада оружие про запас таскает.

— Знаешь его?

— Знаю.

— Молодец парень! Соображение у него стратегическое. Таких десятков в кулак соберешь — силища!

Дружески ткнув Токина в спину, Борис Фадеевич глухо произнес, словно открывая самую заветную тайну:

— И парней моих к себе бери. Обоих. Они не подведут.

Токин не удержался и оглянулся. Архаров стоял среди кирпичных осыпей, будто поставлен там навечно, и никакие потрясения не в состоянии его сдвинуть, согнуть, пока стоит он на этой своей заводской земле.

## ОКТАБРЬ. 1945 ГОД

*Уважаемый Дмитрий Алексеевич!*

*До последнего момента оккупации немцами Старого Гужа я не имел никаких сведений об организации на территории города молодежного подполья. Комсомольская организация города последние дни была занята подготовкой отрядов народного ополчения, призванных защищать близкие подступы к Старому Гужу. В связи с внезапным прорывом немецкой дивизии в тыл и временным захватом города многие коммунисты, оставленные для подпольной работы в тылу, были схвачены и расстреляны. В последующем горкому так и не удалось создать сколько-нибудь действенного подполья, хотя наши люди были оставлены в городе. Это объясняется не только внешними обстоятельствами, но и ориентацией, полученной от обкома партии: коммунисты города готовились к длительной партизанской борьбе. Силы и оставшееся время были брошены на комплектование отряда, которым я и командовал все годы оккупации.*

*Ни с нашим городским партизанским отрядом, ни с центральной партизанской базой, насколько я знаю, тесных связей молодые подпольщики, если их можно так назвать, не имели.*

*Мы послали в город своего связного, но сделали это поздно, поскольку организация базового лагеря отняла слишком много времени. Удалось установить контакт со старым коммунистом, работником горкомхоза Бонифацем Карно. К сожалению, вскоре подпольщики были схвачены и расстреляны за вооруженную борьбу против нового порядка. Факт расстрела установлен. Но приписываемые подполью действия документально не подтверждены. Скажем, в первые же дни оккупации бы-*



ли взорваны три цеха завода Карла Либкнехта. Но это было делом рук коммунистов Пестова и Кармина, которые были фашистами повешены.

В апреле 1942 года немцы расстреляли 37 человек будто бы за участие в работе подпольной молодежной организации. В числе расстрелянных комсомольцы, известные в городе спортсмены Архаровы, Радов, Толмачев и другие. Оставшиеся в живых Токин и Сизов говорили об этих людях, как об участниках подпольной организации. По их рассказам, подпольщиков предали Черняева Рита, Злочевская Елизавета, которые ныне арестованы органами НКГБ.

Токина я лично знал до войны, но что он был руководителем организации, стало известно после освобождения Старого Гужа. Тогда же стало известно, что аресты начались в январе и что все участники были арестованы и многие расстреляны. А Токину какими-то путями удалось уйти из города и остаться в живых.

Никакого секретаря ГК ВЛКСМ по фамилии Морозов, будто стоявшего за спиной молодых подпольщиков и направлявшего их деятельность, за последнее время в Старом Гуже не было.

Секретарь ГК ВКП(б) Г. Борцаго».

## ОКТАБРЬ. 1941 ГОД

Организовать вечеринку было проще, чем казалось на первый взгляд. Черноморцев не только дал разрешение на сбор посетившему его Токину, но и не скрыл удовлетворения, что его речь на заводе так быстро нашла отклик у молодых.

Оповещение и того проще — принцип «сам знаешь, передай соседу» набил в дом Токина столько народу, что собирай людей с ищейками хоть год, и половины бы не раскопал в притихшем под развалинами городе.

Самогон принес Бонифаций, а приготовление еды взяли на себя девчонки — местная Рита Черняева, курносая, черноглазая, под стать своей фамилии, давно вертевшаяся вокруг футбольной команды «Локомотив» и по праву считавшаяся заводилой женской части болельщи-

ков, и ленинградка Катя Борисова, блондинка с глазами, круглыми, как серебряные рубли. Она возвращалась с учебной практики биолого-почвенного факультета или, как говорила, смеясь, «с лягушачьей охоты», но поезд дошел только до Хлябова. Дальше пошла пешком. Добраться удалось лишь до Старого Гужа, где Катя и застряла, совершенно не зная ничего ни о родителях, оставшихся в Ленинграде, ни о том, что же делать дальше.

Морозов, узнав о вечеринке, одобрил, но приглашение отклонил, сославшись на занятость и на то, что будет всех стеснять.

За стол усаживались долго и шумно. Несмотря на голодное время, стол был обилен нехитрой снедью: наварили картошки, рыбы, глушенной толлом, принесли огурцы. Недостаток ощущался лишь в стульях. Кухонные табуреты пошли на лавочные подставки — лавки сделали из пахнущих плесенью толстых досок, раздобытых в сарае.

Когда наконец расселись за столом, Юрий, опершись о Катину плечо, поднялся и призвал к тишине. Он смотрел с высоты своего роста на молодые, знакомые и незнакомые лица, расплывшиеся в махорочном дыму, и ощущал в себе волнуемую дрожь ответственности перед людьми, схожую с той, что непременно посещала его перед решающим матчем.

«Уж не в душу бы заглянуть — хоть чуточку представить себе, чем дышит человек! А ведь придется копаться в каждом! — И, вспомнив, как стояли под дулами автоматов заводской охраны, закончил свою мысль: — Не доведись ошибиться! Платить придется жизнью».

— Ну что, оратор, молчишь, скажи народу хоть словечко?! А то самогон в стаканах плесневеет! — крикнул с другого конца стола Бонифаций, как старый пехотинец, усевшийся среди молодых цыплят.

— Скажу, — начал Юрий. — Хотя, может быть, и не все, что хотелось. Так ведь вечеринка эта не последняя, да и жизнь не кончена. И главное, что мы все вместе, как ни пытались раскидать нас судьба. Хочу предложить тост именно за это главное, за то, что мы вместе. — Юрий переждал дружный гул всеобщего согласия. — Тем более что бургомистр, отец родной, господин

Черноморцев одобрил наше сегодняшнее веселье. Это его идея, чтобы веселилась молодежь! Так ответим делом на призыв нашего родного бургомистра.

За столом засмеялись. Весело задвигали кружками и стаканами. Изголодавшись по общению, сразу же разбились на шумные группы. Токин несколько раз порывался взять власть в руки, но его уже никто не слушал.

— Успокойся! — Катя положила ему на тарелку соленый огурец. — Им теперь хоть из пушки стреляй! Соскучились все друг по другу! Истосковались! Измолчались!

Кармин, сидевший справа от Юрия, кивнул:

— Точно. И это даже хорошо, что так шумим. Присмотреться друг к другу будет легче.

За столом посидели недолго. Выходя, Кармин шепнул Юрию:

— Смотри, о немцах и слова не сказано. Будто ничего не изменилось в нашем доме.

— Знаешь, — Юрий сжал его локоть, — мне тоже кажется: вот сегодня погуляем, завтра играть, а ноги как ватные...

Стол отодвинули к стенам. Юрий завел патефон, и начались танцы. В комнате Морозова уселись играть в домино и столь усердно стучали костяшками, что сквозь патефонный шум удары казались далекими, приглушенными расстоянием выстрелами.

Кармин раскрыл шахматную коробку и достал шашки. Его белые кудри задиристо взметнулись вверх, круглые фишки в его грубых рабочих пальцах замелькали с цыганской ловкостью.

— Ну, — зычно крикнул он, — кто надумал дом построить?! Подходи! Берусь «галыюнчики» возводить! Сиди — не хочу! Ни глаз чужой неймет, ни ветер не поддувает!

Первым с треском проиграл ему Юрий. Уступив место следующему, Юрий по случайности заглянул в кухню и застал Ритку Черняеву целующейся с Архаровым-левым.

— Смотрите не перегрейтесь, черти!

Рита счастливо хихикнула в ответ, а Архаров бросил:

— Иди, иди, завистник черный!

Улучив момент, Юрий вывел из горницы Сашку Тол-

мачева. Вратарь был грустен и, как показалось Юрию, отнесся к затее с вечеринкой весьма настороженно.

— Чего хмуришься? Или не нравится что?

— Не нравится. — Даже в потемках сеней Юрий ощутил недоброжелательный взгляд Толмачева. — Не вовремя веселиться задумали. Где-то батька кровью обливается, как собака, в болоте под пулями лежит, а сыночек его под руководством любимого капитана самогонкой да девками тешится.

— Устыдил! — с наигранным испугом согласился Юрий. — Ну а конкретные предложения есть?

— Какие конкретные? — махнул рукой Александр.

— Слушай, Толмач, у меня конкретные... Во-первых, почаще собираться на вечеринки. Слушай внимательно. Есть указания, — он ткнул пальцем почти в потолок, — сложа руки не сидеть.

— От господ бога указания, что ли? — насмешливо сказал Толмачев.

Вместо ответа Юрий спросил в упор:

— Ты почему в городе остался?

— Тут такое было, что на этот вопрос тебе многие не ответят. А если по подвалам шарить, всякого народа найдем...

Он доверительно наклонился к Юрию:

— У меня в укромном месте два парня спрятаны, лейтенанты, пленные. В пятнадцати километрах под Гвоздевкой лагерь. Там наших видимо-невидимо. Лейтенанты тревогу пересидят — ищут, наверно, их — и айда туда, за линию, фронт догонять. Думаю, с ними податься...

— Долго догонять придется...

— Не так долго, как ты предполагаешь. Идем. — Он потянул Юрия за рукав. Они вышли на крыльцо. Толмачев плотно прикрыл дверь.

Стояла слепая, задавленная тишиной осенняя ночь. Узкий серп умирающего месяца почти не светил. Поздний предморозный холод сразу взбодрил и как-то насторожил тело.

— Во... слушай! Не дыши — слушай! — Толмачев схватил за рукав Токина.

— Да что слушать-то? Собака паршивая и то не твякает... Всех, гады, перестреляли!

— Черт с ними, с собаками! Фронт слушай. Тихо,

тихо... Опять! Как бы на скрипочке играют... Замри и слушай...

Юрий весь сжался, напряг слух и действительно где-то на границе земной и небесной тьмы услышал легкое подрагивание воздуха. Это совсем не походило на звучание скрипки, но он не спорил. Он стоял, пораженный тем, что фронт так близко и что Бонифаций ошибся со своими расчетами.

— Надо откопать приемник, — глухо сказал Юрий. — Тогда хоть правду знать будем.

— Цел, думаешь?

— Я его в резиновом мешке за яблоней в песок зарыл. Что он там пролежал — пару месяцев! А теперь электричество есть, можно и попробовать! Слушай, Толмач. Мы будем создавать спортивный боевой отряд. Войдут только свои ребята. Еще не все продумано. Но уже есть оружие...

— Этого дерьма вокруг полно! Будто специально посеяли и ждут, что вырастет.

— Ненадолго это. Скоро поймут немцы, что убирать нужно. А пока поймут, мы должны насобирать столько, чтобы хватило к своим пробиться.

— У каждого в записке что-нибудь найдется...

— Тут не что-нибудь, а хороший арсенал нужен! — упрямо повторил Юрий, но потом, смягчившись, спросил: — Надо ли тебя спрашивать, что ты будешь в отряде?

— Можешь не спрашивать! — Толмачев откликнулся, как эхо. — Если к своим да еще с боем, об этом мечтать можно. Это тебе не красного петуха под крышу запускать да в кусты. — Толмачев насупился и, попыхтев, как паровоз, вдруг признался: — А ведь это я склады на Старой площади поджег...

Он сказал это так просто и таким тоном, что Токин при любых обстоятельствах ни за что не поверил бы, а тут лишь спросил:

— Не врешь?

— Чего врать-то?! Это я им за Пестова. Чтоб не думали, будто в одной петле всю правду задавили...

— Молодчина! — восхищенно воскликнул Юрий. — А знаешь, я тебя в ту ночь, кажется, видел, только не признал точно. Знакомое померещилось в фигуре, а кто — и не до отгадки было.

Они вернулись в дом. Гулянка шла своим чередом. И до полуночи, когда стали расходиться, Юрий успел переговорить еще с несколькими ребятами, в которых не сомневался.

Кармин остался ночевать у Токина. Они до утра прошептались, прикидывая, как лучше организовать, с каждым словом понимая, насколько все труднее и опаснее, чем казалось им в тот день, когда решились взяться за объединение знакомых парней в боевой отряд.

Толмачев, работавший у Морозова на электростанции, зашел за Токиным после работы. Они долго брели по улицам Мокрой слободки, в которую и до войны Юрий наведывался редко. Парни здесь были дружны до кастовости и, если бы не футбольная популярность, ни за что бы однажды не простили чужаку проводы красивой слободской девчонки.

Юрий напомнил Толмачеву об одной давней истории.

— Были ребята, да все вышли! Одни бабки по избам. Немцы даже обыски делать перестали — ничего, кроме рваных юбок, не найдешь!

Махнув через пару плетней, пробрались огородами к дому. Александр отпер дверь ключом, лежавшим под половиком у дверей, и они нырнули в сумеречные сени.

— Николай, — вполголоса позвал Александр и сверху, с потолка, глухо ответили:

— Кто с тобой?

— Свой, Токин. Я говорил тебе.

В потолке медленно открылась квадратная ниша, и опустилась легкая лестница. Когда Юрий поднялся по ней вверх, в лицо ударил свет чердачного окна, и он не сразу заметил возле беленой трубы лежку с тулупом и заросшего густой черной бородой человека. Сзади, откуда-то из-под стрехи, выплыло второе лицо. Познакомились. Только по голосам можно было признать, что перед ними сидят ребята не старше их, сверстники, которых война крутанула сильнее.

— Александр говорил, что вы были в лагере, где это?

— Тут, рукой подать. Под Гвоздевкой, — Николай

тряхнул головой, словно пытаясь освободиться от лагерных воспоминаний.

— Расскажи подробнее, что это такое.

— Что это такое сейчас, сказать не могу. Мы пробыли там неделю. Нас согнали на огромный луг, где до войны была летняя свиноферма. Большой вонючий пруд, от которого несло за сто верст, и легкие дырявые бараки. Да и не бараки вовсе, а так, закутки, чтоб свиньи не разбежались. Согнали народу видимо-невидимо...

— Тысяч пять было, — подал голос молчаливый спутник Николая.

— А то и больше, — охотно согласился Николай. — Наша колонна пришла, когда бараки были набиты битком, и новоприбывшие сидели и лежали прямо под дождем, пытаясь сохранить под собой хоть клочок сухой земли. На следующий день пригнали несколько грузовиков со столбами и тяжелыми мотками колючей проволоки... Два дня обносили себя оградой, на совесть заматывая колючей проволокой. Какая-то говорящая порусски сволочь объяснила, что есть дадут лишь после того, как лагерь начнет функционировать, а значит, высшим начальством будут приняты все работы по обеспечению безопасности. Но и на следующий день еды не дали. Только расстреляли троих, обвиненных в том, что недостаточно надежно произвели оплетку ворот. Хуже всего, не было воды. Пили из свинячьего болота. На запах уже не обращали внимания...

— Через это болото и бежали...

— Там болотина впадает в пруд и проволока лишь сверху пропущена. Решили не ждать, пока все благоустроят, — усмехнулся Николай. — Ночью по горло в дерьме и ушли. Никто не заметил. Там осталось немало парней, готовых на все. Им надо только помочь. Но кто знает, что происходит в лагере?

— Посмотреть бы, что там... — в раздумье произнес Токин. — Только вот эту речушку найти?

— Она одна. Вы к лагерю близко не суйтесь. И кругом, кругом — как раз на речонку напоретесь! А уж по ней подойдете...

— Поточнее бы знать, — протянул Юрий, но Александр уже загорелся.

Он спустился вниз и принес чистые с маслянистыми

боками «лимонки» и два ТТ. Один, поновее, признавая старшинство, отдал Юрию, другой молодцевато сунул за пазуху.

Николай неодобрительно покачал головой:

— Бессмысленный марафет против пулеметов. Да и в разведку идете — тут главное оружие тишина и скрытность.

Толмачев покраснел:

— На всякий случай! Вдруг напоремся.

— Лучше никаких «всяких», — упрямо повторил Николай, и Юрию такая опасливость не понравилась.

«За себя боится! Как бы чего плохого потом и для них не вышло. С таким настроением, лейтенантик, самый раз к фронту пробиваться».

Когда ночь плотно накрыла землю, Токин и Толмачев отправились в путь. Оврагами, по кочковатым тропам, вынырнули далеко за городом, у самой дороги на Гвоздевку. По дороге шагали открыто, но как только вдали вспыхивало зарево идущей колонны автомашин, прыгали через кювет, ложились в кусты и слушали гомон в кузовах, урчанье моторов.

От нечего делать считали машины и, дождавшись, когда тишина вновь опускалась на дорогу, шли дальше. Иногда переходили на легкий бег, будто разминались перед игрой на пустом утреннем стадионе.

Лагерь оказался к шоссе ближе, чем можно было предположить по рассказам Николая. Он лежал за леском и с дороги не был виден, но устойчивое желтое марево огня над ним служило безошибочным ориентиром. Жидкий лес пересекли без приключений, и сразу с опушки открылась панорама лагеря. Его размеры угадать в ночи было нелегко, но широкое каре тусклых фонарей показывало, что территория немаленькая.

Лагерь выглядел мертвым, но откуда-то с противоположного конца, скрытого склоном холма или невидимыми в потемках постройками, неслись голоса, вскрики команд, мерный топот многих ног.

— Надо зайти с той стороны, — прошептал Толмачев.

Они стояли, прижавшись к белым стволам берез, будто близнецы, росшие от одного корня.

— Там низина, значит, речушка непременно там.

Юрий толкнул его в спину, дескать, топай, и они по-



шли, спотыкаясь впотьмах о корневища деревьев, узлами торчащих из ровного ковра желтых листьев, шуршащих под ногами, и скоро наткнулись на речку. Даже ночью она производила впечатление широкого ручья с притопленным руслом.

Оба сразу же провалились по колено в мягкую жижу. Испуганно дернулись друг к другу. Вода обожгла ноги, разгоряченные неблизкой дорогой. Так, хлюпая, прошли по ручью метров сто, когда перед ними всеми огнями распахнулся лагерь.

Залегли на невысоком холмике и огляделись. Лагерь разметался в полгоризонта. В несколько рядов колючка вилась, по углам черными квадратами выделялись на фоне яркого света прожекторов невысокие, чуть поднимавшиеся над верхней кромкой проволоки вышки. Свиный пруд был окаймлен колючкой изнутри и как бы вынесен за пределы лагеря. А на берегу его тянулась бесконечная шеренга выстроенных людей. В центре возвышалась небольшая трибуна, оцепленная автоматчиками. Немецкие офицеры спокойно прогуливались за их спинами. Несколько солдат зачем-то вторглись в шеренги и после небольшой перебранки вытолкнули к трибуне десять пленных. Здесь, где посветлело, можно было без труда различить армейские тужурки и гимнастерки, сверху утепленные каким-то тряпьем.

Ни Юрий, ни Александр не заметили, как на трибуну поднялся человек, но отчетливо слышали визгливый, срывающийся на крик голос:

— ...Было объявлено, что за каждого убежавшего из лагеря отвечать будут все... На работах мы недосчитались одного человека... Срок возвращения — к следующей проверке — истек. Посему немецкое командование, исходя из необходимости поддержания уважения к порядку, с сегодняшнего дня будет наказывать каждое своеволие. За порядком должны следить вы сами. Каждый убежавший обрекает на смерть десять своих товарищей. Повторяю, немецкое командование отдает себе отчет в том, что эти люди не виновны, но не видит другой возможности образумить отдельных...

Рокот из колонн заглушил последние слова, но зато все происходившее затем было видно столь явственно, будто в зеленом кинотеатре городского парка на просмотре страшного, почти нереального фильма.

Жидкую горстку людей, подталкивая автоматам согнали к обрыву, выстроили лицом к пруду, и зат по-деловому, с пристуком, ударили автоматы. Люди и чали валиться, а над головами Юрия и Толмачева за ли уносящиеся к лесу лишние пули.

— Сволочи, что делают! — Толмачев завозился, тут только Юрий понял, что тот достает пистолет. Он и валился на Толмачева:

— Не смей! Слышишь?! Не смей!

Толмачев дернулся, затих, а потом начал судорожн и медленно трясти плечами.

— Перестань, Сашок. Тут ни плачем, ни пистолетом не поможешь. Здесь пулеметы и пулеметы нужны. Ух! — Юрий погрозил кулаком во тьму, ожидая, когда успокоится Толмачев.

К утру добрались домой. У Токина подсушились и вместе отправились на работу. Юрий — на свой завод, Толмачев — к Морозову, на электростанцию.

Целую неделю Юрий занимался организационными делами. Для него, никогда ничего не умевшего делать впрок, организационные хлопоты были нелегкими и непривычными. Но что-то изнутри подстегивало его каждый раз, как опускались руки или червь сомнения точил душу.

В обеденный перерыв, сидя у курительной ямы, он начертил на песке схему, которая ему приглянулась.

«В штаб собрать человек десять. Пятеро поддерживают оперативную связь с руководителями пятерок, а пятеро — только со мной, осуществляют общее руководство».

При обсуждении плана действий с Толмачевым выяснилось, что у очень старающегося для немцев Морозова далеко не все получается гладко. И причина неудач весьма конкретна: Александр рассказал, что он объединил нескольких ребят из аккумуляторного цеха и из пировой и потому всякая чертовщина стала случаться значительно чаще. Уже несколько раз подряд рвался трос золотника, и начальник станции нещадно матерился, пыгаясь найти виновника обрывов. Подшипники коренного вала перегреваются по причине более простой — добавишь немножко песочка, и все идет как по

маслу, то есть совсем не так, как должно идти «по маслу». Когда случайно сожгли ротор возбuditеля генератора номер два, немцы психовали, грозили репрессиями саботажникам, но пока никого не наказывали. А вчера взорвался вспомогательный котел, и, чем кончится исследование, сказать трудно.

От обилия информации, да еще сугубо технической, Юрий несколько растерялся, но хитрая мордочка Толмачева так сияла от гордости, что Юрий лишь сказал:

— Перерыв сделайте. Нельзя все сразу. Впредь без разрешения штаба организации никаких действий не предпринимать.

— Что же, все прекратить? — настороженно спросил Толмачев.

— Ты меня неправильно понял, — растерянно произнес Юрий, впервые поставленный перед неотвратимостью принятия самостоятельного решения. — Раз начали — делайте, только осторожнее. Будем считать, что ваши диверсии руководством одобрены.

На том и порешили.

Признание Толмачева приятно удивило Юрия, с одной стороны, а с другой — заставило вдруг подумать о серьезности ведения тихой и малой войны, даже, может быть, без выстрела. Он представил себе, как застревает в осенней хляби автоколонна с оружием, как дергаются в объезд не заводящиеся с плохими аккумуляторами трехосные грузовики и садятся по диски в рыхлую жижу.

«Пусть горит земля под ногами оккупантов». Но плохие аккумуляторы — бомбы замедленного действия. Когда они еще сработают! А вредить надо сейчас же, немедленно, повсеместно. Разбрасывать на дорогах доски с гвоздями. Если сеять гвозди погуще, не скоро доберутся до линии фронта свежие подкрепления. Надо продумать по нашему заводу такие же диверсии, как делает Толмачев на электростанции. Сделать так, чтобы до холодов немцы не пустили ремонтные мастерские».

Два дня Токин провозился, налаживая приемник. В резиновом мешке с ним ничего не случилось. Но Юра с ужасом вспомнил, что совсем не подумал о высокой мачте антенны, взметнувшейся над яблонями. Просто чудо, что на нее никто не обратил внимания. Ну, если раньше, когда приемник лежал в земле, всегда можно

было сказать при обыске, что приемник сдали в райсовет или его украли, то теперь, пользуясь приемником, надо сделать так, чтобы ни одна мышь даже не подозревала о его существовании.

Юрий тихонько снял мачту и ночью приладил антенну к трубе, будто громоотвод. На следующий день прибежал с работы пораньше. Толмачев уже ждал в саду. Но свет в дома в целях экономии давали только поздно вечером, и надо было ждать темноты.

В томительные минуты ожидания раздался требовательный стук в калитку. Едва успели припрятать приемник и вовремя открыть дверь. Но тревога оказалась ложной — пришел Глебка. Он ходил теперь открыто, поскольку устроился на работу слесарем при городской управе.

— Никак первач гнать собрались? Это фрицы поощряют!

— Садись, — Юрий подвинул к столу табурет, — сейчас захмелеешь.

Под молчаливым взглядом Глебки достали приемник и вновь присоединили к сети. Тускло засветилась лампочка под абажуром, и сейчас же внутри ящика что-то громко треснуло. Юрий испуганно потянулся к выключателю. Но Глебка удержал его. Медленно, будто сам побаиваясь своей смелости, начал разгораться зеленый глазок. На душе стало сразу весело. Под аккомпанементы нараставшего треска разрядов Юрий начал крутить рычажок. Эфир плотно забивала громкая, как бы несшаяся из-за стены, немецкая речь. Наконец Юрий споткнулся на русских словах:

«...нашими войсками после тяжелых многодневных боев оставлен...»

Сообщение московского диктора не радовало — судя по всему, наши войска продолжают отступать. Но в то же время Москва свободна, она живет. И от этого на душе становилось неизъяснимо сладко.

— Хоть и недоговаривают, а чувствуется: и по ту сторону фронта нелегко, — прерывая молчание, произнес Глеб.

— Неужели фриц до самой белокаменной дойдет?! Как думаешь, Глебка? Страшно!

— Сдохнет, не дойдет! — убежденно заявил Толмачев. — И у меня идея. Написать листовки, что сражает-

ся, мол, Красная Армия, что брешет этот шелудивый пес из местного радио!

— На чем писать собираешься?

— В типографии своих ребят завести нужно...

— Там Пестова еще долго помнить будут...

— Пестова помнить будут вечно! — горячо возразил Токин. — Пусть завтра же сотню казнят! И каждая предыдущая казнь последующей забиваться будет, но подвиг, мне кажется...

— О, пошел философствовать!

— Это не философствование. Это жизнь. Каждый следующий подвиг, накладываясь на предыдущий, делает первый еще ярче, еще дороже.

— Хочешь сказать, как спортивная удача, — подхватил Глеб, — плюсуясь друг к другу, удачи складываются в победу?!

— Пусть будет по-твоему, — согласно кивнул головой Юрий.

Пока говорили, Московское радио начало передавать веселые марши в исполнении духовых оркестров, и это так не вязалось с дурными вестями о сданных городах.

Молча укрыли приемник в тайничок на чердаке за трубою и разошлись.

Прощаясь, Глеб сказал:

— Вчера познакомился с интересным парнем — Владимиром Караваевым. Смелый. Почти лютый. Надо тебе с ним встретиться.

— А может, сначала присмотримся? Чей он?

— Пришлый.

— Пришлый пришлому рознь. Вон мой квартирант как для немцев старается! Будь на его месте немец, и то бы полегче, с пробуксовочкой, работал. А этот на задних лапах стоит...

— Все-таки советую с Караваевым познакомиться. Чувствуется, смельчак...

Вечером Токин заглянул в городскую управу. Глеб ждал его у входа, потягивая самокрутку. Рядом стоял парень, русоволосый, с длинной, почти поповской, гривой, с мясистым лицом, на фигуру ладный, хотя и сутуловатый.

Познакомились. Потом прошлись втроем по главной улице. Поговорили о том о сем. Токину Караваев понравился.

Тонкое, почти девичье лицо Казначеева светилось довольством, удивительным еще и потому, что Мишка ничего не хотел объяснять. Поднял Токина чуть свет из постели и потащил на главную улицу. Юрку злила напускная загадочность Казначеева, но он подчинялся скорее настроению, чем словам Мишки, что надо идти позарез, что такое пропускать нельзя.

— Стоп, — Мишка взял его за рукав.

Как только они повернули на Московскую, перед ними во всей красе взметнулось пятиэтажное, чудом уцелевшее здание городского банка, одно из самых нарядных стросний города. Богатая лепка, бесчисленные нимфы, плывущие по волнам из глазурованных плиток, цветные витражи. До революции в нем находилось купеческое собрание. И словно в знак уважения к красоте, и бомба и снаряд пощадили дом. В нем сейчас располагалась военная комендатура.

— Дом видишь?

— Ну, вижу.

— А болвана у парадного на часах видишь?

— Вижу...

— А флаг немецкий, тот, что на пол-улицы мотался, над его головой видишь?

Юрка даже присел от удивления. И впрямь — огромного флага, висевшего над подъездом, не было. Юрку всегда выводил из себя этот флаг: огромное красное поле, с белым, будто просверленным, кругом внутри, а чтобы дырка не развалила его окончательно, скрепили толстой черной свастикой. Больше всего возмущал цвет поля — красный, будто украденный с нашего флага. Как-то Юрка, проходя мимо комендатуры, взглянул вверх и увидел, что развернутый ветром флаг закрыл над головой все небо...

— А теперь сюда смотри, капитан! — торжествующе прошептал Казначеев.

Он сунул руку за пазуху и элегантно жестом, словно поправляя галстук на выходном костюме, достал из-за отворота рубахи кусок красного шелка. Только тут Токин сообразил, почему Мишка показался ему сегодня толще, чем обычно.

Он молча взял приятеля за локоть и решительно потянул прочь.

— Дурак! Мальчишка! Зачем флаг-то с собой тас-

кать?! При случайном обыске накроют, и повиснешь на балконе.

— Повиснем! — насмешливо поправил Казначеев. — Ведь ты со мной. Значит, соучастник!

Юрка внезапно рассмеялся.

— Чего ты? — удивленно спросил Казначеев.

— Представил себе, какая паника поднимется, когда фрицы флаг над головой у часового не обнаружат! — Токин кивнул в сторону дома.

— А я это давно уже себе представил! Хочу даже с работы удрать и на этот спектакль посмотреть.

— Брось. В облаве поймают — обидно будет. Лучше расскажи, как тебе это удалось?

— Вчера после обеда немцы меня и еще двух мужиков делать на крыше проводку к прожекторам заставили. У меня случайно провод упал вниз, на крыше такой резной цоколь, я на него лег, вниз гляжу, а провод ветром за флаг зацепило. Подергал, а древко в гнезде свободно ходит. Сначала я перепугался, думал, порву флаг, часовой из автомата и врежет. Кое-как отцепил. Потом мысль пришла, что спереть флаг таким же способом — раз плюнуть! Сделал петлю, сверху набросил и утащил на крышу. Мудрено только на крышу без немецкого ведома забраться. Но нашел способ... С соседней развалины, если по гребню стены аккуратно пролезть метров пять, как раз на крышу с задней стороны и вылезешь. Сегодня ночью я это и проделал. Да не рассчитал — больно ветреная ночь выпала — никак петлю на конец древка накинуть не мог. Минут сорок проканителился. На крыше ножом полотнище отмахал, а палку в трубу соседней развалины спустил. С палкой по гребню стены не пролезешь.

— С флагом-то что делать будем?

— Предлагаю устроить торжественную церемонию сожжения. Запалим костерок до неба и тряпочкой сверху накроем...

— Заманчиво, — протянул Юрий. — Да только опасно. Где ночью ты костер разложишь? В лес выбираться надо да обратно... Затея эта и половины наших усилий не стоит.

— Давай сегодня вечером у меня устроим... В русскую печь фрицеву тряпку кинем — полыхнет за милую душу! Ребят знакомых на это дело пригласить можно.

Они вернулись домой и спрятали высовывавшееся из рук шелковое полотнище на самое дно сундука. До выхода на работу оставалось полчаса. Быстро поев холодную картошку без соли, с двумя желтобокими солеными огурцами-переростками направились на завод.

В обеденный перерыв Токин не выдержал и пробежался к комендатуре. Нового флага на месте не было, но пропажу уже обнаружили. Четверо автоматчиков перегородили тротуар, а из здания то и дело выскакивали по двое, по трое офицеры и, задрав голову к небу, будто все искали исчезнувший флаг.

На противоположной стороне тротуара Токин заметил Мишку, привалившегося к стене и заложившего руки в карманы. Он с нескрываемым наслаждением глядел на эту суету. Юрка помахал ему рукой. Казначеев хмыкнул и вразвалочку, не спеша подошел. Они перемигнулись, и Мишка сказал:

— Так вечером увидимся, капитан.

После работы у Казначеева собрались вчетвером: хозяин, Юрий, Глебка и Толмачев. Других Токин решил в секрет не посвящать. К тому же сожжение выглядело пустой забавой, над которой приятели могли от души позлословить.

Печь гудела во всю мощь. Мишка снял с пода горшок с картошкой, исходившей белым паром, и этим же рогачом разбросал поровнее поленья в печи. Орудуюя у загнетки и накрывая на стол, он лишь изредка делал уточнения, пока Юрий в красках расписывал его ночноехождение. Слушали по-разному. Толмачев тихо улыбался чему-то своему. Глебка восторженно вскрикивал:

— Ну молодец! Ну ловкач!

Но предложение спалить проклятую тряпку парни восприняли серьезно. От этого настроения и вся процедура сожжения, родившаяся стихийно, приняла некий ритуальный смысл.

Когда флаг развернули, полотнище окровавило не только стол, накрыв деревянные миски и чугунок с картошкой, оно как бы запалило всю избу, сделавшуюся такой маленькой и такой тесной. Флаг аккуратно сложили раз в пять, и толстую стопку шуршащей материи Мишка торжественным и в то же время пренебрежительным жестом кинул на трещавшие поленья.



В печи полыхнуло, будто плеснули бензину при растопке, и по трубе, по беленым стенам русской печи пронесся гул. Через несколько минут от стопки материи не осталось и следа, лишь редкие черные лохмотья сажи плавали в потоке огня под самым кирпичным сводом.

— И делов-то, — спокойно сказал Казначеев. — Вот так бы главный их флаг, берлинский, в печь сунуть, чтобы и дыму от него не осталось...

Сели к столу и за картошкой обсудили возможности дальнейших краж.

В течение недели Мишка утащил еще два флага, причем третий был совсем не роскошным, а скромной, плохо сшитой тряпкой из грубой материи. Чувствовалось, делался флаг наспех, из подручных средств.

По городу пошел слухок, будто нечистая сила растворяет фрицевские флаги в темноте. У подъезда сторожевой пост был удвоен, а ночью вокруг здания комендатуры маршировал дополнительный патруль. После сожжения третьего флага Юрка запретил Казначееву повторять вылазку.

Мишка, пробираясь за третьим флагом по своему рискованному мосту, сбил кирпич, и часовой дал длинную очередь по развалине. Поднялась тревога. Патруль с фонарями обшарил все внизу, и Мишке пришлось почти два часа пролежать за трубой, затаив дыхание, пока немцы не успокоились. Флаг он все-таки стащил, но, когда возвращался назад, честно признался Токину: порядочно сдрейфил и чуть не сорвался вниз. К тому же главная цель была достигнута: весь город говорил о кражах, а дальнейшие похищения превращались в игру «кто кого», вполне реально грозившую Казначееву смертью...

## **МАРТ. 1958 ГОД**

Весь конец зимы я промотался по сибирским и уральским городам, освещая подготовку и прохождение зимней Спартакиады народов РСФСР. А когда в Челябинске открылись финальные состязания, то заниматься чем-то другим времени практически не было.

Я сидел на месте, хотя слово «сидел» меньше всего подходило в данном случае. Я носился с катка на скло-

ны слаломных трасс, с лыжни большого марафона на переполненные трибуны большого трамплина, а вечером, грызя конец ручки, с трудом склеивал из лоскутков впечатлений красочные полотна минувшего дня. Соревнования вмещали столько судеб и фактов, что описать их даже бегло казалось делом безнадежным.

А через день, получив вышедший номер, яростно ругался с редакцией по телефону перед очередной диктовкой. В переданном накануне материале, многое, как нарочно, было поставлено с ног на голову. Та внутренняя логика дня, которую я трепетно пытался сохранить в репортажах, летела к черту вместе с гениальными, как мне казалось, выражениями и оборотами. Чувствовалась тяжелая десница редактора. Встречая после такой публикации знакомых спортсменов, у которых когда-то брал интервью, я опускал глаза или отделивался шуткой...

Старый Гуж отошел на задний план. В перерывах между командировками я разослал несколько писем с просьбой очевидцев откликнуться и помочь своим рассказом восстановить хотя бы страничку из запутанной истории подполья.

Труднее всего оказалось найти Токина. После лагеря он будто растворился в просторах России. Суслик, который регулярно писал письма, отвечал уклончиво. Мне показалось, что он вообще не хочет, чтобы я встретился с Токиным.

И тогда я решил разыскать Дмитрия Алексеевича Нагибина, причастного к расследованию причин провала Старогужского подполья.

Документ, подписанный секретарем горкома партии Боршаго, который я увидел в архиве, назвал только фамилию следователя. Мне удалось лишь узнать, что Нагибин Дмитрий Алексеевич давно уехал из Старого Гужа. В те первые дни поисков я не проявлял достаточной настойчивости в его розыске, но теперь логика моего поиска уперлась в фамилию Нагибин, как в стену.

Запрос, сделанный от имени редакции, дал неожиданный результат. Отдел кадров сообщил, что вот уже пять лет, как Дмитрий Алексеевич Нагибин в системе органов государственной безопасности не работает. По предположительным данным, проживает где-то на территории Эстонской ССР.

Я решил махнуть в Таллин и попытаться разыскать Нагибина, но газетная работа не позволяет человеку распоряжаться собой. И вот я уже сижу в самолете, улетающем в обратную сторону — в Красноярск. Задача — рассказать о спортивной работе молодых тружеников лесоучастка, валящих вековые кедры и сосны, тот лес, который, пройдя долгий путь мытарств по бесконечным просторам Енисея, наконец доберется до Игарки, а там, уютно устроившись в трюмы судов, отправится дорогим грузом в заморские страны.

В краевом комитете спорта долго совещались, прежде чем рискнуть назвать адреса леспромхозов, в которых бы массовая физкультурная работа значилась на уровне.

Один из адресов отпадал, ибо в мартовские оттепели добираться туда — дело рискованное: можно неделю лететь и три не вылететь обратно. Саянские леспромхозы сейчас начисто отрезаны туманами. На Север... Ну, Север есть Север, там вообще загадывать нельзя.

И, слушая все эти одинаково убедительные рассуждения, я как-то удивительно реально ощутил масштабность края, размставшегося от Ледовитого океана — с его загадочным Таймыром до уходящей на горный юг не менее загадочной Хакасией.

После долгой дискуссии остановились на двух адресах, по которым я так и не поехал. Вечером, заглянув в мастерскую местного художника, я услышал адрес третий — некий Урван на таежной красавице Мане.

Седой хакас Иван Иванов, председатель местного отделения Союза художников, с непостижимым лукавством в узких раскосых глазах, прихлебывая водку, будто холодную водицу в знойный день, уговаривал:

— Не надо туда, не надо сюда... Надо на Ману, однако, ехать. Нет другой реки, чем Мана. Хариус есть, медведь есть, глухарь — как в Красноярске на вокзале: сесть некуда... Мой родина там, однако. Дом есть. Много русских есть...

Его речь, смуглое скуластое лицо никак не вязались в моем сознании с богемной обстановкой мастерской — пышными женскими торсами, бюстами мужественных, думающих свои гипсовые думы мореходов, лицами, национальную принадлежность которых определить было просто невозможно.

Хозяин мастерской — молодой стеснительный парень. Без конца появлялись какие-то люди, здоровавшиеся, говорившие несколько ничего не значащих слов, выпивавшие рюмку водки и исчезающие в метельной вечерней мгле за жидкой дверью мастерской.

— Плохо — водку не пьешь, — продолжал свою медленную речь Иван Иванов. — Водку не пьешь — зверя бить не можешь. А в наших местах без охоты жизни нет.

— Ничего, Иван Иванович, — не зная отчества, я почему-то решил сделать из него полного кавалера имени Иван, — бью и без водки.

Хакас улыбнулся. И я вдруг увидел за лукавинкой его глаз еще и ум, мудрость житейскую и доброту, граничащую с самоотречением.

— Васютка, — так он называл молодого хозяина мастерской, — завтра, однако, собирается в Урван. Если «газик» достанешь — большое удовольствие от дороги получишь. Спешить, однако, надо. Солнце теплое. Вода вверх льда пойдет. Только «газик», однако, и проедет.

— «Газик» будет, — пообещал я, то ли чтобы не обидеть так уговаривавшего старого хакаса, то ли подогретый сухим вином, от которого море кажется если не по колено, как от водки, то, во всяком случае, мелеет по пояс.

Вернувшись в номер, позвонил знакомому секретарю крайкома комсомола, и тот, чертыхаясь спросонья, согласился завтра к десяти утра подать свой «газик», который «ему нужен будет позарез, но он как-нибудь обойдется».

В десять машины, конечно, не было. После некоторых телефонных уточнений выехали в половине двенадцатого.

В городе стояла почти весенняя грязь. Снег просел, а по разъезжей части колеса несущихся машин разбрасывали веера воды. И я вспомнил старого хакаса, предсказывавшего тепло. Снег сверкал лишь на вершинах высоких сопок, пока голых и далеких от дороги. Потом сопки, будто солдаты в сторожевом оцеплении, сомкнулись вокруг дороги. Да и сама дорога преобразилась. Асфальт сменился снежным накатом, под которым нет-нет да и проглядывали вековые рытвины. Тогда «га-

зик» кидало вверх и поперек дороги, и водитель, опытный пожилой шофер, с нескрываемой радостью вырвавшийся из городской суеты в дальнюю оказию, начинал судорожно, по-мальчишески крутить баранку, и «газик», закончив очередной фантастический танец по снеговiku, вновь попадал в набитую колею и, визжа, полз с переката на перекат. Потом тягуны стали круче, и мы с Васюткой подбрасывали свои скромные человеческие силы в общий котел полусотни лошадиных сил газикового мотора, подталкивая буксующую машину.

Тайга, которую называют вековой в отличие от северной, мертвая и пышная, вставала прямо у колеса без единого признака жизни — ни человека, ни птицы, ни звериного следа.

Васютку не очень тревожили мелкие дорожные неувязки, будто он ждал чего-то худшего. Так оно и случилось. После брошенной с пустыми глазницами окон деревеньки мы почти вброд, по колеса в надледной воде, с трудом пересекли реку. Только теперь он вздохнул с облегчением:

— Пронесло! Если на Якимовскую горку заберемся — считайте, прибыли.

На Якимовскую горку забрались играючи — во второй половине дня ее склон уже не был под солнечным светом, озяб, и прореженный снеговой след смерзся мелкими колючими комками. «Газик», оглушающе шурша резиной, без заминки взлетел наверх. Правда, водитель для верности высадил нас внизу. Когда я, задыхаясь, вслед за легко идущим Васюткой поднялся на горку, тот стоял на краю скального обрыва между двух высоких кедров.

— Мана, — тихо сказал Васютка, не дожидаясь моего вопроса, что это за река, так вертляво, словно подмосковная Клязьма, юлит по безграничному простору тайги. — Это она отсюда такая малая, а внизу — река... — нараспев, как старый хакас, произнес Васютка. — Сколько езжу, всегда неохотно ухожу с этого места. Отсюда как бы вечность просматривается.

Присмотревшись, я смог прикинуть ширину белой глади речных изгибов в масштабе к кедром, показавшимся сразу новогодними пластмассовыми елочками.

— А вот и хозяин, — сказал Васютка, поведя одними глазами в сторону соседнего кедра,

Задрав голову, я ошалел: почти прямо над нами сидел глухарь. Тяжелый черный петух, вытянув шею, напряженно, неестественно, как плохо сделанное чучело, смотрел на нас мигающим глазом под кровавой скобой щегольской брови.

Я бил глухарей на току и с подъезда, но так, рядом, среди белого солнечного дня, мне никогда не доводилось видеть эту самую древнюю птицу Земли. Когда мы тихо двинулись к «газику», стараясь не спугнуть глухаря, он лишь несколько раз нервно переступил по корявому суку мохнатыми лапами и вновь замер.

Дорога завилыла мелко и усыпляюще, я и задремал. Очнулся от толчка — Васютка показывал вперед: — Приехали. Урван.

Деревня оказалась по-сибирски просторной — то ли жердевые, почти условные заборы, подчеркивали это ощущение широты, то ли неособятные огороды — от добротных грузных домов с резными наличниками до кургузых, у самой реки, будто игрушечных, бань, подобно грибам-боровикам, торчащим своими крышами из наметенных за зиму сугробов.

— Поезжай до конца улицы, а потом направо, к крайнему дому, — сказал Васютка шоферу и, нагнувшись ко мне, спросил:

— Возражать не будете, если остановимся у одной вдовы? Молодая одинокая женщина. Правда, сидела в лагере, но срок свой отбыла, — поспешно пояснил он, как бы опасаясь, что я могу не согласиться.

Хозяйки на месте не оказалось, но Васютка, как свой человек, нашарил под половицей ключ.

Дом изнутри оказался прибранным с тщательностью хирургической операционной. Все — и мебель, и дешевенькие ситцевые шторы, и полог, отделявший кухню от горницы, и сама горница с десятком вязанных из дешевой цветной нитки салфеточек — говорило о том, что здесь живет добрая хозяйка. В углу стоял несоразмерный помещению бюст женщины неопределенного возраста с многострадальным лицом.

Васютка покраснел, глядя, как я изучаю бюст, и я понял, что это его работа. И одна из самых ему дорогих.

— Твоя? — чтобы рассеять его смущение, спросил я.

— Моя... Хозяйка... Да вот и она, — Васютка засуетился, поглядывая в низкое окно. В конце улицы я увидел ходким шагом идущую женщину в ватнике.

— Вы уж, пожалуйста, с ней, того... поласковее... И коль что не так — сразу не обижайтесь.

Васютка начал поспешно выкладывать на стол привезенные припасы, и только тут я увидел, сколько всего сумел он набить в свой армейский «сидор».

— У нее в прошлом году муж утоп... — торопливо сообщил Васютка. — Два года только и прожили вместе. Считай, когда она из заключения вышла. Ранней весной за тайменем пошел, и плывун лодку кувыркнул вверх днищем. Вода у нас в Мане лютая — и по холоду, и по быстрине. Закрутило где-то, может, судорога. Самое страшное — не нашли его вообще. Только лодку да кое-какие вещи выловили... Горе у хозяйки...

Он не успел больше ничего сказать, дверь распахнулась, и в комнату, ласково улыбаясь, вошла женщина. И хотя можно было спорить о сходстве лиц живого и каменного — но внутренний мир этой женщины был передан с поразительной точностью и эффектом.

— Сижу, счета трехрублевые считаю, говорят, гости к тебе. Думаю, кто же так порадовал? — Она даже не сказала «здравствуйте», будто речь шла о каких-то других людях, а не мы были теми гостями, что заставили ее раньше времени отпроситься с работы.

Она подошла познакомиться. Васютка представил:

— Писатель из Москвы, — чем вогнал меня в краску.

— Журналист, — поправил я, но хозяйка лишь улыбнулась и сказала:

— Кондратьева Генриэтта.

Вычурное имя настолько контрастировало с простой обстановкой и ее нарядом, что я удивленно вскинул брови. Она заметила жест и добавила:

— Зовите просто Ритой.

Она была полна, седовата — подкрашивать волосы ей и в голову не приходило, — лицо почти без морщин, сильная мужская ладонь, привыкшая к труду, и главное — молодые и одновременно печальные глаза. Все это заставляло теряться в догадках о возрасте.

Несуетливо она убрала всю привезенную снедь, покрутилась у печки, спустилась в погреб, и вскоре на сто-

ле появились три огромные миски с солеными огурцами, разваренным картофелем и кедровыми, сладкими до медовости орехами. Остальное приложилось. Вчетвером сели за стол.

— Со свиданьем, — произнесла она первый тост очень мягко и женственно. — Угощайтесь. Все свое.

Голодные с дороги, мы набросились на еду и почти не говорили с хозяйкой, но зато заставили ее еще раз сбегать в погреб за хрустящими огурцами и подварить картошки.

— А грибы вечером подам. Уксуса дома нет. В лавку надо сходить, — пояснила она. Тихо встав, исчезла за цветным пологом на кухне и появилась оттуда, как добрая фея, держа в руках алюминиевую миску с зелеными помидорами и мочеными яблоками.

После еды шофер лег спать. Понимая, что Васютку и хозяйку, наверное, следует оставить одних, я решил пройти, пока еще не поздно, в контору лесопункта, благо она напротив.

Я просидел у начальника конторы что-то около часа, записав по-сибирски неторопливый, обстоятельный рассказ одноглазого, очень худого, будто многие годы страдающего желудком, старика. Афанасий Павлович, ничего не скрывая, посвятил меня в таинства лесохозяйственного промысла, засыпал цифрами, а на вопрос о спортивной работе только усмехнулся.

— Одни бабы в деревне! Какой тут спорт? Футбол, если мальчишки летом погоняют, вот и весь спорт. Да рыбалка. Мужиков мало. После войны усталые да пораненные за зиму на делянках так намаются, что к летнему сплаву на ногах едва держатся. Не до баловства...

Дверь в контору с треском распахнулась, и я увидел на пороге мужика в тулупе. Прямо с порога, не обращая на меня внимания, он закричал фальцетом с резкими провалами почти до баритонального тембра:

— А, лентяи, так вашу перетак! Совсем ружья забросили! Совсем зверя бить перестали! У тебя, старый черт, следующую зиму медвежица под письменным столом берлогу наладит! В версте отсюда лежит себе брюхата! А летом, когда бабы по ягоды пойдут, одну-другую задерет, с кем зимой спать будете, лежебоки!

Он кричал и кричал, а потом вдруг вытряхнулся из



тулупа, и мне показалось, что тулуп остался стоять у дверей, а маленький коренастый старичок, похожий на предводителя гномов, выскочил прямо из пола.

— Стоит ли так расстраиваться? — вступился я, видя, что все попытки заведующего лесопунктом перебить деда или хоть как-то показать, что неудобно так кричать при госте, не приводили к успеху.

Дед взглянул на меня косо и хмыкнул.

— Если всего за версту берлога, пойдем завтра и возьмем мишку, — продолжал я, ободренный его вниманием.

— С тобой, что ли? — переспросил дед. — А не задрейфишь, горожавый?

— Угомонись, Яким, гость ведь, уважать надо!

— А гостя у нас не соплями уважают, а приветом. Ты-то уважающий, чего пузырька не поставил? А? Аль контора прогорела?

— Деловой у нас разговор, Яким, деловой...

— Ах деловой! Ну, тогда я пошел. Дело Яким не ведает. Когда дело горит, тогда Яким бежит!

Он уже нырнул в тулуп, но я ухватился за рукав.

— Дед Яким, а с мышкой-то как?

— Вот у приветника две кобылы наутро проси, пойдем и притащим, — словно речь шла о колоде кедрача, буркнул Яким.

— Будут лошади, будут, — поспешно подтвердил заведующий, и я понял, что делать мне в конторе больше нечего, а упускать такого колоритного деда — просто грех. Я увязался за дедом, и мне показалось, что и сам заведующий при этом облегченно вздохнул.

— Дед Яким, может, зайдём? — Я показал на черневший в полудогоревшей заре дом Генриэтты.

— У хлопотуньи остановился? Ишь кот, знаешь, где масло лежит! Аль навел кто?

— Со скульптором я...

— Васюткой, что ли? Тоже мне мужичок! После Кондратия ему в избе и печь топить доверять нельзя, не то чтобы бабу греть.

Несмотря на ворчанье, дед направился прямо к дому. Нас ждали. Стол был заново накрыт.

Дед сел к столу только для проформы. Свою стопку водки выпил, как квас, не закусывая. От еды напрочь отказался и сидел, кося глазом на пустую рюмку: принять еще или не стоит?

Васютка охотно налил, а я подумал, прощай завтрашняя охота: дед и про бабушку свою забудет. Но Яким вдруг отодвинул посуду и встал.

— Будет, — решительно сказал он себе. — Завтра мишку брать пойдем, коль не передумал. — Он вопросительно посмотрел на меня и, увидев, как я решительно закивал головой: рот был набит грибом, заключил: — Готовку сегодня провести надо. Оружия, поди, нет?

— Нет, — ответил я. — Но пулевые патроны всегда с собой вожу.

Полез в рюкзак, достал десяток немецких патронов шестнадцатого калибра и только хотел пояснить деду, в чем их прелесть, как тот, вздохнув, сказал:

— И ладно. А плевательницу шестнадцатого калибра я тебе завтра принесу. Одежка-то есть?!

— Мужнину возьмет, — подала голос из-за стола хозяйка. Она не стала удерживать деда, но по тому, как уважительно пошла проводить до двери, я понял, что Яким — желанный гость и в этом доме.

Вернувшись к столу, она облокотилась на скатерть и сказала, наверно, больше для меня:

— Яким раз мужа из-под льда выволок. Жизнь спас. Когда я еще в лагере сидела...

Мне бы промолчать, но журналистская привычка взяла верх:

— За что сидели, если не секрет? — спросил я, и за столом сразу воцарилось напряженное молчание. Васютка всем своим видом показывал, что не одобряет моей любознательности.

— Какой же секрет... — спокойно, будто речь шла о поездке в лес по дрова, сказала хозяйка. И только едва заметная бледность прошла по ее пылавшим щекам от вина. — По статье «пятьдесят восемь один «а». — Как юрист, отчеканила она и добавила: — За измену Родине.

— Где же это было?

— Да вы и не слыхивали небось. Город есть такой в России, Старый Гуж называется.

Едва она произнесла последние слова, я понял, кто передо мной сидит, словно воочию увидел кривые строки показаний Генриэтты Черняевой.

Черняевой в год допроса исполнилось девятнадцать лет. Значит, сидящей передо мной женщине всего тридцать с небольшим...

Что-то в моем взгляде показалось ей настораживающим, она подозрительно скосила глаза.

— Осуждены были за предательство подпольной организации, которой руководил Токин? — жестко спросил я.

В глазах Риты лишь на мгновение мелькнул не то страх, не то удивление, но она так же тихо сказала:

— Да...

Я сидел, потрясенный ее самообладанием. Если бы мне за столько верст от Старого Гужа незнакомец начал рассказывать, что и как, я бы... Нет, я бы просто не поверил в такую возможность.

Генриэтта сидела спокойно, помешивая ложкой в тарелке. А Васютка смотрел на меня как на убийцу, и скажи Генриэтта «возьми», он бы бульдожьей хваткой вцепился мне в горло.

Но хозяйка молчала. И потому заговорил я:

— Наказана за предательство, которого не было, поэтому и реабилитировали. — Я замахал руками. — Не было ни предательства, ни организации...

Ей бы спросить, почему я так думаю, но она сказала другое:

— А вы к этому какое касательство имеете? — И в голосе ее я впервые не почувствовал врожденной мягкой доброты.

«Идиот! — подумал я. — Надо человеку немедленно объяснить, откуда я все это знаю. Да и не все! Скорее она знает больше. И не в этом сейчас дело...».

Я с трудом взял себя в руки.

— Рита, ваша фамилия Черняева. Я многое знаю и о вас, и о ребятах, с которыми вы сражались в подполье. Потому что пытаюсь собрать материал для книги о вашем мужестве.

Нет, я поразительно дурею под спокойным взглядом этой женщины. О каком мужестве говорю, когда передо мной сидит если не предательница организации, то, во всяком случае, человек, давший подписку, что будет работать на немцев... Разве этого мало, чтобы называться предателем?!

— Моего мужества там было немного. Скорее больше глупости. Ведь было-то всего семнадцать лет. Это сейчас понимаешь, что было тогда уже целых семнадцать лет!

Я начал поспешно рассказывать, что узнал из протоколов, из разговоров с Сусликом, то бишь Сизовым. Лишь

изредка вставлял: «Если вам это неприятно, я...» Но она останавливала меня кивком головы, и по тому, как горели ее глаза, когда она изредка поправляла мою неточность, я видел, как важно ей то, что я рассказываю. Я был для нее человеком из того прошлого, которое ей хотелось забыть, но забыть которое ей не удавалось никогда.

Шофер давно ушел спать. А Васютка сидел не двигаясь и пытался понять, о чем могут вот так заинтересованно говорить два совершенно до того незнакомых человека. Но своим, явно равнодушным к Рите сердцем понимал, что между нами установилась опасная для него внутренняя связь людей, объединенных, может быть, чем-то более важным, чем любовь. И это его угнетало.

Я же просто забыл о Васютке, да и о самой Рите. Я жил ее рассказом о том, что происходило в предосенние дни сорок первого года, что было потом, — этапы, лагерь... Как приводили их на работу в этот леспромхоз, и как встретила здесь Кондратьева, человека вольного, и как, отсидев свой срок, поселилась в пятидесяти верстах, не смея покинуть край, где родилась новая любовь, и не смея явиться к любимому с тем страшным прошлым, выраженным одной фразой «за измену Родине»... И как Кондратьев сам нашел ее через полгода, обшарив половину Красноярского края, и как привел в дом, и как сладко, но быстротечно было счастье. И какое нелепое горе навалилось со смертью мужа, будто ей мало выпало невзгод в короткую, поломанную жизнь.

Я спросил Риту:

— А почему Токин признал свою вину? Я видел протокол допроса, подписанный им, где он говорит, что виноват...

Рита помолчала...

— Все мы виноваты. Если бы можно было пережить снова случившееся в те дни! Но не припишешь страничку — унесло ветром бумажку! Когда Токина не оказалось среди арестованных, всякие слухи пошли. Да и руководители наши, Юру не послушавшиеся, себя и нас под угрозу расстрела поставили, но признаваться в своей ошибке не спешили. Потом эти постоянные допросы в гестапо с избиением, когда кажется, что ты уходишь из камеры в последний раз, следом за Толма-

чевым... Многие тогда так и не поняли, что произошло. Только, когда вернулись наши и стали разбираться, что-то прояснилось... Хотя многое все равно запутанным в Лету кануло. А виноват он, как и я, в том, что не оказался в числе polegших на Коломенском кладбище.

Я запротестовал:

— Ну это, Рита, вы зря...

Она меня как бы не слышала и закончила мысль:

— Когда уходят из жизни близкие тебе люди, ты, остающийся, коль совесть твоя еще не совсем заизвестковалась, не можешь жить без вопроса: «А почему я еще на земле?»

Я хотел было попытаться оспорить ее мысль, но понял, что она имеет в виду не только историю подполья в Старогужье, но и еще недавнюю такую нелепую трагедию с мужем.

Мы проговорили до утра.

Я едва прилег, или мне это показалось, когда голос Якима поднял на ноги весь дом:

— Тебе бы, горе-охотничек, вместе с медвежицей под снегом спать! Так ведь и жизнь продрыхнуть можно!

Я увидел сквозь подернутое ночным морозцем окно лошадей у жердевого забора. Ружье стояло рядом с лавкой. Я поднял его к плечу. Старая тульская курковка довоенного выпуска с расхлябанным ложем была привычна. Заглянув в стволы, убедился, что она и чистилась в последний раз там же, на тульском заводе.

Отказавшись от завтрака, мы отправились в путь и через три часа вернулись в деревню с двухсоткилограммовой медведицей, которую в упряжь тащили по снегу обе наши лошади, а мы с дедом Якимом шагали по уплотненной медвежьей тушей тропе...

## НОЯБРЬ. 1941 ГОД

Перед самыми Ноябрьскими праздниками морозы отдали землю дождям, и они в два дня развезли ее так, что ни по дорогам, ни по городским улицам стало ни проехать, ни пройти. К утру же ночные холода покрывали дороги, поля и проселки хотя и не толстым, но прочным панцирем смерзшейся земли, которая едва отходила к полудню.

Через руководителей пятерок Токин отдал распоряжение в канун праздника засеять «ежами» не менее десятка километров дорог. В одну из таких операций и отправился Глеб, получивший из управы лошадь и официальное задание в соседней деревне произвести ремонт водоразборной колонки, обслуживавшей офицерскую столовую. Прежде чем выехать из города, Глеб направился на электростанцию за «товаром». Там его встретил Николай Колыхалов.

— Много заготовили?

Николай, не отвечая, повел узким коридорчиком, пробитым сквозь завалы кирпича, до некрашеного электрощита со страшным знаком из черепа и костей.

— А не того?..

— Не бойся, водопроводчик! Здесь током уже с самого прихода фашистов не пахнет. Даже господин Морозов порядка навести не может. Ни мощностей нет, ни материалов.

Они пролезли бочком в щель за щитом и оказались в небольшой полутемной комнате с отличным верстаком, сделанным каким-то мастером для себя. Связанными в высокие стопки стояли вдоль стены пирамиды «ежей».

— Сколько поднимешь?

— Давай побольше. Невесть когда еще такая оказия выпадет. По немецкому заданию на офицерской кобыле фрицам «ежа» запустить! — засмеялся Глеб.

— Не жадничай. Работа не из легких. Тут парни наши пробовали ставить, без рук вернулись. Ногти высевали на дорогах вместе с «ежами».

Николай развел своими пудовыми кулачищами, словно показывая, как сеяли ногти. От этого движения серая тужурка на груди жалобно затрещала.

«Ну и здоров, бычище!» — подумал Глеб, глядя на могучую, по-летнему оголенную шею Колыхалова, на его косую челку до глаз, которую он редкими разворотами головы стряхивал со лба.

Глеб и сам не раз ловил себя на мысли, что здорово изменился. Не то чтобы постарел — о какой старости может идти речь в восемнадцать лет, — но, кажется, прожил за эти месяцы, прошедшие с того последнего футбольного матча, долгие и нелегкие годы.

То ли постоянное чувство шагающей рядом опасности, то ли так резко изменившийся уклад быта и мыс-

лей... Вся короткая Глебкина жизнь, лежавшая там, за воскресным матчем, виделась сегодня чем-то далеким, радостным, почти воздушным. Хотя были в той жизни свои невзгоды и свои огорчения.

Оглядываясь вокруг, Глеб замечал подобные перемены не только в себе. Взять того же бесшабашного баловня спортивной славы Юрку Токина, старого, закадычного друга, о котором будто знал все — не только, что было, но и что еще случится. Он вдруг открылся совсем иной стороной: мужской зрелостью, какой-то кошачьей осмотрительностью и настороженностью. Большая все-народная беда не только сплотила их, она сделала каждого куда более значимым в собственных глазах.

«Вот только эти шуры-муры Токина с ленинградкой... Нашел время и место! Что ему, Юрке, местных девчонок мало?! Ритка Черняева — уж какая краля! А он с заезжей... Тоже мне Ромео и Джульетта!»

Они погрузили в телегу пять больших связок «ежей», и Глеб тронулся в путь. Из города выезжал медленно. Дважды останавливали патрули — в самом городе на выезде и на мосту.

Часовой у моста повертел в руках справку из горуправы, ствол автомата поворошил сено в телеге, равнодушным взглядом окинул связки деревянных досок с гвоздями и разрешающе махнул рукой. Еще долго Глеб чувствовал на спине взгляд часового. Сердце билось часто, хотя он и был уверен, что все обойдется, придраться-то не к чему. Он ехал медленно, скорее испытывая себя, чем успокаивая немца. За двумя крутыми поворотами остановился, обошел телегу, пару раз пнул ногой по оглоблям.

Кругом не было ни души. Дорогу перехватывала низинка, залитая неглубокой, но основательно перемешанной при буксировке жижей. Обломки досок — шофера подкладывали их под колеса, вытягивая тяжелые грузовики, — торчали из грязи.

Глеб развязал первую пачку. Доска была дюймовая с трехдюймовыми гвоздями.

«На любое колесо гвоздика хватит! Молодцы ребята, на совесть колотили!»

Он легко утопил в жиже доски, чтобы они в шахматном порядке перерезали шоссе, и тихонько тронул лошадь дальше. Вымазав сапоги в грязи, пошел рядом по

высокой, еще плохо оттаявшей бровке, укрывая от ровного студеного ветра покрасневшие руки под полами ватника. Он «заложил» уже четыре ямы и остановился возле пятой, когда внезапно увидел — рукой подать — одинокую машину.

«Вот и попался! Увидят, что под колесо попало, найдут такие же доски у меня, и... далеко не уйдешь!»

Глеб вскочил в телегу и начал неистово хлестать тяжелую на ход кобылу, которая трясла мощными боками, но почти не прибавляла скорости.

Машина оказалась бронетранспортером на гусеничном ходу. Она проскочила мимо на высокой скорости, обдав и Глеба и кобылу веером жидкой грязи. Глебка утерся, а когда поднял голову, с сожалением посмотрел вслед бронетранспортеру.

«А, черт! Ведь он на гусеницах! Гвозди позагибает, и умерли мои «ежи». Надо же было дьяволу попасться именно сегодня!»

Глеб еще более энергично начал «высевать» оставшиеся «ежи». Их хватило почти до леса, когда, наконец, он додумался, что правильнее не частить, а бросать пореже. Если пойдет колонна, то, в конце концов, могут понять, что проколы не случайность, и начнут искать злоумышленника.

«Ничего, долго искать придется! Нас вон сколько, а гвоздей и досок в Старом Гуже хватит!»

Дважды до крови Глеб срывал ногти и вспоминал слова Николая. Руки оковенели, и ногти были уже не розовыми, а синими, как у человека, страдающего пороком сердца.

Возле относительно чистой лужи он вымыл обувь щедро, не аккуратничая, — вода и без того хлюпала в обоих сапогах, обмыл руки, а грязь с ватника, наоборот, счищать не стал, чтобы было видно, как окатил его встречный транспорт.

С колонкой Глеб провозился до вечера и возвращался в город уже сумерками. Лошадь вел по глиняной обочине — жалко, если гвоздь вопьется в ногу! Хотя кобыла и фашистская, а животное ничем не виновата...

Дорога выглядела безнадежно пустынной. Но у самого моста через Гуж в первой луже, где он высеял несколько «ежей», сидел тяжело груженный грузовик. Вокруг стоял гомон — три немца, то ли убеждая друг



друга, то ли греясь, кричали, отчаянно жестикулируя руками. Оба сдвоенных баллона уныло сморщились, и тяжелая машина угрожающе накренилась. Груз под брезентом навис над бортом. Глеб не смог отказать себе в удовольствии придержать бег кобылы. Вблизи рассмотрел, что оба немца — шофер и солдат сопровождения — были по уши в грязи, мокрые и злые. Третий, фельдфебель, увидев Глеба, бросился к нему наперерез, выхватил поводья и что-то сказал солдатам. Глеб понял, что фельдфебель отбирает кобылу. Он начал совать немцу в нос бумажку из горуправы. Прочитав текст, фельдфебель закивал головой, но поводьев не отдал. Долго и мучительно, надрывая губы кобыле, осаживал назад непослушную телегу. Наконец, лошадь привязали к переднему бамперу и, включив мотор грузовика, принялись дергать машину из лужи. Со второй попытки тяжелый тупорылый грузовик выполз на сухое место, и тут Глеб смог насладиться результатом своей работы во всей красе. Правое заднее колесо стояло на ободьях, и резина, как подошва прохудившихся туфель, торчала нелепо и пугающе.

Фельдфебель отдал вожжи Глебу, и немцы, лопоча, склонились над колесами, ощупывая покрышки. Когда телега уже поднималась по насыпи к мосту, Глеб, оглянувшись, увидел, что грузовик ползет по дороге со скоростью пешехода, смешно припадая на один бок.

«Хороши баллончики будут, когда до города доберутся! Так, пожалуй, и от дисков ничего не останется. А сейчас кочки пойдут покрупнее. Глядишь, на счастье, и полуось полетит. Давай, фриц, давай, скоро все дороги «ежами» покроем».

Он принялся лихо погонять кобылу и нагло, не останавливаясь, прокатил мимо часового. Тот даже не окликнул его, лишь проводив сочувственным взглядом, — видно, видел, как Глеб помогал вытаскивать из грязи грузовик.

Знакомство с Караваевым продолжилось вдруг самым неожиданным образом — он заявился к Токину вместе с Риткой Черняевой. Из локомотивских ребят не всякий отваживался приударить за Риткой, острой на язык и взбалмошной до хулиганства. А этот...

— Володька! Дверь закрывай плотнее, чтобы фрицы не пролезли! — уже из комнаты прокричала Рита шедшему следом Караваеву.

Токин поморщился.

— Чего глупости говоришь, да еще так громко? Смелости много, а ума мало!

— Плевать мне на фрицев! Что думаю, то и говорю! Тут слух пошел, будто молодежь в Германию приглашают, так плевать я хотела на их приглашение! Подумаешь! Мне и здесь от ухажеров отбоя нет!

Она вдруг игриво наклонилась к Юрию.

— А эта, ленинградская, она по тебе сохнет. Ой, Юрка, сохнет, чует мое сердце!

Рита подбоченилась и выглядела сейчас гораздо старше своих семнадцати лет: плотно сбитое тело, высокая грудь, по-женски округлые бедра.

— Токин, слушай! У Володьки есть предложение.

Они сели на диван. Караваев начал без обиняков.

— Праздники приближаются, а жить чудовишно скучно! Мы с очаровательной Ритой прикинули: не собраться ли хорошей компанией? Власти такие сборы поддерживают. А что по случаю годовщины революции собрались, им говорить совершенно необязательно. Воскресенье и есть воскресенье!

Токин покосился на Черняеву, пытаясь по выражению лица определить: сболтнула ли она о прошлой вечеринке или караваевское предложение родилось случайно? Лицо Риты было непроницаемым.

«Вот плутовка! Глупа, а когда захочет — сам черт к ней в душу не заглянет!»

— Один живешь? — как бы между прочим, спросил Караваев, поглаживая на затылке копну шелковистых пшеничных волос.

— Морозов квартирует. Начальник электростанции.

— А, — не скрывая неприязни, произнес Караваев, — не из лучших соседей!

— Наоборот, не жалуюсь. Дома бывает редко, иногда жратвой поделится. Сейчас не угадаешь, кто плох, а кто хорош!

— Кто с фрицами — тот и плох! — неожиданно резко возразил Караваев. — В наши дни все стало куда проще. До войны вроде одинаковые люди были. А теперь натуры развернулись! Один Черноморцев чего стоит!

— Сам откуда родом? — спросил Юрий, уходя от разговора.

— Из аистова гнезда, — насмешливо ответил Караваев.

— А все-таки? — настойчиво повторил Токин.

В день знакомства с Караваевым ему показалось, что тот очень и очень неохотно рассказывал о своем прошлом.

Видно, и Караваев усмотрел не праздность в настойчивости Токина.

— А я почти серьезно. Родителей своих не помню — воспитывался в детских домах. По-всякому было...

— Война где застала?

— Как перекасти-поле — в дороге. Задолго до войны дал деру из детского дома в Смоленске. Покочевал... Хотел вот посмотреть, что за новые республики в Прибалтике. Да и полпути не сделал...

Караваев говорил легко, но Токина не оставляло ощущение, что он рассказывает о прошлом без особого желания. Юрию стало жалко парня, и он решил больше к вопросу о прошлом Караваева не возвращаться.

— Компанию надо собрать веселую. Я мало кого здесь знаю. Хотелось, чтобы свои были парни, верные. И девчонки под стать. Впрочем, это Рита обеспечит... — вернулся к разговору Караваев.

— Договорились! Теперь за дело, — засуетилась Рита, сидевшая все время тихо, не двигаясь, как сурок у норки.

Прощаясь, Караваев перечислил, что сможет достать из продуктов:

— За мной постное масло, мешок картошки. Шмат сала уже есть. Что касается первача, то этим добром Старый Гуж, как река весной, по самые берега полон!

Караваевская хозяйственность понравилась Токину. Он с удовольствием представил, как соберутся ребята, — в этой мрачной жизни просвет немалый.

Проводив гостей, Юрий задержался во дворе — ночной студеный воздух пронизывают мухи первого редкого снега. Токин поймал ртом снежинку, но не ощутил ни влаги, ни холода. Снежинка будто испарилась, превратившись в глоток дыхания.

«С такой бы легкостью да через поля, через леса! А там, за линией фронта, выпасть снежком — вот, мол,

я, здрасьте! Интересно, футбольный чемпионат в этом году закончился? Может, доиграли где-нибудь на востоке. Впрочем, до футбола ли...»

Он вернулся в дом и только принялся за книгу, как за окном ударил яркий автомобильный свет и мотор закудахтал у самого крыльца. Юрий бухнулся на кровать и притворился спящим. Он слышал, как хлопали дверцы машины. Потом раздалась немецкая речь. Но вместо стука, которого он ждал с замиранием, щелкнул выключатель. Свет залил большую комнату, и на пороге ее сквозь ресницы Юрий увидел немецкого офицера в щегольской шинели и выглядывавшего из-за его плеча Морозова в не менее щегольском полушубке.

— Здорово, Юрий, — сказал Морозов и пропустил в комнату третьего спутника: раскрашенную девицу с брезгливо оттопыренной нижней губой. — Принимай дорогих гостей.

Морозов что-то бегло сказал по-немецки. Странно, но Юрия это открытие не удивило. Офицер в ответ на слова Морозова закивал головой, продолжая пристально рассматривать Токина. Морозов представил по-русски:

— Мой хозяин, у которого квартирую. Прошу любить и жаловать. Работает на заводе «Ост-3». При большевиках был знаменитейшим в городе футболистом. — Повернувшись в сторону гостей, Морозов продолжил: — Комендант города майор Шварцвальд. А это Эльвира.

Юрий встал у кровати.

Морозов снова заговорил по-немецки с майором, а Эльвира, скептически оглядев Токина, вдруг сказала густым грудным голосом:

— Рано же спать ложатся знаменитости!

— Устал, много работы, — Юрий развел руками. — Да и не спал — так, в одежде прилег. Во сне к тому же и есть меньше хочется.

Морозов перевел, и майор весело расхохотался. От всех троих — Юрий уловил только сейчас — пахло спиртным.

Морозов пригласил гостей в свою комнату и что-то долго говорил по-немецки. Эльвира, очевидно, тоже понимала язык, поскольку перевода не было, а смеялись они все втроем дружно и беззаботно.

Юрий хотел было уйти, но, выглянув в окно, увидел, что у калитки, хлопая ладонями и подпрыгивая, проха-

живается солдат с автоматом. Машина замерла с потушенными огнями, но невыключенным мотором. Посему Юрий решил, что гости пожаловали ненадолго.

И действительно, побыли они не более часа. Вышли из комнаты совсем навеселе — на столе в морозовской комнате остались бутылки, рюмки и какая-то снедь. Комендант подошел и, прощаясь, пожал Юрию руку — пожатие было слабое, но массивный перстень больно впился в ладонь. Глаза коменданта приблизились почти вплотную. Они были водянисты, и Юрий готов был поспорить, что при дневном свете зрачков не видно совсем. Не выпуская токинской ладони, майор хлопнул другой рукой по плечу.

— Гут, гут. — И, повернувшись к Морозову, что-то сказал. Тот с подобострастной поспешностью перевел.

— Герр майор говорит, что будущим летом намерен поиграть с вами в футбол. У себя на родине он был не из последних на футбольном поле.

Прощаясь, Эльвира лишь слегка кивнула, а Морозов сказал:

— Юрий, приberi, пожалуйста, со стола. Все в твоём распоряжении. Я сегодня не вернусь. У нас визит к бургомистру.

— Трудно вам, — не удержавшись, съязвил Токин.

— У каждого свои трудности, Юрий, у каждого свои, — подчеркнуто миролюбиво ответил Морозов.

Следующим утром по дороге на завод Токина перехватил Бонифаций.

— Что случилось? — вместо приветствия встревожено произнес он.

— Что ты имеешь в виду? — не понимая, переспросил Токин.

— Фрицы чего к тебе пожаловали?

— А-а, — Юрию захотелось позлить старика. — Ты откуда знаешь?

— Сорока на хвосте принесла, — зло буркнул Карно и выжидающе уставился на Токина.

— По-твоему, я не могу и высоких гостей принять?

— Знаем мы этих высоких...

— Комендант Старого Гужа майор Шварцвальд личной персоной да еще с девицей...

— Что им было нужно? — по-прежнему колюче спросил Карно.

— Пришли проведать, как живет мой квартирант. И вот что, Бонифаций, мне надоел этот допрос. Если поговорить хочешь, жди — после обеда зайду попариться! И веничек приготовь настоящий, не кожедер!

Гудок залился над их головой, и Токин, оставив обо-зленного Карно, пошел к воротам. Оглянувшись, увидел, что старик все еще стоит, глядя ему вслед. И пожалел, что напрасно обидел Бонифация.

«Заботой одной вызвано беспокойство старика. А шу-стряк! Усмотрел-таки гостей! — Юрий хлопнул себя по лбу. — Представляю, как удивился, когда к дому подо-шел и немецкий камуфляж увидел! Бедный Карно!»

*«Начальнику разведотдела 22-й армии*

### ДОНЕСЕНИЕ

*Во время сегодняшнего утреннего вылета эскадрильи легких бомбардировщиков в десяти километрах от обла-стного центра по Старогужскому шоссе разгромлена маршевая колонна противника. Уничтожено около трид-цати грузовиков, несколько мотоциклов, пять орудий на прицепах и свыше ста единиц живой силы противни-ка. Колонна разгромлена пулеметно-бомбовым ударом с трех заходов.*

*Несколько машин находились под ручной загрузкой прямо среди дороги.*

*Вечерний поиск показал, что последствия нашего бомбового удара еще не ликвидированы, но шоссе нахо-дится под прикрытием истребительной авиации против-ника, которая не дала вновь пробиться к дороге.*

*Есть все основания предположить, что важное в стра-тегическом отношении Старогужское шоссе выведено из строя более чем на сутки.*

*В схватке потерян один самолет. 7 ноября 1941 года. Капитан Ильчин».*

### МАЙ. 1958 ГОД

Итак, у меня месяц свободного времени и два адреса. Один был точный — я знал даже номер дома в глухой деревушке на берегу возле Кириллова. Там жил тяжелобольной Токин. Другой адрес выглядел по

меньшей мере приблизительно — в Таллине якобы обосновался уволенный в запас следователь Нагибин.

Я выбрал Токина. Отчасти потому, что дело было верным. Из уст руководителя организации я узнаю много нового и проверю весьма противоречивый рассказ Генриэтты Черняевой, так счастливо встретившейся мне в далеком Урване.

Пассажирский поезд нудно, как хромо́й ко́нь, спотыкающийся на каждой кочке, тянул до Вологды полдня и полночи. Белесым утром, в час мистического раздела света и тьмы, я вышел на пустой перрон вологодского вокзала и долго пытался выспросить у встречающих, как добраться до нужной мне деревеньки. Все охотно, многословно, по-доброму объясняли. И каждый последующий совет не походил на предыдущий. Одни советовали ехать мимо Кубинского озера, другие говорили, что проще до Череповца, а там до Кириллова ходит автобус. Так и не разобравшись в советах, я направился к милиции, попавшейся на пути от вокзала к центру города. Выходивший из здания лейтенант вместо ответа спросил:

— Когда едешь?

— Да хоть сейчас, — ответил я, — специально ведь добираюсь!

— К родственникам?

— К родственникам, — согласился я, чтобы не вдаваться в дальнейшие пояснения. Но лейтенант не стал ни о чем расспрашивать, лишь ткнул жезлом в сторону мотоциклетной коляски. И когда я забрался внутрь, лихо рванул с разворотом на сто восемьдесят градусов. Он несся по-милицейски, как хозяин, обгоняя редкие машины там, где было нельзя, и ветер, свежий, утренний, сохранивший все запахи ночи, набивал рот. Когда выскочили из города, лейтенант остановил мотоцикл на перекрестке шоссе и боковой дороги.

— Я в совхоз еду. А тебе прямо. Лови попутный грузовик. Если твои ребра выдержат — часа через три на месте будешь. Прямо в Кириллове. А там спросишь. Сам бы отвез, да дела — коровник сгорел. На неделю перекудов!

— Жаль, что коровник сгорел не в Кириллове, — вместо «спасибо» сказал я, но лейтенант шутки не понял, сурово посмотрел на меня и, дав газ, затрясся по проселку.

Я же уселся на поваленный дорожный столб и от нечего делать принялся рассматривать резные крыши черных домов деревни, в сторону которой уехал лейтенант, узкую полосу свинцовой воды беспокойного озера, уходившего своим дальним краем к горизонту, а ближним — терявшегося в густых травянистых зарослях болотистой низины.

За час прошло лишь три грузовика, нагруженных доверху, а в кабине, будто положено по путевому листу, сидела дородная баба в платке и с корзиной на коленях. Ни один из грузовиков не остановился. Шоферы, правда, вежливо качали головой. — дескать, брать некуда. Да и сам я видел, что некуда.

«Так пойдет — и к вечеру не доберусь до места. Не подвернись шустрый лейтенант, я бы через Череповец махнул!»

Сзади раздался треск мотоцикла, и подъехал мой лейтенант.

— Загораешь?

— У вас тут только баб возят. Видно, они нужнее.

Лейтенант засмеялся.

— А ты веселый парень. Сам-то откуда?

Я объяснил.

— Коль при исполнении служебных, так это мой долг тебя устроить, — сразу переходя на «ты», будто я служил с ним в одном отделении, сказал лейтенант. Он говорил, по-вологодски окая, медленно и нараспев.

Из-за поворота показалась машина. Лейтенант деловито вскочил, поправил ремень на милицейском кителе, поднял руку. Грузовик остановился. В кузове громоздился груз, а в кабине сидела непременно баба с кошелкой.

Я усмехнулся, но милиционер что-то сказал водителю, они вместе полезли в кузов, и водитель поднял полог брезента, освободив уютное ложе, в которое я и забрался.

— Ты, парень, случаем не алкоголик? — смеясь, спросил водитель. — А то товар тут первый сорт! Надежный? — Этот вопрос адресовался уже к милиционеру, и тот солидно ответил:

— Столичный товарищ. Корреспондент.

Едва успел крикнуть «спасибо», машина тронулась, и тогда я понял, что имел в виду шофер, — кузов напоминал музыкальную шкатулку: в ящиках на все лады



позванивали бутылки. Подтыкая себе полог за спину, увидел открывшийся штабель с водкой.

Дорога после весенней хляби не устоялась — машину трясло так, что порой казалось, не оправдаться за погибшие бутылки.

Я не один раз вспоминал потом слова лейтенанта о «железных ребрах», но качка, вставшее солнце и летняя духота сделали свое дело: привык к тряске до того, что и уснул.

— А я подумал, ты напился до бесчувствия! — раздался надо мной голос, и я увидел сидевшего на борту белозубого водителя.

— Когда ее, проклятой, много, так и не особенно хочется!

— Это точно, — подхватил парень. — Вожу-вожу, а больше полбутылки за рейс никак выпить не могу! Да и то, если попутчица под боком хорошая! Ну, приехали! Мне по сельпо товар развозить, а твой Кириллов тут. — Он широко развернул руками, как бы отдавая в полное распоряжение весь город.

Я выбрался из кузова и огляделся. Города-то и не было. Полмира закрывала обшарпанная, но по-старинному мощная стена монастыря, с прохудившимися маковками внутренних церквей, покосившимися шпилями угловых башен, с низкой аркой полузаложенных кирпичом ворот. Напротив разметалось с десятков разнокалиберных полуушедших в землю каменных домишек, разбавленных добротными по-северному срубами. Я пошел вдоль каменной стены, огибая монастырь справа, и вдруг за краем стены увидел выплывшее голубизной озеро и коричневую кладку, полузатопленную в воде — будто вот-вот гневная в своей синеве вода проглотит огромный ансамбль с его стенами, и башнями, и маковками церквей. Чем дальше я отходил по берегу от стены, тем более величественная картина разворачивалась передо мной. С противоположного берега Сиверского озера монастырь смотрелся одной бесконечной стеной от самой воды до горизонта, и за этой стеной обещалось что-то загадочное, никому не подвластное. Сами же стены как бы ныряли в тихую стеклянную гладь, и казалось, что монастырь построен не на твердой земле, а весь на плаву, на каком-то гигантском плоту. И стоит потянуть свежему ветру, как он снимется и поплывет, поплывет в неведомые дали...

В раймаге я без труда узнал, что до деревеньки, мне необходимой, километров шесть и, что было уже обидно до смерти, именно по той дороге, по которой я только что приехал.

Вынырнув из леса вместе с тропой, я увидел на холме царственно вознесшегося над рябью озера деревеньку в дюжину размашистых, об семь окон по фасаду, домов. Жилая часть их по-северному переходила в хозяйственную пристройку, отчего каждый дом напоминал авиационный ангар. И если бы не вычурная резьба по наличникам, фигурные коньки и перевязь точеных столбцов над крыльцом, то и отличить часть жилую от нежилой удалось бы не каждому.

Я постучал в первую же дверь, но никто не ответил. Во вторую стучать было бесполезно — дверь явно заколочена. Лишь дом на другом краю села показался мне обитаемым. Я начал тарабанить в открытую дверь. Голос из-за угла заставил оглянуться.

— Чего, милок, шумишь, аль нужен кто?

Рядом выросла невысокая старушка в черном платке, с выбившейся прядью седых волос, в сером непомерно обширном мужском пиджаке.

— Нужен, бабуся! Сказали, что в деревне лежит больной мужчина по фамилии Токин?

— Юрка-то, что ли? — переспросила старушка. — Параличный?

Вопрос ошарашил меня, но я кивнул головой.

— Он, наверно, он!

Парализованный — такого оборота дела я предположить не мог.

— У меня он живет, касатик многострадальный, — старушка взяла под руку и потянула вдоль косогора в сторону дальней, к озеру, околицы. — В деревне осталось три бабы да два мужика — старик мой и он, мученик. А меня зовут бабкой Ульяной.

Мы подошли к дому.

— Как сказать ему, касатику, чтобы не разволновать? Ведь трудно ему — память у него худая! А ты кто, родственник?

Я сказал, что нет, что приехал по работе из газеты, но, подумав, попросил бабку Ульяну ничего пока Токину не говорить, будто я вовсе не к нему, а случайно заглянул на пожив, как охотно подсказала Ульяна.

— Деда дома нет, — протянула старушка. — В рай-  
маг пошел. Тут недалеко — километров шесть.

Мы вошли в дом.

За просторными темными сенями оказалась большая, словно наполненная северным майским светом, горница с аккуратными, прорубленными плотно друг к другу окнами, за которыми раскинулись, не объять глазом, просторы озерной воды, поля со сверкающими лужами, обрамленные темными контурами мрачных лесов.

Спинкой к двери стояло грубой работы кресло, и бабка Ульяна показала на него глазами. Невнятный звук раздался из-за спинки, и Ульяна поспешила к креслу.

— Это я, касатик! Жилец вот заглянул, отдыхающий. Может, поквартирует недельку — все веселее будет.

Я тоже обошел кресло.

Передо мной сидел худой, сгорбленный мужчина в деревенской синей рубашке-косоворотке, с накинутым на ноги одеялом из цветных лоскутов. Больше всего меня поразил глаз, напряженно смотревший через переносицу, в то время как второй неподвижно уставился вперед. Сидевший пошевелил левой рукой и что-то промычал. Я понял, что напрасно приехал сюда, и Токин — а его еще можно было узнать по характерным чертам обострившегося лица — не помощник в моем поиске.

И скорее от сознания постыдности своего утилитарного вывода, чем от удручающей картины чужого безысходного горя, я совершенно растерялся.

Ульяна провела меня в квадратную комнатку, бочком смотревшую на тихую заводь, и показала на кровать с горой в семерик, — одна другой меньше — кружевных подушек. Я так и не рискнул сесть на кровать. Стоял, глядя на завешанный иконами красный угол, пока из задумчивости не вывел голос бабы Ульяны:

— Снедать, пожалуйста. Деда не дождешься, а Юрок уже сытый.

Стол был накрыт в тени низкой, кражистой сосны, на струе прохладного ветерка, тянувшего с озера и разгонявшего редких, назойливых комаров. Ульяна исчезла в избе и ко всему роскошному набору: моченой бруснике в тарелке, высокой миске грибов вперемешку с огурцами, разваренному холодному картофелю, видно, оставшемуся с утра, — принесла на длинном ухвате сковородку с высоким пирогом, на поверку оказавшимся молоч-

ным омлетом. Пока я стеснительно ел, по-городскому не привычный к такой обильности северного деревенского угощения, Ульяна говорила.

— Когда он, касатик, приехал в деревню, у нас еще жисть была. Молодые в город, на завод, не все подались. А у него рука правая не совладала. У меня и поселился. К тяжелой работе хоть и неловкий был, а все-таки мужичонка. Дрова одной рукой споро колол. Ягоды собирать мастер был. А уж по грибы — самых ходких в деревне забивал. Через год ему худшее стало и худшее — нога отнялась, потом лицо покривило, и речь стала невнятной. Соседи говорили — отправь куда лечиться, да врачи сказали — без надобности и пользы. Ничто уже не поможет. А коль так, чего гонять касатика. Пусть живет — не обьест. Поуехали в город молодые, он мне как сын стал. Все, думаю, живое существо в доме. А как мой сыночек где-то вот так мыкается?

Я подумал, баба Ульяна заплачет, но в ее заштрихованных морщинами подглазинах не появилось ни слезинки. Наоборот, она заговорила о сыне по-деловому, как бы стараясь хоть словом устроить его неведомую жизнь.

— Без вести пропал сыночек. Ждали с дедом, ждали... Не ошиблась писулька — пропал, и все тут. Пожнить даже не успели. А невеста была: красивая девка, дородная, работающая. И ждала его долго. Нынче тоже на завод подалась.

Я слушал бабу Ульяну, сновавшую вокруг стола, то подкладывая моченой брусники, то наливая новый стакан холодного, с ледника, молока, но думал о Токине. Да простит мне баба Ульяна! Думал о том, почему жизнь так несправедлива. Вот выбирает человека и кидает на него, как на последнего бедного Макара, все шишки, крутит его, вертит, так мордует, что иной бы уже давно дух испустил, а человек все держится — когда в ногах уже силы нет — сидит, а потом лежит, пока срок ему не отстукал. Но смерть, наверно, никогда не кажется ему избавлением от всех выпавших на его долю мытарств.

Перед глазами стоял тот Токин, которого я уже представлял себе по рассказам, старым довоенным фотографиям. Красивый, высокий парень, с открытым русским лицом, слегка — то ли от природы, то ли от зазнайства — вздернутым носом. Вот только рот Токина

я никак себе представить не мог. Ни формы его, ни склада губ. На всех фотографиях, виденных мною: и в футбольной форме, с такими длинными, до коленей, трусами, похожими на юбку, с заливчатски поставленной ногой и в рубаше-косоворотке, с чубом — ни дать ни взять гармонист-заводила с фабричной окраины, везде у него рот разный. И чаще всего широко растянутый в бодрой, непобедимой улыбке. А вот глаза... Их выражение было неизменным. Словно жила в них затаенная дума о чем-то неведомом. И все остальное — бравада, улыбки, жесты бахвальства — напускное, предназначенное для того, чтобы скрыть свое, сокровенное.

От облика того, довоенного, Токина веяло молодым задором, здоровьем и распирающей силушкой. И ничего общего не было с этим жалким паралитиком.

Я думал, как жестока жизнь, как круты ее повороты, если смогла укатать даже такого крепкого парня...

В минуту свидания с жесткой правдой жизни и к себе начинаешь относиться строже, критичнее. Мне было стыдно, что, глядя на этого измученного болезнями человека, я жалел не его, а того, прежнего, Токина. Я видел его в центре лихих атак старогужского «Локомотива» с мощным, неостановимым бегом и ударом, если не сказочной силы, то всегда невероятно неожиданным и потому не менее результативным. Вообще в того Токина я вкладывал все свое представление об идеальной футбольной звезде, и трагический ореол старогужских военных событий заставлял ее, по крайней мере в моих глазах, сверкать невероятно ярко. И в этом облике, во многом мною придуманном, центра нападения из Старого Гужа я, к стыду своему, никак не мог увидеть сердцем человека, сидевшего передо мной в кресле. Они, тот и этот Токин, помимо моей воли, были как бы разными людьми...

Я прожил у бабы Ульяны три дня. Пытался говорить с Токиным, но он с трудом воспринимал речь. Когда до его сознания доходил смысл моего вопроса, касавшегося прошлого, вопроса очень простого, скажем, играл ли он до войны в футбол, Юрий тряс головой так, что нельзя было понять: кивает ли согласно или мотает отрицательно. Он начинал нервно мычать, и по подбородку его текла слюна. Из единственного живого глаза капали слезы, и мне не хватало сил смотреть ему в лицо и зада-

вать вопросы. Я гладил его по живой руке. Он вяло, благодарно сжал мои пальцы, бессвязным мычанием убеждая в том, что первое впечатление от встречи и мысль о безрезультатности вологодского вояжа, увы, верна.

И как ни ласково ходила за мной баба Ульяна, как ни манила пожить здесь, рядом с Юрием, я не мог больше выносить этого взгляда, укоряюще следившего за мной. До самого Таллина я ехал в дурном настроении. После транзитного Ленинграда он показался маленьким, запутанным и холодным. Или такими всегда кажутся незнакомые города?

Взяв такси, я уже через полчаса входил в одноместный номер гостиницы с окном, совершенно закрытым острым шпилем действующего собора. До обеда пробродил по городу и, уставший от твердой каменности мостовых, заглянул в горвоенкомат, прикинув, что если где и знают, куда подевался военный пенсионер, так это тут.

Вышел из военкомата, имея все данные на майора Нагибина: и адрес, и место работы, и телефон, и как добраться к нему от гостиницы.

Из номера позвонил.

— Слушаю, — почти по-военному отчеканил густой голос.

— Товарищ Нагибин?

— Он самый. С кем имею честь?

— Моя фамилия Сергеев. Я из «Спортивной газеты», из Москвы...

— Из спортивной? А вы не ошиблись номером телефона? В моем возрасте к спорту люди обычно не имеют отношения!

Я пропустил эту реплику мимо ушей.

— Хотелось бы с вами встретиться. В любое удобное для вас время...

— Если хотелось бы и именно со мной, то приезжайте!

— Когда?

— Хоть сейчас...

— Еду.

— А адрес знаете?

— И как до вас от гостиницы доехать, тоже знаю.

— Чувствуется, что газета спортивная! Жду.

Пока ехал в звонком прозрачном трамвайчике, все

представлял себе, каким окажется Нагибин. Если Токина и еще кое-кого из организации я знал по плохоньким старым фотографиям из архива областного управления, то совершенно неизвестный мне Нагибин казался худым и неприветливым.

Дверь открыл полный мужчина с седой, словно он был в хирургической шапочке, шевелюрой. Ласково пожал руку и сразу же усадил за стол, на котором стояли емкие чайные чашки.

Вошла женщина.

Я поздоровался.

У Марии Степановны, как представил ее Нагибин, было лицо приветливое, русское, с широким носом-уточкой, и вся комната показалась настолько обжитой, что уже через пять минут я чувствовал себя как дома.

Нагибин пил чай и ничего не спрашивал. Опытным, терпеливым, наверно, был следователь, ведший дело старогужского подполья.

Он был к тому же красив: с орлиным — горбинкой от бровей — носом, крепким подбородком, с неизменной папироской в желтых, прокуренных зубах. Казалось, «Казбек» он не выпускал изо рта и когда пил чай.

Я не выдержал. Вернее, понял, что выдержки у Дмитрия Алексеевича куда больше, и заговорил — как-то неловко ворваться в чужой дом и молчать. Мария Степановна, не скрывая любопытства, посматривала то на мужа, то на гостя, но молчала, видно, так было заведено в этом доме.

— Дмитрий Алексеевич, — начал я, толком еще не зная, с чего начать, и вдруг сам не знаю почему сказал: — Я только что приехал от Юры Токина. Может, помните?

Дмитрий Алексеевич вскинул брови.

— Серьезное дело намечается, — сказал он медленно. — Марийка, за чай спасибо, с товарищем пройдем в кабинет.

Мы перешли в комнату, напоминавшую скорее увеличенный до размеров комнаты ящик с книгами: тома теснились на полках стеллажей, грудились на столе, в виде небоскребов из связанных пачек дыбились с пола.

Два мягких кресла, стоявших углами друг к другу, словно корабли, затертые льдами, едва виднелись среди книг.

— Рассказывайте, что знаете и что хотите рассказать, — мягко, но решительно сказал Дмитрий Алексеевич, отправив в рот очередную штуку «Казбека».

Я поведал все по порядку — и об охоте в Литве, и о встрече с Сизовым, и о разбитом параличом Токине, — ничего не приукрашивая и ничего не скрывая.

Нагибин слушал изумительно. Рассказывать ему — одно удовольствие. Когда я дошел до встречи с Токиным, он встал и прошелся вдоль кресла — шаг вперед, два шага назад.

— Зачем вы, молодой человек, впутались в это... — он запнулся, подыскивая точное слово, но так и не нашел. — Я не собираюсь вас отговаривать, — он подчеркнул говорил «вы», хотя и по возрасту, и по своему положению в этом деле он мог быть и более фамильярен. Потом я понял, что это врожденная интеллигентность, и, сколько бы мы ни встречались, он всегда обращался ко мне на «вы», впрочем, как и к другим людям. — Но скажу откровенно, затею не одобряю. Ибо в ней больше подводных камней, чем попутных течений. На одном из таких камней перевернуло и мою лодку. Впрочем, это вас не должно волновать. Да и я кое-что не вправе говорить. Уж не обессудьте, вас я слушал внимательно, слушайте и вы. Я опускаю детали, которые вам известны. Изложу самую суть.

Он уселся в кресло, дымя папиросой и уперев руки в колени, так что его мощные плечи как бы накатились вперед.

— Я принял это дело уже раскрученным. Следовательно, работавшего до меня, сняли за назойливое утверждение, будто организация была. Его упрекнули в попытке обелить изменников Родины. Самую гнусную роль сыграл во всем деле Сизов. Он слишком громко стучался во все двери, требуя признания своих заслуг, и не меньше как звания Героя Советского Союза. Он обозлил всех. Мне мало что удалось изменить в отношении к старогужским парням, их с большей охотой считали жертвами гитлеровского террора, чем бойцами, героически положившими свои головы в борьбе. Не оправдываюсь, но скажу, что между первым следователем и мной в течение шести месяцев работал еще один... — Нагибин поморщился, — очень быстрый товарищ. За измену Родине под суд пошло несколько человек. А после освобождения, как



водится, много всякой гнили примазывается к патриотам, изображая из себя борцов за Родину.

Я начал раскручивать дело заново вопреки мнению своего начальника. Ко мне приходила молодежь с просьбой разрешить на собранные средства установить памятник расстрелянным на Коломенском кладбище. Но этого нельзя было сделать, не ответив на главный вопрос: была или не была организация?

Как и вы, я начал искать Токина. Было известно, что ему удалось уйти за линию фронта. Подозрительная удача! Я нашел его в лагере. Уже лейтенантом Советской Армии, он был арестован где-то под Кенигсбергом и осужден как предатель.

В показаниях он правдиво поведал, как маялся тем уходом, как переживал, что поддался гордыне. Но поскольку ушел один, в самый ответственный момент бросив ребят, считает себя виновным в гибели организации. Хотя, конечно, никого не предавал. Здесь смешались аспекты нравственного преступления с юридическим. На фронте Токин храбро воевал, даже слишком храбро. Совесть терзала... Учитывая боевые заслуги, ему дали только десять лет.

Истинный предатель остался неизвестным. Версию, что разболтали девчонки и немцам случайно удалось накрыть подпольщиков, опровергнуть, к сожалению, не удалось. После многочисленных осложнений на работе следователя Нагибина отстранили от дела. Моя версия была закрыта. В чем она заключалась? — Дмитрий Алексеевич спросил себя и прищурил глаза, как бы пытаясь вспомнить подробности собственной версии, но по лицу его было видно, что он все прекрасно помнит. — Организация была. Следует учитывать необычность обстановки перед оккупацией Старого Гужа. Внезапный захват немцами города разрушил многое из планируемого.

Меня заинтересовал вопрос — почему столько молодых людей, особенно с завода Либкнехта — да и те же футболисты, — остались в городе, а не были призваны в армию? Думаю, многие концы замыкались на Пестове. Но его повесили в один из первых дней оккупации. Закон подполья — полная конспирация — сработал против себя. Но парни не могли и не хотели мириться с захватом родной земли. Они сделали то, что велела им

совесть. К сожалению, время беспощадно. Оно вычеркивает из жизни людей. Многие унесли с собой в могилу те тридцать семь героев. Организацию предали — бесспорно. Система немецких арестов да и признания кое-кого из бывших гитлеровцев свидетельствуют об этом. Но кто? Ясно, не Токин. Выйдя из лагеря, он работал на Севере шофером. Потом эта авария... И паралич... От него, как вы рассказали сейчас, невозможно получить никакой информации. Сизов? Загадочная личность. Боюсь, он не так кристально чист, как пытается изобразить. Почему его выпустили немцы? Ну, это случается. Скажем, посмотреть, как будет виться веревочка дальше. Допросы немцев показали, что они были чрезвычайно напуганы столь массовым протестом.

Нагибин закурил.

— И вы все так оставили? — не удержался я от вопроса, притом не очень тактичного.

Нагибин усмехнулся.

— Во-первых, всему свое время, а во-вторых, ведь есть еще и вы, который не бросит начатое дело на полпути. Не правда ли?

## **ДЕКАБРЬ. 1941 ГОД**

Словно опалившись о тысячи разорительных пожаров, насытившись долгой грязной осенью, взбалмученной тысячами танковых траков, наспотыкавшись в колдобинах больших и малых воронок, зима устало опустилась на землю. В первые же два декабрьских дня она без всякой обычной пробы обвалила на землю столько снега, сколько слез и горя увиделось ей вокруг. Хотела белым русским снегом замести все чужое, зеленое, холодное и враждебное, что пришло непрошеным. Но кровоточившую землю трудно было забелить в ту зиму даже щедрым снегом. Гусеницы танков до самой стылой земли рубили белоснежное полотнище, а гулкие по-ночному взрывы, неспособные поднять в воздух мерзлые кубометры земли, редкими комьями, будто оспинками, закидывали белый снег.

Юрий со злорадством, почти физическим наслаждением взирал на дороги. И хотя теперь куда сложнее стало высевать «ежи», зато новые сугробные трудности

создавали бесконечные пробки. Машины вязли, солдаты, словно прибитые морозом жуки, неуклюже лазили по сугробам, лопатили снег, а он, свежий, сыпучий, только злее хватал за колеса и прочно задерживал колонны, спешившие туда, к Москве.

Радио слушали регулярно. Чистым, несколько трагическим голосом Левитан объявлял об оставленных населенных пунктах. И хотя общее немецкое наступление как бы задержалось, однако особое напряжение чувствовалось в боях под Москвой. Как-то в сводке мелькнуло знакомое название, и Юрий даже вздрогнул, вспомнив, сколь близко лежал тот городок от столицы. За два года до войны ему пришлось играть в нем отборочный матч первенства России. По дороге в тот городок заскочили на Красную площадь — быть в Москве и не посмотреть на Кремль, кто же себе позволит, — и прямо оттуда отправились на игру. Может быть, потому в воображении Юрия рисовалась прямая дорога, ведущая от Кремля к стадиону. И прямая эта казалась короткой до боли.

На заводе «Ост-3» дела почти совсем остановились, работали из рук вон плохо — до снега едва успели убрать кирпичные осыпи и размотать паутину взорванной арматуры. На глазок прикинули, как досками закрыть щели, чтобы в мороз окончательно не отдать богу душу, ибо до настоящих перекрытий было еще далеко, а фашисты с каждым днем все яростнее требовали пуска на полную мощность паровозоремонтного завода. В Германии не хотели поверить, что завод все еще влачит жалкое существование. Нагрянули какие-то высокие комиссии.

Одна особенно запомнилась Юрию. Въехали, как обычно, на нескольких легковых машинах с бронетранспортером впереди, который шел скорее не для охраны, а чтобы пробивать свежий дорожный намет.

Из первой машины — Юрий нес в контору заказ на инструмент — вышел высокий офицер, в военной шинели ярко-голубого цвета с богатым меховым воротником. Из-под форменной с лихо вскинутой кверху тульей фуражки жалко торчали черные кружочки наушников. Воротник, видно, грел плохо, а уши никак не хотели приывать к резкому декабрьскому ветру. Выйдя из машины, офицер обратился к Юрию на чистом русском языке:

— А ну-ка пойді сюда! Ты! Ты! — Он ткнул пальцем

в черной кожаной перчатке прямо в лицо Юрию. — Пойди сюда!

Все сопровождающие недоуменно остановились, а господин Раушер, инженер, исполнявший обязанности шефа немецкой дирекции, даже замахал на Юрия руками, чтобы он выполнял указание быстрее.

— Меня? — спросил Юрий, выигрывая время, и ткнул себя кулаком в засаленный ватник.

— Тебя, тебя, голубчик! — почти пропел офицер.

Юрий подошел. Офицер снял перчатку и протянул руку для приветствия. Юрий стащил дырявую варежку и пожал руку фашиста спокойно, будто каждое утро делал это вместо зарядки.

«Интересный фрукт! Что-то подобного наблюдать не приходилось! Стреляя в нашего брата, они еще перчатки снимают, а вот чтобы здороваясь...»

Он смотрел смело и прямо в лицо немцу, и тому это, видно, понравилось. По его узкому красивому лицу пробежала едва заметная самодовольная усмешка.

— Ты что делаешь на заводе, голубчик? — спросил он, вновь надевая перчатку.

— Рабочий. В сборочном цехе.

— Где это?

— За обрушенной стеной.

Офицер полуобнял Юрия и теперь стоял как бы над ним — он был выше, и Юрий ощущал силу его руки.

«Здоровый фриц...»

Немец буквально потащил Юрия по только что проложенной тропе к цеху, остальные молча побрели следом.

— Куда ты шел, голубчик, и зачем?

— В контору. Нес наряд на инструмент...

— Какой инструмент?

— А мое какое дело? — грубовато ответил Юрий, не понимая еще, что хочет от него этот странный немец. — Бригадирова забота — какой инструмент для работы требуется, такой и заказывает.

— Ну что ж, справедливо. И часто ты так ходишь?

— Почему я? — удивился Юрий. — И другие ходят!

— У вас что, работы мало?

— Где же тут работать, когда руки стынут! Слесаря перчаток снять не могут — ведь металл! Он быстрее человеческих рук мерзнет.

— Ну, покажи мне, голубчик, свое хозяйство, — ласково попросил офицер, будто Юрий мог отказаться. Хотя он сделал-таки попытку.

— А может, мастера позвать? Вон стоит! — И Юрий указал глазами на Бориса Фадеевича.

— Нет, голубчик, с тобой приятнее.

Юрий повел немца самыми грязными лазами, где выкачивалось старое масло, и пытался объяснить, где и что лежит и почему нельзя сделать то-то и то-то.

Фашист оказался настырным — он лазил по наметенным у стен сугробам, заглядывал в слесарные ямы, долго что-то зарисовывал в красном блокнотике, закинув голову и глядя на жидкие балки перекрытий, над которыми летело белесое, словно тоже покрытое редким снежком, небо.

— Как ты думаешь, голубчик, что надо сделать, чтобы завод заработал как следует?

— Я человек маленький, — дипломатично ответил Юрий, — образования инженерного не имею, затрудняюсь сказать. Вон ваших инженеров сколько!

— Ваших, ваших... Нехорошо, голубчик, плохо говоришь. Надо забыть «ваши» и «наши». Теперь это все «наши». И «ваши» — «наши». — Он довольно засмеялся над собственным каламбуром. — Так вот, — он снова обнял Юрия и, заговорщически склонившись к нему, тихо сказал, будто это было нечто интимное: — Так вот, голубчик, если к лету завод не заработает, мы расстреляем всех, в том числе и тебя. Я не люблю угрожать, — сказал он и опять улыбнулся, — но, как понимаешь, голубчик, я разговариваю с тобой искренне. Если завод начнет работать, я буду продолжать говорить с тобой, как говорю сегодня. Если не будет... Ты знаешь — идет война. Солдат, не выполнивший свой долг, — преступник. И он будет казнен. Вы все солдаты великого рейха, и для вас военные заказы обязательны. Я хочу, чтобы ты передал это своим друзьям, чтобы они вспомнили, как работали в годы индустриализации...

Знакомое и привычное слово «индустриализация», прозвучавшее в устах немца, заставило Юрия еще раз взглянуть ему прямо в глаза. Они смеялись. Смеялись каким-то особым, затаенным смехом, словно закупоренным в прозрачные колбочки, но содержимое их изморось оседало по тонким стеклам.

— Да, я знаю историю России. Знаю, что может русский человек. После войны придет новая жизнь, о которой вы, молодые, родившиеся при большевиках, и не знаете. Но пока мы на войне, голубчик. Передай это, пожалуйста, своим. — Он круто повернулся и, не оборачиваясь, зашагал в сторону заводууправления.

— Ну как твой друг? — усмехаясь, спросил Борис Фадеевич, глядя, как показалось Юрию, испытующе.

— Друг?! — Юрка выругался. — Чтоб вы всю жизнь только и жили с такими друзьями...

Он рассказал Борису Фадеевичу о разговоре со странным немцем.

— Да, — прошамкал застывшими губами Архаров. — Занятный немец. Серьезный! Это не пустобрех Раушер. От таких всякого ждать можно. Говоришь, солдатами назвал? А ведь правильно! Только чьи — еще разобраться нужно.

Он лукаво посмотрел на Токина.

— А ты как думаешь?

Юрий промолчал, не совсем понимая, к чему клонит старший Архаров.

— Похоже, фашисты серьезно за дело братья намерились. А это значит, и нам ушами хлопать негоже. Жизнь — она только с виду сейчас тихая. А на самом деле в глубинах бурлит, бушует. И когда вырвется наружу, сметет начисто этих непрошенных господ.

Он обнял Токина за плечи, прижался почти к уху губами и горячо прошептал:

— Самодеятельность хороша, а коль организованная — и того лучше! Надо с партийным руководством связь налаживать.

— Где его взять, партийное руководство? — Токин ответил вполголоса. — Фронт вон куда отмахал... Там руководство...

— Было у мамки три сына, два умных, а третий футболист. Да ты не обижайся! Я так, к слову... Прибаутка такая! — примирительно протянул Архаров, заметив, как вспыхнуло лицо Юрия. — Думаешь, коль армия откатилась, так и власть наша кончилась?! Мы-то на своей земле! И пока жива она, и власть жива будет! Она ведь не в исполкомах живет — в душах наших, в каждом доме, в каждой овражке и лесочке...

— Хорошо бы связаться, да как? — Юрий покачал

головой, не веря в реальность такой возможности. — Коль след есть — помогите.

— И-и-и... Я и сам бы рад. Пока ничего толком сказать тебе не могу. Есть кое-какие соображения, но время нужно, чтобы связать концы с концами. Больно врасплох немцы нас застали.

— Пестова бы... — вздохнул Юрий.

— Пестова не хватает, — согласился Архаров. — Но пока суд да дело, вы поосторожнее будьте. К людям повнимательнее, к себе поостроже. Глупым случаем под косу смертельную не попадите... И еще, знаю, с Бонифацием дружен, прислушивайся к его совету, он мужик мудрый!

Зима сказалась не только на производстве. Враги, поселившиеся в наиболее приглянувшихся домах, с первым снегом и настоящими холодами, начали шарить по городу, переселяясь в дома, где не так красиво, зато потеплее и потише.

Как-то, вернувшись с работы, Юрий застал у себя дома трех гитлеровцев. В комнатах было наслезено. Двое сидели на стульях, а третий, скинув шинель, ходил по комнатам и что-то записывал в тетрадь, по-школьному слюнявя карандаш. В кухонных дверях застыла ничего не понимающая соседка. В руках она держала вырванный с крюком навесной замок.

— Что случилось? — спросил Юрий, остановившись посередине комнаты и распахнув ватник.

— Ничего особенного, — раздался голос немца, которого Юрий поначалу не заметил. Это был переводчик Гельд. — Господин фельдфебель осматривает дома для расквартирования по приказу коменданта.

— Дверь-то зачем ломать? Хозяина дождались бы...

— Хозяева здесь мы. Пора бы это уже понять.

Гельд вышел из-за угла на середину комнаты и встал перед Юрием. Был он мал, лысоват, с венчиком курчавых, словно декоративных, волос.

— Кто здесь живет?

— Я.

— И все?

— Еще Морозов, начальник электростанции, — Юрий кивнул в сторону большой комнаты.

— Так, — Гельд что-то сказал фельдфебелю, и тот скривил недовольную рожу.

— Господин фельдфебель доложит коменданту, и, если тот сочтет нужным, вас переселят в другой дом.

— Но это мой дом...

— Я сказал — в другой дом. Этот будет занят под жилье представителем немецкой армии.

Гельд подошел к соседке и, взяв замок, швырнул его в руки Юрию. Тот ловко, по-спортивному, поймал брошенный предмет.

— Кстати, где вы работаете?

— На Либкнехте, — машинально ответил Юрий.

Гельд постучал рукой по пистолетной кобуре, висевшей прямо на животе.

— Еще раз услышу это название — получишь пулю в лоб. Нет такого завода и не было. Заруби на носу, свинья! «Ост-3»!

Он вышел последним, так хлопнув дверью, что Юрий подумал: придется ремонтировать не только замок, но и притолоку.

Вечером явился Морозов, и Юрий рассказал ему о визите.

— Этого еще не хватало! Ладно, завтра поговорю со Шварцвальдом. — Морозов внимательно, как-то боязливо осмотрел свои вещи и спросил:

— Ничего не унесли?

— Вроде нет. Я пришел — они уже здесь были. Скоро в погребе ночевать придется. Вам хорошо, квартиру еще и на станции имеете.

— Нет квартиры, — устало сказал Морозов. — Сплю прямо в кабинете.

— Зато усердие оценят кому надо.

— Оценят, — сказал Морозов и посмотрел на Юрия. — Кому надо — оценят.

Он быстро собрался и ушел. Юрий долго смотрел в замерзшее окно на высокую фигуру Морозова, шагавшего по тропе, упрямо наклонив вперед свое большое, сильное тело в белом щегольском полушубке.

Усталыми животными лежали посреди зала генераторы. Один числился на профилактике. Основательно загнанный, он был годен практически только для подсмен-



ки. Другой ровно гудел, наполняя просторный зал тревожным напряжением. Глеб остался в общем зале, а Алик пришел сюда. Договорились, что Глеб отзовет сменного мастера вниз, а он, Алик, должен в течение пяти минут скинуть шесть гаек и, подняв кожух золотника, «припудрить» контакты.

«Чудно как-то! — думал Алик. — Еще вчера Глеб Филин мне и руки не подавал. Футбольная знаменитость вроде Токина! Недаром дружки они...»

Алик выбрал второй, основной генератор и потому, что он стоял как бы в стороне, потому, что еще совсем недавно возился под надзором мастера над его ремонтом и успел прикинуть, как лучше выполнить указание Филина.

Алик плохо понимал, зачем понадобилась Филину золотниковая диверсия. Ведь замена золотника — дело всего нескольких часов. И то, учитывая, что заготовки придется делать без чертежей, по дефектной детали. Песок Алик прихватил стоящий, абразивный, твердый как алмаз и острогранный.

Взяв из угла масленку, так, для виду, на всякий случай, подошел к генератору. Положил ладонь на его защитный кожух и сквозь тепло металла ощутил как бы живое тело.

В этот зал он впервые вошел два года назад «фабзайчонком». И тогда с трепетным восхищением взирая на высокие, до потолка, окна, на идеальную чистоту мозаичного пола, на бесконечное количество стрелок, едва заметно подрагивающих за стеклами незнакомых приборов. И все эти годы он драил тряпкой и щедро смазывал большое тело генератора, даже в помыслах не смея представить себе всю технически необъятную сложность умной машины. Со свойственным деревенскому парню уважением к технике Алик думал о мудрости старшего мастера, который, глядя в какие-то бумаги, спорил с инженером так уверенно, будто не один раз перебрал всю машину собственными руками.

Алик прислушался то ли к шумам в генераторе, то ли к звукам за дверью.

За ровным гулом агрегата как бы лежал другой мир, лишенный всяких звуков.

«Это и к лучшему! А то со страху помереть можно — каждый шорох шагами кажется!»

Он достал из внутреннего кармана ключ семнадцать на девятнадцать и принялся открывать золотниковую коробку. Пять гаек снялись легко, но шестая была деформирована, и староватый, расхлябанный ключ сорвался, и Алик увидел, как по тыльной стороне ладони расплылось красное пятно. Прижав ключ двумя руками, сдвинул наконец гайку, быстро снял крышку и аккуратно «припудрил» песочком. С высоким комариным писком молниеносно засосало кристаллы.

Он уже хотел было добавить вторую порцию и нагнулся, чтобы выскрести из кармана остатки абразива, когда краем глаза заметил стоящие рядом хорошо начищенные сапоги. Разогнувшись, увидел перед собой побледневшее, заросшее вчерашней щетиной лицо начальника электростанции. Будто вечность простояли они так друг против друга, не двигаясь и ничего не говоря.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Морозов голосом, привыкшим к постоянному гулу генераторов. Но Алик понимал, что вопрос бессмыслен, поскольку Морозов видел, не мог не видеть, что сделал он с золотниковой коробкой.

— Покажи руки!

Алик протянул ту, в которой еще был зажат гаечный ключ.

— Правую покажи!

Алик протянул вперед потную ладонь, окрашенную красноватой пудрой абразива.

Попавшийся молчал, продолжая стоять с протянутой ладонью.

— Вытри руку о штанину, — внезапно приказал Морозов.

Алик послушно выполнил указание.

— Запусти в золотник полмасленки масла. Так. А теперь катись отсюда и, если через два часа генератор остановится, ремонтировать не приходи. Хоть сквозь землю провалишься... — почти неслышно закончил Морозов. — И чтоб это в последний раз, слышишь? Повторится — сам в гестапо отведу!

Повернувшись по-военному, так что сквозь гул моторов было слышно, как цокнули подковки по мраморному полу, он вышел. Алик почти машинально поставил на место крышку золотниковой коробки, обильно поливая ее кровью, текшей с ладони. Потом долго задумчиво тер

тряпкой, еще не веря в происшедшее. Когда вернулся мастер, он уже спускался по лестнице в общий зал, и тот его не видел. Впрочем, конспирация сейчас мало занимала Алика. Он думал о том, почему так поступил Морозов, хотя было ясно, что его, Альку Татьяничева, числящегося кочегаром, можно повесить за милую душу. Подумал, надо ли говорить о происшедшем Филину, но так и не решил.

Когда тот, встревоженный, спросил:

— Что так долго? Ну?

Ответил по возможности небрежнее:

— Порядок! Все как задумали. Вот потеха будет!

Генератор стал в восемь часов. Зал заполнился едким беловатым дымом. Мастер в панике кинулся к Морозову. Тот пришел и велел остановить машины. Мастер забежал от машин к Морозову и скороговоркой бубнил:

— Ой, боженьки! Что же случилось? Глаз с него, дьявола, не спускаю! Уж я ли его не хожу?! Опять, господа, начальники будут недовольны!

— Конечно, будут! Но машина не первой свежести...

— Еще как не первой! — подхватил мастер.

— Снимай кожух! Бери людей и снимай кожух! Дадим аварийное освещение. Посмотрите в первую очередь золотниковую коробку, — сказал Морозов. — Я буду у себя.

Полевой телефон трещал не умолкая. Морозов неохотно протянул руку к трубке.

— Да? — ответил он, прекрасно зная, о чем его хотят спросить...

— Переводчик Гельд говорит. Господин комендант спрашивает, почему отключен свет?!

— Передайте господину коменданту, что ничего страшного не произошло — сломался второй генератор. Приняты все меры, и после полуночи свет будет.

«А быстрее нельзя?» спрашивает господин комендант...

— Нельзя, — устало сказал Морозов.

— Господин комендант напоминает, что авария чревата серьезными последствиями. Он лично прибудет сейчас на станцию.

— Хорошо, я жду господина коменданта.

Положив трубку, Морозов уставился на график включения генераторов, думая сейчас совсем не о станции и

не о несущем ничего хорошего визите господина коменданта.

Тот ворвался в застекленный закуток начальника станции. Гельд едва поспевал за своим шефом.

— Вы, идиот, понимаете, что делаете? — заорал Шварцвальд. — Вас надо расстрелять!

— Может, хотя бы посмотрите, что случилось?! — спокойно сказал Морозов, вставая из-за стола навстречу гостю.

— Я, конечно, посмотрю, — остывая, но еще повышенным тоном продолжал Шварцвальд. — Но вам придется дать ответ господину оберштурмбаннфюреру Молю. Вы, кажется, с ним уже имели одну неприятную беседу за картами?! Думаю, эта будет хуже!

— Ладно, пойдемте в зал, я покажу, что случилось. А пока объясните, почему обыкновенная авария так вывела вас из себя?

— Вы действительно не знаете?

— Действительно.

— Только что начали передавать историческую речь фюрера, и вдруг отказала электростанция! Не кажется ли вам это подозрительным?!

— Я не знал, что выступает фюрер. В работе на благо рейха у меня хватает проблем с этими старыми машинами...

— Да, я знаю, как вы много работаете, но это вас не оправдывает! Не каждый день фюрер выступает с программной речью в канун взятия Москвы!

Они вошли в агрегатный зал. Шварцвальд потянул носом, ловя кисловатый запах оплавившегося металла. Бокруг основного генератора кипела работа. Перепуганный мастер, время от времени кланяясь в сторону, громче, чем следовало, отдавал команды.

— Сколько они будут работать?

— Это можно сказать, лишь точно установив размеры повреждений.

— Кто повредил?

— Я не точно выразился по-немецки. Наверно, следовало сказать «причины поломки».

— Хорошо, хорошо! И все-таки вам придется поехать со мной к оберштурмбаннфюреру и дать письменные объяснения. Я буду с вами и постараюсь смягчить его гнев.

Шварцвальд уже не тянул носом, а воротил его в сторону двери — запах явно раздражал коменданта. Он начал пятиться из зала.

— Прошу со мной, герр Морозоф!

— Придется оставить заместителя, чтобы он растянул ремонт суток на трое, и тогда нельзя будет послушать новую речь Гитлера уже после падения Москвы?!

Шварцвальд подозрительно взглянул на Морозова, пытаясь по виду определить, насколько тот серьезен.

— Ну и шуточки, герр Морозоф! Думаю, по вас давно плачет гестапо. Никак не могу в вас разобраться...

— А что разбираться?! Я привык оценивать людей не по словам, которые они произносят громко, а по делам, которые делают профессионально и спокойно.

Они вышли. Машина коменданта ждала внизу. За ней стоял грузовик, в кузове которого сидело с десятков солдат. Морозов усмехнулся.

— Не много ли для одного бедного начальника электростанции?!

Шварцвальд покраснел и отвернулся. Так молча они и въехали во двор бывшей гостиницы «Москва».

Старинная керосиновая лампа чадила нещадно, и Семен Семенович Черноморцев все никак не мог ее отрегулировать. Он периодически снимал стекло и резал ножницами фитиль, но, как только устанавливал стекло на место, чадный столбик дыма тянулся по-прежнему.

Пьяный Гельд тупым, бессмысленным взглядом смотрел на тщетные попытки «организовать» свет.

— Надо расстрелять начальника станции, — медленно, словно читая псалом, тянул Гельд. — И всех, кто там работает, тоже расстрелять! Это саботаж! Русские свиньи никогда не поймут, что значит новый немецкий порядок!

— Ну тише, тише! Хоть ты и Адольф, а полегче! Я ведь тоже русский и порядок этот понимаю! Но ведь комиссары все взорвали! Видел — собой рвали и станцию и завод! Нет их, слава богу, черт их подери! — сказал Черноморцев, разливая остатки из большой, непонятного назначения бутылки.

Он встал, подошел к окну, отдернул черную, словно закрывающую окно в фотолаборатории, занавеску и вы-

глянул на улицу. Сразу же успокоился — у подъезда, топчя дорожку в медленно падающем снежке, вышагивал, зябко стучая рукавицей об рукавицу, полицаи. Комендант настаивал на немецком патруле, но Семен Семенович счел, что негоже держать перед бургомистровским подъездом немца, отделяясь как бы от русских людей. Полицай — он все же свой, русский. И положить-ся на него можно, и спросить! А если что не так — и зуботычину вместо премии выдать. С немецкого солдата какой же спрос?!

Гельд уже почти лежал на столе, опрокинув миску с солеными огурцами, и пытался всучить огуречный пупырь маленькому паршивому псу, крутившемуся возле ножек стола.

Путая немецкие и русские слова, Гельд обращался в темноту комнаты, почти не глядя на собачку и Семена Семеновича.

— А это что за закуска бегаёт? Если тебя съесть?!

— Брось, Адольф, бога гневить! Какая это тебе закуска?! Тварь божья это! Тобик то есть! Тобик, Тобик! — позвал пьяным голосом Семен Семенович. Но Тобик на зов не пошел, а замер, наострив вывернутые уши, на почтительном расстоянии.

— Закуска, все закуска...

— Это уж точно, — внезапно согласился Черноморцев.

Он оглядел заставленный снедью стол, за которым могли бы славно попить десятка два хорошо тренированных собутыльника, а они вот так тоскливо, напившись по-свински, сидят одни. Ни спеть, ни поплясать!

Черноморцев жалобно вздохнул, вспомнив, как в давнем довоенном Чернигове задавал дома товарищеские ужины, когда дела на базе, которой заведовал, шли недурственно, а его за огромную растрату еще не посадили на десять лет. У него не осталось ни одного родственника или хотя бы близкого человека, если не считать сестры, уехавшей в 20-е годы куда-то в Канаду за лучшей жизнью. Признаваясь самому себе только по пьянке, Семен Семенович надеялся со временем послать к черту весь этот немецкий порядок и, заработав денег, махнуть к сестре. Но в Канаду приехать не бедным родственником, а самостоятельным деловым человеком.

— Да направь ты лампу или потуши ее к дьяволу! —

внезапно истерично завопил Гельд. — Тени какие-то по стенам бродят! Дышать невозможно! — Он судорожно расстегнул сюртук, и Семен Семенович увидел под сюртуком зеленую домашней вязки бабью кофту.

Черноморцев вздохнул и пошел к лампе.

— Нет! Тушить не надо! Пока свет не дадут — не туши! — Гельд шумно встал и, держась за спинку стула, начал раскачиваться, как на палубе. Тень от его тощей фигуры бегала по стене, прыгала на потолок, и весь огромный зал, в котором когда-то находилась приемная председателя горисполкома, снова наполнился духами. Семен Семенович испуганно отодвинулся от лампы.

— Пусть чадит, черт с ней! — Он трижды истово перекрестился. — Давай-ка лучше выпьем! Да поедим немного. А то чует мое сердце — не дожидаться света.

— Выпьем. — Гельд поднял граненый стакан и поднес ко рту.

Его петушиный кадык забился мелкой дрожью.

«Отравя ведь, — подумал Черноморцев. — И как только ее люди добрые пьют, проклятую!»

Он залпом осушил стакан и лихорадочно затыкал вилкой, пытаясь поймать твердый скользкий масленок, вертевшийся волчком.

Маскировочных халатов нашлось всего три. Один, рваный, с широким кровавым потеком на спине, был снят с убитого, а два лежали в доме Филина еще с довоенных времен. Отцу Глеба подарили халаты в воинской части, когда вместе с офицерами проводили облаву на волка. Однажды летом отец принес домой волчонка, и три дня, пока не убежал, волчонок сидел под кроватью, не прикасаясь к кускам, которые Глебка протягивал на палке.

Три халата пришлось сшить по образцу. И группа, намеченная на сегодняшнюю операцию, была полностью экипирована. Оружие спрятали в подводе, на которой должны были выехать в Знаменку на ремонтные работы, — Караваеву удалось раздобыть выгодный наряд, который мог служить хорошим прикрытием. Операцию разрабатывали долго и тщательно. Раненый лейтенант, скрывавшийся в доме Толмачева, уже полностью легализовался в городе, но оставаться по эту сторону фронта

не думал. Решил сразу же после Нового года уйти к своим. Но с одним он мириться не хотел никак — в лагере остался у него друг, который спас ему жизнь при выходе из окружения. Он был так слаб, что участвовать в побеге вместе с лейтенантом не смог, и теперь лейтенант настаивал на организации нового побега.

— И вообще с лагерем надо установить настоящую связь, — горячо говорил он, когда все собрались у Токина — Юрий, Толмачев, Караваев и лейтенант. Лейтенант рисовал перед ними картины, одна другой заманчивее. А поскольку их рисовал кадровый военный, они казались не только заманчивыми, но и близкими к осуществлению.

— Хватит топтаться на месте! Оружия у нас достаточно. А вот проникнуть в лагерь, вывести оттуда людей, вооружить их да двинуть к фронту — это настоящее дело!

— А то еще поднять восстание в лагере?! — подхватил Толмачев. Лейтенант хлопнул ладонью по самовару.

— Точно! Эта мысль мне по душе! Представляете: поднимаем целый лагерь! Создаем головной отряд, отбиваем оружие в войсковых частях, прихватываем, скажем, парочку танкистов — и вот тебе целый фронт в тылу!

— И всех быстро укокошат! — внезапно закончил все тот же Толмачев.

— А что же ты предлагаешь? — почти обиженно спросил лейтенант.

— Я не то чтоб предлагаю. Так. Для обсуждения...

— Ладно, — примирительно протянул Юрий. — Восстание — дело будущего. А вот в лагере своих людей иметь необходимо!

В дом поспешно вошел Филин. Он тяжело дышал, видно, всю дорогу до дома бежал, распахнув полушубок.

— Дело сделано! — еще от дверей крикнул он. — Паника на станции! Сам комендант приезжал с охраной! Кстати, твоего квартиранта арестовали...

— Как арестовали? — Странно, но Юрий испугался за Морозова.

— Очень просто, комендант кричал: «Саботаж! Морозов ответит в гестапо» — и уволок его с собой. Конфуз в том, что ток отключили, когда ихний Гитлер какую-то важную речь произносил...

— По поводу близкого падения Москвы, — вставил



Караваев. — Слышал, как два полиция разговаривали, когда я лошадь запрягал.

— А как сама операция?

— Шито-крыто! Комар носу не подточит! Парень оказался золотым! С головой. Ну да это рассказ долгий. Я к вам на минутку — комендант велел всем оставаться на электростанции, пока не будут устранены причины аварии. Кто уйдет — к стенке! Я-то не боюсь, да по глупости неохота! Пришел спросить, как быть.

— Это и к лучшему, что Филин не может! — сказал Караваев. — Лошадь не трактор: всех не утащит! Неизвестно, как освобожденных вывозить будем, сколько и в каком состоянии...

— Ну и ладно. Пошел, пока меня не хватились, — Филин запахнул полушубок и, нахлобучив шапку на уши, исчез за дверью.

Юрию же показалось, что Филин слишком быстро согласился с предложением Караваева, словно только и помышлял о том, как бы увильнуть от ночной операции.

По городу ехали тихо, а на дороге начали демонстративно шуметь. К мосту с охраной приблизились пьяной компанией. Часовой появился из темноты внезапно.

— Хальт, — неохотно произнес он и, держа автомат на изготовку, двинулся к саням.

Караваев встал навстречу и протянул наряд. Часовой зажег фонарик, и в его отблеске Юрий увидел, что будка у моста здорово утеплена, а у стены стоит второй часовой, направив автомат на подъехавшие сани.

Караваев тем временем спрятал документы в карман и достал из другого полбутылки самогона.

— Шнапс? — спросил он у часового. — Холодно. Кальт.

Тот согласно закивал головой и, взяв бутылку, понюхал. Потом протянул Караваеву на пробу, боясь подвоха. Тот, смеясь, глотнул столько, что фашист замахал руками и, закинув автомат на спину, отобрал бутылку. Он что-то крикнул в темноту. Из будки вышли три фрица. Весело гогоча, тут же пустили бутылку по рукам.

Дальше ехали молча. Юрия трясло не то от холода, не то от волнения. Раздетые морозами и ветрами, богато заваленные снегом, ночные колки леса казались одинаковыми. Каждый замечал то знакомую рощицу у дороги, то пару приметных берез, то вдаль «именно тот мысок».

В конце концов свернули с дороги правильно, хотя и не было такого ориентира, как зарево над лагерем.

Подойти к лагерю зимой оказалось труднее, чем тогда, осенью, при разведке. Лагерь открывался издали. Задолго до того, как подходившие видели темнеющие на синем ночном снегу строения, они сами как бы оказались на виду у всего лагеря. Но это ощущение было обманчивым, ибо все были одеты в белые халаты. Рваный, с убитого разведчика, достался Юрию, и он вспомнил о кровавом потеке.

«Двух в одном халате не убьют», — почему-то подумалось ему.

Идти было неудобно. Сыпучий, перемерзший снег оседал под ногой. Скрытый наст то проваливался, то держал ногу. Уже через триста метров Юрий почувствовал испарину на спине. Прикрываясь тенью от высокого берега, подошли к самой колючей проволоке. Из-за стен бараков слышалось глухое урчанье, будто мололи жернова ветряка. Изредка перекликались немецкие часовые. Сторожевая будка угадывалась справа метрах в ста.

Лейтенант снял автомат и передал его Юрию.

— Как условились. Пойду в лагерь я. Возьму с собой нож и пару гранат. Шухеру не поднимайте, даже если засыплюсь. Отходите тихо. Будто и не было вас, — прерывающимся голосом сказал лейтенант.

— Брось глупить! Мы тебя дождемся, — Юрий нащупал в темноте и сжал холодные пальцы лейтенанта, стиснувшие металл больших кусачек.

Лейтенант лег на снег и через мгновение пропал, как невидимка, на белом поле.

Мучительно прислушиваясь к отдаленному гулу, Юрий слышал несколько легких щелчков и понял, что лейтенант просек колючку. Стоя, прижавшись к откосу, Юрий ощущал справа плечо Толмачева, слева — спокойного Караваяева.

«Железные нервы у парня! А мне страшно, да вот еще и холодно!» — подумал Юрий. Взмокшая при ходьбе спина горела, будто голая, под проникающим откуда-то снизу, из-под полушубка, холодом.

«Хуже всего, когда приходится ждать, хуже всего, когда ты ничем не можешь помочь!»

Лейтенант тем временем, легко перекусив три нижних струны «колючки», как обучал тому солдат на учениях,

прополз на территорию лагеря. Огляделся. Последние двадцать метров до двери снег был тщательно притоптан. Ни одного бугра, за который удалось бы укрыться.

Лейтенант решился. Сняв халат, он встал во весь рост и двинулся к двери, словно имел на это полное право. Сторожевая вышка молчала. И он спокойно достиг двери, открыл ее, и в нос ударил густой запах пота, грязи и тепла. Только погрузившись в эту распаренную темноту, лейтенант понял, что главная задача еще впереди: надо найти Васюкова, и найти тихо, не привлекая внимания. Всякий мог попасться на пути...

Многоярусный барак гудел почти не умолкая. Между нарами сновали люди.

Лейтенант прошел весь барак, и никто не обратил на него внимания. Каждый был занят или собой, или решением каких-то общих малых проблем.

— Васюкова не видел? — наконец, не выдержав, спросил лейтенант безразличным голосом, словно хотел вернуть Васюкову только что взятый чинарик.

— Как же?! Тут и при свете ни черта не увидишь, а они вон еще экономить начали!

Лейтенант отошел, поняв, что от этого информатора ничего не добьешься. В это время рядом раздался тихий, но властный голос:

— А ты откуда такой любопытный?

Лейтенант прищурился, стараясь рассмотреть говорившего.

Черты лица в потемках различить было невозможно, но угадывались крупные скулы и высокий лоб.

— Из соседнего я... Новенький. Приятеля ишу.

Стоявший перед ним помедлил, как бы взвешивая сказанное лейтенантом. Но взвешивать было нечего, и, наверное, именно это спрашивающему понравилось. Он протянул руку и, мертвой хваткой взяв лейтенанта выше локтя, потянул в глубь барака. Они пробрались через боковой проход в маленький тамбурчик с заткнутым соломой окном, сквозь которую текли струйки холодного ночного воздуха. И было трудно понять, что хуже — смрадная ли духота или этот холод.

«Все-таки духота лучше», — успел подумать лейтенант перед тем, как две мощные фигуры приперли его к стене и голос ведущего тихо позвал:

— Леша. Гость к тебе.

Прямо с верхних нар свесилась чья-то голова и оказалась на уровне лица лейтенанта. И никакая темнота не могла помешать ему узнать это лицо.

— Лешка! — выдохнул он и, легко раздвинув плечами обоих стражей, потянул Васюкова вниз.

— Нет, нет! — глухо сказал тот, приблизив лицо к лицу так, что они почти касались носами. — Опять здесь?!

— Я за тобой...

— В соседний барак перейдем? — усмехнулся Лешка.

— Я из-за проволоки...

Лешка ощупал лейтенанта глазами и, повернувшись, сказал одному из парней:

— Петенька, посмотри, чтобы не было лишних.

— Есть, — ответил тот, и по голосу лейтенант узнал своего проводника.

— Садись и рассказывай, — сказал Лешка, сдерживая радость, и закашлялся. Он кашлял долго и надрывно. Лейтенант дождался конца приступа и спросил:

— Не полегчало?

— Как видишь... Да выкладывай же, черт! Не томи!

Лейтенант рассказал все по порядку, стараясь опускать детали, ибо двое сидели напротив и он не знал, кто они.

— Ты не стесняйся, тут свои, — сказал Лешка. — Петя, — опять позвал он, — кликни Батю.

Минут через пять рядом с лейтенантом опустился на нары невысокий мужчина и голосом, привыкшим повелевать, приказал:

— Ну, расскажите еще раз...

Лейтенанта взорвало.

— Хватит рассказов! Васюков все знает, а я вас, например, вижу в первый раз!

— Резонно. Полковник Аничков. Руководитель подпольной лагерной группы.

— Долго объяснять, — извиняющимся тоном произнес Васюков. — Полковник — командир, а я комиссар... Решать можем только вместе.

Лейтенанту ничего не оставалось, как вкратце повторить все, что он уже рассказал Алексею.

— Хорошо. И похоже на правду. Пять человек, говоришь, можете взять? И то дело. Пять человек на сво-

бодe — сила. Да если еще с оружием... А остальные двадцать шесть тысяч как?

— В лагере двадцать шесть тысяч? — не веря услышанному, переспросил лейтенант.

— Если не больше. Вчера под вечер новый эшелон пришел. Где-то севернее Москвы, говорят, большая мясорубка была.

— Поторопиться бы, — сказал лейтенант, — скоро уж и ток могут дать. Ребята обещали до пяти генератор не пускать, да больно рассвиrepели новые хозяева.

— Без света им боязно, — согласился полковник. — А темнота, значит, ваших рук дело? Ну так вы уже сила! — Полковник, видно, очень любил слово «сила» и произносил его особенно уважительно.

Они долго в присутствии лейтенанта, как колоду карт, тасовали какие-то ничего не говорившие ему фамилии, и он не выдержал, вмешался в разговор:

— Без Васюкова не уйду...

— Ладно, не бузи! Васюков пойдет обязательно, у него туберкулез...

— Я бы остался...

— Перестань, Леша. Глупости делать взрослым людям стыдно. Мертвый ты только немцам нужен. А там подкрепишься и за нами еще вернешься! Ты хорошо знаешь лагерь. Тебе, как лейтенанту, спрашивать ничего не надо.

Тут только лейтенант вспомнил, что с первым вопросом обратился к человеку с таким вот похожим голосом.

— Как выбираться-то будем? — спросил Васюков.

— Зови всех, кто пойдет, — сказал полковник Пете.

Когда группа собралась под васюковскими нарами, лейтенант подробно объяснил, как предполагается организовать уход за проволоку и что кому делать.

— Особенно осторожно надо проходить первые двадцать метров от двери. Я пойду первым. Следующий смотрит и идет, если все тихо.

— Петя, — сказал полковник. — Возьми пару человек и блокируй дверь. Незаметненько. Если начнут стрелять и кого-то завалят, надо постараться подтащить хотя бы к двери — потом объясним, что пошел до ветру.

Лейтенант перемахнул свои двадцать метров одним броском на авось. И удачно. Когда он с головой врезал-

ся в колючий снег у самой проволоки и, затаив дыхание, прислушался — над ним висела все та же ночная тишина. С разными перерывами трое, в том числе Васюков, легли рядом и быстро засыпались снежком.

«Каково им в одних куртках», — подумал лейтенант.

Но холод оказался не самым страшным. Четвертому не повезло: длинная автоматная очередь с вышки, о которой почти забыли, скосила его на полпути, и черным вороньим пятном остался он лежать на вытоптанном снегу под хороводом легкого крутящегося снега.

Лейтенант выбрался из сугроба и пополз к проходу. Дождлся, придерживая проволоку, всех, опасливо поглядывая назад. Но, сторожевая вышка больше не подавала никаких признаков жизни. Словно это так, шуточки ради, кто-то потешил себя шумной стрельбой.

— Надевайте, — Токин бросил маскировочные халаты стучащим зубами «пленным». — Хоть не греют, зато не видно!

Через минуту бесшумные белые тени вновь заскользили по старой, почти заметенной все усиливающимся снегом тропе. Когда сани, перегруженные людьми, потянули по дороге в сторону Старого Гужа и все вновь попрятали непонадобившееся оружие — обе гранаты лейтенант оставил полковнику, — только тогда спало напряжение.

— Снег-то какой! — сказал лейтенант, запахнув полый полушубка дрожащего Васюкова. — Так наметет, что не только следы, нас самих закрутит.

Когда подъезжали к городу, у моста уже горел прожектор, и повеселевший немец часовой, еще помнивший о самогонке, лишь приветливо помахал рукой. До дома Токина добрались без всяких приключений. Успех заставил забыть, что за окном, беленым новым расцветом, каждую минуту подстерегает опасность в захваченном врагом городе.

## **ДЕКАБРЬ. 1958 ГОД**

Суслик появился так неожиданно, что я растерялся и не сумел этого скрыть, чем доставил ему немалое удовольствие. Он постучал в дверь нашей ком-

паты в самый разгар ссоры с женой — видно, входную дверь ему открыла соседка — и, войдя в круг света, огляделся, будто решал: стоит ли снимать такую комнату или нет?!

Жена, так и не поняв, кто перед ней, оделась и, хлопнув дверью, ушла к подруге, бросив мне с порога: — Ребенка не разбудите...

Проводив ее оценивающим взглядом, Суслик качнул головой.

— Суровая женщина.

Раздевшись, он повесил пальто на вешалку, сел за стол и, обхватив голову своими восковыми ладошками, замер. Твердая рука этого человека чувствовалась во всем. Люди, с которыми я говорил, очень уж часто изъяснялись не своими, а его, сусликовскими, словами. Честно признаться, я не жаждал общения с Сизовым, странность фигуры которого все более отчетливо вырисовывалась даже в тех осторожных, правленных им самим рассказах живых свидетелей. Я дважды в письмах просил Алексея Никаноровича изложить подробности той или иной операции, но он отмалчивался, не выпуская из рук ни одной бумажки, которые были столь аккуратно подшиты в его папочке.

Он поднял голову и сказал:

— Уж извините меня, многоуважаемый Андрей Дмитриевич, что без приглашения. По старости хворать начал, да и хлеб насущный ой как много забот требует, а вот тут исключительно с оказией в столице появился. В Центральный Комитет партии зашел... — сказав это, он замер, как бы стараясь определить силу произведенного эффекта.

— И как успех? — улыбнулся я.

— Ваши-то поиски к чему привели? — улыбаясь в ответ, спросил он. — Говорят, вы и Нагибина видели?!

Своим поспешным, заданным как бы между прочим вопросом Суслик явно выдал себя.

«Ах вот ты почему появился?! Нагибин тебя волнует. Знаешь, что видел он в тебе не того, за кого хочешь себя выдать».

Я засмеялся, хотя было не до смеха, поскольку старался вспомнить, где и кому я мог проболтаться о встрече с Нагибиным, и какими путями эта информация дошла до Суслика.

Тот облизнул языком губы и вдруг как-то уж совсем по-приятельски сказал:

— Может, чайком побалуете? В Москве, честно говоря, и поесть не успел. Суетный город. Мокро, снега нет, будто и зимой не пахнет. Так, осенняя скукота.

Я пошел на кухню, взял перекипевший чайник, из холодильника вытащил все, что имелось: граммов триста ветчинной колбасы, масло, голландский сыр.

Суслик ел нежадно, осторожно, подбирая крошки, падавшие на скатерть с ломтей слегка подсохшего хлеба. Чаевничали молча. Лишь допив вторую чашку чая, Сизов сказал:

— Нежирно живете-то для правдоборца! Думал, только мы, люди простые, теснимся. А и вы, столичные журналисты, не сыром в масле катаетесь.

— Не сыром, — согласился я, — но признайтесь, Алексей Никанорович, что не забота о моем благополучии привела вас сюда.

— Солгал бы, став спорить... Однако человек человеку всегда сочувствовать обязан. А в вашей профессии это непременно просматриваться должно.

— Чем же я помогу вам, если вы мне помочь не хотите?

— Я вам все как на духу изложил. Только вам не нравится что-то. Свою правду найти хотите. А она одна — какая была, и ее не изменишь!

— Что уж точно, то точно: ищу свою правду! И почему-то верю, что она к истинной ближе, чем ваша, Алексей Никанорович.

— Слова все это, слова... А словам Москва не верит... Ну да ладно, к делу, — вдруг сухо заключил он. — 18 января исполняется шестнадцатая годовщина, как нашей организацией было намечено восстание в Старом Гуже. Акция серьезная, беспрецедентная по своему мужеству. Не наша вина, что она не состоялась. Причины вам известны лучше, чем мне, но необходима, — он подчеркнул это слово, — крайне необходима публикация в центральной печати. Конечно, спортивная газета не бог весть какой авторитетный орган, но доброе о людях, отдавших жизнь за свободу, сказать может и должна.

Я слушал Сизова и ловил себя на том, что давно



уже потерял способность отличать в его речи демагогические штампы от ханжеской лжи.

— Исключительно именем товарищей моих, расстрелянных гестаповцами, прошу вас рассказать о восстании. Меня не упоминать — не во мне дело. Не корысти ради я к вам с просьбой этой обращаюсь...

— Насчет корысти — это вы нехорошо, Алексей Никанорович. Нечестно. Ведь и вам, признайтесь, эта статья нужна?! Ведь вы же один из руководителей организации, следовательно...

— Андрей Дмитриевич, вы человек молодой, но такой подозрительный, словно жизнь ваша на мою походила по сложности. Будто только разочаровываться приходилось...

— Не в разочарованиях дело, Алексей Никанорович, в профессии. Журналистское дело — все проверить. И хотя неписанный закон газетной работы гласит, что хвалить можно не проверяя, а критиковать, лишь сто раз все взвесив, этот случай особый.

— Мудрено что-то. Не понял, к чему клоните.

Он встал и пошел к вешалке.

— Мне на поезд надо. Потом смотрю — боитесь вы, как бы старый хрен ночевать не остался.

— Гостям в моем доме всегда рады. Потесниться можно...

— Спасибо. Но я действительно на поезд.

Он взглянул на часы, полез во внутренний карман, сильно согнувшись — будто тот был бездонным, — и достал сложенный вчетверо листок. Развернул. Я увидел длинный список, отпечатанный через один интервал на портативной пишущей машинке с мелким шрифтом, отпечатанный аккуратно, с заглавными буквами. После каждой фамилии шло одно слово «расстрелян».

— Ищите, копайте! Всегда приветствовать вашу правду буду, если она истинной окажется. Но именем расстрелянных прошу, — еще раз повторил он, и голос его так дрогнул, что, пожалуй, впервые я поверил в искренность его слов. Может, и не поверил, просто мне хотелось в это поверить.

Проводив Сизова до лестничной площадки, сказал прощаясь:

— Признаюсь, и мне кажется, что самое время кое-что о ребятах написать...

— Исключительно зрело, — сказал он и ушел, даже не подав руки.

Я взял со стола оставленный им листок. Слово «расстрелян» смотрело на меня, будто отпечатанное иной краской или оттиснутое на бумаге выпуклыми буквами. Фамилии как бы уходили на второй план, становясь приложением к слову «расстрелян». И смысл его так не вязался с картиной мирно спавшей дочери...

Я дежурил «свежей головой» по номеру в маленькой типографской комнатке, увешанной пробными полосами, когда внезапно вошел Петр Николаевич. Он сел напротив меня, расстегнул пиджак и, мучимый одышкой, спросил:

— Как?

— Нормально, — столь же коротко ответил я.

Маленькие глазки шефа за вспотевшими стеклами очков лишь угадывались, полное лицо и шея покраснели. Был он такой кругленький, такой весь завершенный. Когда снимал очки, чтобы протереть их, походил на слепого кутенка, внезапно попавшего в незнакомую обстановку.

Шеф молча взял подложенную мной полосу и принялся читать. Набросав красным карандашом лихих вопросов и размашистых замечаний, сказал:

— Звонили тут из ЦК. Интересовались старогужским делом. Рекомендовали изложить печатно...

— Написать — немного мудрости надо. А вот потом...

— Раз товарищи поддерживают, — он показал пальцем в потолок, — можно и рискнуть. Не все в жизни по полочкам разложено...

Он аккуратно мелкими буквами вывел в углу газетного листа свою фамилию и сказал:

— Возьми денька два и к воскресному номеру выдай очеркишко. Запустим сначала пробную, частную, что ли, штучку. А там, судя по реакции, может, и серьезную кампанию раскрутим. Полосы повнимательнее вычитывай — запятых много пропущено! Эти мне корректорши — им бы все о прическах да о модах судачить!

Он ушел, оставив в комнате легкий запах хмельного и еще более возросшее сомнение.

«И впрямь, почему бы не выступить, скажем, с очерком о Токине? Дело явное. Сизова-то, конечно, обойти надо. Но если Токин явное, то почему же неявное — сама организация?»

Ни завтра, ни послезавтра я не написал ни строки. Событие, заставившее меня забыть о старогужских делах, лет пять назад привело бы в неописуемый восторг. Но сегодня лишь погрузило в необходимую деловую суету, и не больше. Жена реагировала иначе: своя двухкомнатная, хотя и крохотная, — едва больше двадцати метров, — квартира доставляла ей почти болезненную радость. Давно я уже не видел ее такой. Еще бы, мы столько лет прожили, мотаясь по частным квартирам и отказывая себе во многом.

Выяснилось, что у нас, кроме кое-какого хлама, разбросанного по знакомым, ничего нет. И перед нами стала дилемма: покупать ли первое необходимое или залезть в долги и поставить приличную мебель?! Жена была за постепенность. Но я с тоской представил себе жизнь в пустой квартире и твердо решил сразу же заставить комнаты полированными ящиками и к этому вопросу больше не возвращаться. Поначалу, чтобы поддержать видимость согласия с женой, я добыл в комиссионном магазине двуспальный пружинный матрас и прибил к нему чурбаки-ножки. Это была блаженная ночь! Жена, свернув калачиком свое сильное тело и привычно подкатившись под бок, что-то бормотала, пока сон не сморил нас, усталых и, как мне показалось, даже счастливых. А на завтра, одолжив денег, я привез роскошный гарнитур, который заполнил все наши маленькие комнаты. Стало тесно и уютно. И тогда я взглянул на календарь — было тридцатое декабря 1958 года.

Новый год мы собирались встречать своей компанией в Доме журналистов. Но когда я принес билеты, выяснилось, что жене нечего надеть. И от этой мысли настроение ее стало падать, как ртуть в стряхиваемом термометре. Она металась от ванной к дочкиной постели, от кухни к уюту, и мне казалось, что эти никому не нужные сборы никогда не кончатся. Потом она легла вздремнуть, чтобы иметь именно тот цвет лица, который ей нужен.

Я решил спуститься в подъезд и из автомата позвонить на работу, чтобы поздравить неудачников дежурных с праздником, который им предстоит встретить на работе. Но главное, хотел позвонить, ибо один из дежурных был не кто иной, как Вадька.

— Старик, — сказал он, приняв мои соболезнования. — Тебя здесь ждет человек.

— Какой человек? — спросил я, предчувствуя новогодний розыгрыш.

— Передаю ему трубку.

После минутного молчания раздалось хриплое покашливание человека, малопривычного к телефонным разговорам.

— Андрей Дмитриевич? Малофеев это, Василий Григорьевич.

Ни имя, ни фамилия мне ничего не говорили. Почувствовав мое замешательство, он добавил:

— Я от Черняевой Генриэтты. Она очень просила меня до вас добраться.

— С Новым годом вас, Василий Григорьевич, — сказал я, мучительно думая, как же поступить дальше. — Надолго в Москву?

— Завтра утром в шесть пятнадцать улетаю.

Думать было печего. Я понял, что это именно тот человек, о котором говорила Генриэтта, обещая помочь в моем розыске.

— Новый год где собираетесь отмечать?

— У знакомых. Где остановился.

— Подождите в редакции, я сейчас подъеду.

Я вернулся в квартиру. Обе женщины — и большая и крохотная — спали одинаково крепко, и только подобно сторожевому псу стучал большой синий будильник, нацеленный на одиннадцать вечера: время прихода тещи и нашего ухода.

Я набросал записку.

«Срочно вызвали в редакцию. Добирайся в Дом журналистов сама. Буду ждать там. Целую».

И ринулся в метро.

Малофеев оказался мрачным неразговорчивым мужиком, смотревшим на редакционную суету со смешанным чувством: с одной стороны — уважительно, с другой — как на детскую несерьезность.

Мы забились в один из свободных кабинетов. И на-

чалась мука — выжать информацию из человека, который не привык и не умеет рассказывать, невыносимо трудно.

После беседы, от которой взмок Василий Григорьевич, я, шагая вприпрыжку к станции метро, мог суммировать то, что принесла мне эта встреча.

Генриэтта сдержала слово. Она нашла еще одного свидетеля старогужского дела, свидетеля в фактическом и юридическом смысле этого слова. Василий Григорьевич фигурировал в деле о предательстве организации как свидетель. Никаких обвинений в его адрес не было выдвинуто, и он спокойно жил в двадцати верстах от Старого Гужа, до чего я, даже перевернув весь город вверх дном, мог бы никогда и не докопаться.

Итак, он шел свидетелем, а знал до обидного мало. Он видел в доме Токина, заглянув случайно, радиоустановку, но только с принимающей частью, которую хозяин не собирался регистрировать, а потом заявил, что она испортилась. Малофеев был арестован гитлеровцами за неправильно сделанную проводку в офицерской столовой — работал электромонтером при горпромхозе. День просидел в камере вместе с Володей Купреевым, контролером на электростанции. Тот рассказал, что у них была организация, но кто-то предал, и вот теперь допрашивают. Пока ни до чего докопаться не могут и, наверно, скоро выпустят. Говорят, ребят на допросах били, но Купресева пока не трогали, как и сидевшего в их камере Сизова. Сизов молчал, только охал и причитал, что сидят невиновные люди и должны же разобратся. Но быстро разобрались лишь с Малофеевым — сгорела проводка в большом гараже, и его прямо из камеры отправили на работу, поняв, что причина пожара в столовой — не саботаж, а лишь некачественные провода, подпорченные машинным маслом.

Сказать что-либо о том, как вели себя на допросах арестованные, Малофеев не мог, ибо остальное знал, как и все, по слухам. Но одну интересную, весьма интересную деталь сообщил. В тот день, когда его прямо из камеры отправили на работу, он возвращался домой почти в полночь и на улице столкнулся с Сизовым. Они почти не разговаривали. Он, Малофеев, только спросил, всех ли выпустили, на что Сизов ответил — нет, только человек пять, а остальных держат. Потом,

когда пришли наши и стали расследовать причины массового расстрела молодежи, Малофееву показалось странным, что Сизов упорно называл дату выхода из тюрьмы на две недели позже, чем они встретились в тот вечер на улице.

Меня это мало удивило. Я печенкой чувствовал, что Сизов человек темный, но, увы, печенка плохой аргумент в таком сложном споре, когда дело идет о чести, а может быть, и о жизни людей.

Еще Малофеев упомянул о каком-то чистильщике сапог с угла Красноармейской и Советской, которого якобы долго и настоятельно разыскивали фашисты, считая советским разведчиком, заброшенным через линию фронта.

Я расстался с Малофеевым и посмотрел на часы — времени оставалось в обрез. Самый верный способ добраться до места в новогоднюю московскую ночь — пеший. Я пришел без пяти минут двенадцать, когда за столом поднимали тост за уходящий год. Запыхавшись, я сел и увидел, что рядом Оксанки не было, и теперь уже она вряд ли придет. Ее-то характер я знал достаточно хорошо.

Очерк читали, и он понравился всем, кроме ответственного секретаря. Да еще не было известно мнение шефа. Уже неделю рукопись лежала у него на столе без движения. При встречах шеф ласково спрашивал о делах, но о самом главном молчал. Значит, считал я, у него есть на то свои причины.

Замечания ответственного секретаря были расплывчаты. Но за расплывчатостью замечаний угадывалось скептическое отношение как к материалу, так и к самой теме. За последний год он не раз, при случае и без оно-го, проходил по моей, как выражался, «натпинкертоновщине», совершенно бесплодной для газеты.

Вызов на очередную планерку поначалу показался мне случайностью. Вопрос решался за вопросом, обо мне совершенно забыли, и я сидел злой, не понимая, кому понадобился такой глупый розыгрыш именно в тот день, когда у меня накопился полный стол почты. Но прежде чем закончить совещание, редактор неожиданно поставил все на свои места.

— И еще один вопрос. Наш специальный корреспондент товарищ Сергеев написал очерк о молодых подпольщиках из Старого Гужа. Мы его читали... — когда главный редактор начинал употреблять множественную форму местоимений при решении судьбы материала, это почти всегда не предвещало ничего хорошего, но я все равно был рад — теперь хотя бы появится ясность. — Есть разные мнения, но я бы прежде хотел предоставить слово Юрию Владимировичу. — Он сделал жест рукой, как бы приглашая ответственного секретаря на ковер.

Тот встал и, проведя рукой по глубоким залысинам, сказал, не глядя на меня:

— Товарищ Сергеев ввел редакцию в заблуждение... Мы посылали его материал на консультацию в Старогужский обком партии и выяснили резко отрицательное отношение как к самому материалу, так и к действиям товарища Сергеева в Старом Гуже. Он не считал нужным не только нас поставить в известность об истинном положении дел, но и пренебрег мнением областной партийной организации...

Он начал читать полученное из Старого Гужа письмо, но для меня мог этого уже не делать, я знал не только, что там написано, но и кто его написал: Романдин Федор Петрович, заместитель заведующего отделом обкома партии, человек пожилой, с первых же слов нашей беседы занявший совершенно непримиримую позицию по отношению к каким-либо поискам.

Я надолго запомнил его слова:

— Молодой человек, нет нужды повторять ошибки, которые уже были однажды сделаны и за которые товарищи понесли вполне заслуженное и достойное наказание. Не может быть там дыма, где не было огня...

Я тогда еще что-то возразил скаламбурив:

— Как раз огня-то в то время было больше чем достаточно...

Но он пропустил мою реплику мимо ушей и продолжал:

— Вы обижаете всю область, считая, что нам не хочется иметь у себя молодых героев-земляков, на примере которых мы могли бы воспитывать нынешнюю молодежь.. — Он говорил медленно, словно роняя крупинцы золота в морскую бездну.

Тогда сгоряча я наговорил ему немало обидных, несправедливых, как многое, сказанное в запальчивости, слов. Он выслушал их с удивительным спокойствием и вновь повторил свое:

— Считаю нецелесообразным начинать делать то, что однажды уже отняло столько времени и показало ложность слухов, на которых вы базируете свои благие порывы. А что касается меня, по вашему мнению, человека консервативного, то я, и никто иной, будучи инструктором обкома партии, получил в свое время нагоняй, и еще какой, за поддержку «правдоисканий» товарища Сизова...

— Но ведь Сизов еще не вся организация. Он человек себе на уме...

— Да уж меньше Золотой Звезды Героя Советского Союза и брать не хотел на первых порах. Потом, правда, соглашался и на прибавку к пенсии...

Мы разошлись с Ромадиным, весьма недовольные друг другом. Пришлось идти к секретарю по пропаганде. Человек внимательный и рассудительный, секретарь сказал, что было бы очень хорошо доказать наличие организации, но по тому, насколько он знаком с материалами, не видит возможности это сделать, пока не найдется уважаемого свидетеля, рассказавшего правду... А мертвых не вернешь... Оставшиеся — слишком заинтересованные лица. Да и ведут себя некоторые так, что дискредитируют прекрасную идею народной борьбы...

— А что касается Ромадина, — секретарь обкома посмотрел на меня изучающе, словно убеждаясь, что смогу оценить искренность его слов, — то заместителя заведующего отделом понять можно. Он много сил положил на это подполье, пытаясь помочь распутать дело. Ему в свое время крепко попало за инициативу. И кроме того, Сизов задергал. По судам его затаскал. Завалил критическими письмами все инстанции. Ромадин устал оправдываться, а обком — отвечать в инстанции. Тем более что все усилия оказались напрасными. Помогите, мы вам будем только благодарны...

— Что вы скажете, товарищ Сергеев? — Я не сразу расслышал вопрос редактора, а когда встал, почувствовал, что большинство членов редколлегии не на моей стороне. Юрий Владимирович сидел, откинувшись на спинку кресла, с видом римского триумфатора.



— Письмо подписано человеком, которому совершенно наплевать на то, будет ли поставлен памятник старогужским ребятам...

Мне не дали закончить.

Наш секретарь партийной организации, заведующий отделом публицистики, бросил:

— Выбирали бы, Сергеев, выражения, когда говорите о работниках обкома партии...

Я завелся, сорвался и наговорил столько глупостей, что, когда выходил с планерки, даже мои самые близкие приятели только качали головами, а редактор проводил меня недобрým взглядом.

Рукопись я забрал. И первый экземпляр, который чистеньким вернулся от главного редактора, и второй — весь исчерканный цветными карандашами в далеком Старом Гуже и переданный мне горячо любимым ответственным секретарем.

Я был зол на весь мир. Мне казалось, что кругом только несправедливость. Еще бы, я геройски воюю за правду. Не ради себя — ради других, чья светлая память должна быть свята для современников. И ничего, кроме неприятностей, не выпадает на мою долю.

На глазах будто дьявольские очки — все вокруг видится в черном цвете. Я клял на чем стоит свет и свою жизнь, и свою профессию. Был бы инженером, отработал от сих до сих, сделал что положено — и гуляй. А в профессии журналиста нет этого времени, которое называют свободным. Нельзя выдернуть вилку из розетки и отключиться — где бы ты ни был, что бы ни делал, а процесс осмысления ли, сочинения ли будущего материала идет бесконечно. То, что завтра ляжет на бумагу, ты собираешь сегодня, вылавливаешь из повседневности, ищешь в событиях, которые, кажется, не имеют никакого отношения к тому, над чем работаешь.

Журналистика — это не профессия, это образ жизни. И не каждому он под силу. Конечно, иногда в терзаниях своих я упирался — нелегко признаваться даже себе в ошибках, убеждал себя, что не все так плохо, что я слишком многое взвалил на себя. Взять Вадьку — отмолотил свои двести строк в номер, и царствуй, лежа на боку. Что ему Старый Гуж, что ему картина расстрела на Коломенском кладбище. Он не видит, как я,

на поле то Токина, то Кармина, то Глебку Филина, ему не чудится в броске вместо нынешнего вратаря сборной страны Сашка Толмачев!

Копаясь в своем прошлом, я многие мелкие неурядицы так густо мазал дегтем, что мой жизненный след мне казался темным, будто свежая борозда под плугом на осенней пахоте. Но, как только я доходил в своих терзаниях до Старого Гужа, сомнения мои притуплялись, беды начинали казаться все мельче и мельче, а обиды ничтожнее. Наверно, именно в те дни родилась и со временем окрепла у меня привычка сверять свои дела с делами старогужских ребят. Ну что такое завернутый редактором материал, даже если ты написал его кровью сердца, по сравнению с неизбежностью смотреть в черные зрачки автоматов за мгновение до того, как тебя не станет?! Что такое семейные ссоры — милые бранятся, только тешатся — по сравнению с тем, что обрывается жизнь так рано, когда столько трав еще не истоптано, столько зорь не встречено?!

Так Старогужье стало моей совестью...

## ЯНВАРЬ. 1942 ГОД

После аварии на станции и двухчасового ареста, закончившегося предупреждением начальника полиции, что впредь с него, Морозова, спрос будет еще более строгий, Сергей Викторович стал бывать дома чаще. Видеться с ним Токину не особенно хотелось, и он под удобным предлогом участия в вечеринках не ночевал дома.

Катюша, жившая у Генриэтты в боковом, хотя и холодном, но отдельном флигеле, была действительной причиной многих отлучек Юрия из дому. Чувство симпатии, родившееся на первой вечеринке, переросло в нечто большее. Юрия захлестывало бесконечной нежностью к Катюшке. Когда целовал розовые мочки ее ушей и терся щекой о шелковистую щеку, он забывал, что застрял в оккупированном городе, что взвалил на себя ответственность за судьбы стольких людей, втянутых в организацию. Как Юрию казалось, он сделал уже немало для того, чтобы иметь право честно смотреть в лица товарищей, которые придут назад, сюда,

в родной Старый Гуж, в красноармейской форме. Придут рано или поздно...

Лежа на узкой старушечьей кровати, тесно прижавшись друг к другу, они больше говорили о будущем и редко о том, что делается сейчас.

Катюша работала в администрации бургомистра и, когда требовалось, делала едва ли не самое ценное — доставала бланки необходимых документов. С ее помощью легализировались все ушедшие из лагеря. Но у Васюкова внезапно открылось такое обильное кровотечение, что Токин и лейтенант растерялись. Когда с большим трудом удалось отыскать скрывавшегося у дальних родственников врача-еврея, было поздно. Хоронили Васюкова на Коломенском кладбище, с трудом расковыряв под снегом верхний слой смерзшейся глины. Потом, правда, пошел песок, он поддавался легко, и могила получилась глубокая и покойная.

Едва ли, сколько Токин себя помнил, выпадало у него в жизни время, более насыщенное делами, чем это. Это были особенные дни, полные борьбы на грани смертельного риска, еще, может быть, и не осознаваемого до конца. Но он был счастлив, счастлив потому, что рядом была Катюша.

В минуты, когда они уставали от любви, она затихала. Юрий чувствовал, что Катя лежит с открытыми глазами, устремленными в потолок, и ждал вопроса. Разговор всегда начинала она, и первые звуки ее голоса служили камертоном, на котором настраивалась вся беседа.

— Юр, а Юр? — Она клала голову ему на грудь. — Тебе не стыдно в такие минуты? Мы здесь вдвоем, а где-то умирают люди, замерзают в снегу. Это плохое счастье, когда оно за счет других...

— Оставь, Катюша! Мы любим друг друга, а любовь никогда не была постыдной. Потом, я думаю, мы здесь приносим пользу не меньшую, чем любой солдат. И у нас еще столько времени... Мы еще столько сделаем! Ты видела, как отнеслись к нашим листовкам люди?! Казалось, весь город проснулся разом: «Победа! Победа под Москвой!»

— Недаром мой начальник ходил зеленым, а полицейские скоблили заборы, срывая листовки. Такая весть им как нож острый в горло!

— Конечно, там громят их хозяев, а они здесь с полицейскими повязками. Что будет с ними, если фронт покатится на Запад!

— Странная штука жизни! — после минутного молчания сказала Катюша. — Надо было начаться этой страшной войне, надо было мне попасть в тот застрявший поезд, надо было, наконец, добраться именно до незнакомого мне Старого Гужа, чтобы встретиться с тобой. Порой мне очень страшно. Я боюсь не за себя, не за тебя — мне страшно за нас обоих...

— Глупышка! Все будет отлично. Ты не должна терзать себя страхами...

— Знаешь, мне кажется, полиция что-то замышляет. В городе говорят о подполье.

— Еще бы! Эти листовки о победе под Москвой — лучшее доказательство!

— Я слышала, как Черноморцев собирался организовать серьезные «осмотры», как он выразился, домов подозреваемых.

— Он не сказал, кого подозревает?

— Нет. Он говорил с шефом полиции очень загадочно, полунамеками, с недоговорками. Потом вообще выставил меня из комнаты. Я не слышала конца разговора.

— Катюша, это очень важно узнать.

— Хорошо, милый, хорошо. Я буду сама слух!

Она повернулась к нему и провела тыльной стороной ладони по его щеке. Легкий шорох был единственным звуком в этой темной, отторгнутой от всего мира камерке, где двое могли найти приют на ночь, которая обязательно сменится днем, несущим неведомое.

Господин Черноморцев размахнулся на славу. В силу привычки подготовку к встрече Нового года новой жизни начал он со стола. Направил по деревням летучий отряд из пяти саней, и полицейские стащили все, что только могли собрать. Черноморцев лично украшал огромную елку игрушками. Подаренный Шварцвальдом сверкающий шпиль в виде ажурного католического креста крепить оказалось некуда.

«И к лучшему, — подумал Черноморцев, — все-таки крест басурманский. У них свой бог — у нас свой».

Он долго потел, составляя список приглашенных.

Немцы прибыть отказались, сославшись на то, что должны присутствовать на офицерском праздновании. Пришли только Гельд, Краузе с завода, Морозов да свои полицей.

По правую руку от бургомистра оказался Морозов, весь вечер мрачно пивший. Никакие комплименты Черноморцева, кивавшего головой на яркую хрустальную люстру, — дескать, твое хозяйство работает, — не могли вывести его из меланхолического состояния. Вскоре на Морозова перестали обращать внимание, поскольку тосты следовали за тостами. Черноморцев, как радужный хозяин, давал слово всем и наконец поднялся сам.

— Сейчас, когда над Россией идет первая ночь года обновления, я хочу выпить, господа, выпить за великий русский народ!

Не дожидаясь, когда это сделают вставшие за столом — только изрядно подвыпивший Гельд демонстративно остался сидеть, — бургомистр опрокинул в рот стакан и, не закусывая, громко дохнул:

— Уф, уф!

Все одобрительно загалдели. Тост понравился. Начали пить за русскую зиму, за природу, коей нет равных, за душу русского работного человека, сотворившего страну. Кто-то из напившихся вусмерть полицей, не в силах произнести связный тост, визгливо выкрикнул:

— За царя-батюшку!

Гуляли почти до рассвета, пока очумевший от выпитого Гельд не поджег махровую, с кистями скатерть. Тушили всем, что попадалось под руку: огуречным рассолом, ломтями соленой капусты... А безумно хохотавший Гельд кидался с зажигалкой то к шторе, то к елке. Его с трудом удерживали от безумства, но он вырывался и поджег бы дом, если бы Морозов, оказавшийся самым трезвым во всей компании, легким, хорошо тренированным ударом не сбил ефрейтора с ног. Перепуганный Черноморцев замахал руками, но Морозов успокоил:

— По пьянке не разберется, что случилось. А синяк спишем на случайное падение.

У Гельда из носа потекла кровь, он захныкал, но, когда его положили на диван, удовлетворенно затих.

К столу больше не садились. Налив по стакану, выпили на посшок и разошлись.

Морозов тяжело брел домой. Его слегка пошатывало, но он осторожно озирался по сторонам, замечая все, что могло быть опасным. Ощущение опасности — почти столь же природный талант, как и хороший музыкальный слух. А последние дни он ощущал ее близость. Не все ладилось на электростанции, да и другие дела вызывали тревогу. Он поймал себя на том, что слишком поздно заметил слежку, неловкую, непрофессиональную и поэтому еще более обидную.

Обметая веником валенки у крыльца своего дома, подумал, что ему придется сидеть одному весь остаток ночи — Токин наверняка ушел встречать Новый год куда-то к приятелям. Две тени скользнули вдоль забора в соседний сад, когда он начал греметь замком. В дом входил аккуратно, каждую минуту готовый к любой неожиданности. Но комнаты оказались пустыми. Морозов, не раздеваясь, завалился на постель. Он долго прислушивался к тишине. Ему хотелось, чтобы поскорее вернулся Юрий. Он был нужен ему. Но Юрий не шел. Морозов уснул, так и не дождавшись Токина.

Утром, через пятнадцать минут после прихода на работу Сергея Викторовича, машинный зал сотряс взрыв, от которого захолонуло сердце. Когда он ворвался в полный порохового чада зал, увидел лежавшего ничком старого мастера и развороченный взрывом опорный блок основной турбины. Из лопнувших трубок еще под давлением хлестало горячее масло, и змеистые струи пара сквозь все расширявшиеся трещины приводов заполняли зал белым туманом.

«Сейчас взорвется котел, и тогда все!» — Морозов ринулся в котельную, но легкое содрогание пола показало, что опоздал, — котельная была полна обжигающего свистящего пара.

«Надо обязательно добраться до тайника!» Решение ясно, но как выполнить его? Морозов сорвал пиджак и, накинув на лицо, ринулся в белое облако. Он очнулся лежащим на полу небольшой комнаты, в которой не было ничего, кроме кучи хлама в углу. Грубо сваренная из двадцатимиллиметрового прута решетка схватывала не заложенную кирпичом половину окна. Лицо нестерпимо горело, дышать становилось нечем, руки он

не мог поднять — они были как два огромных доходящих до сердца волдыря.

«Все, это конец!» — подумал Морозов и потерял сознание.

Токин подошел к дому почти одновременно с двумя машинами — легковой и грузовой. Когда он взялся за ручку калитки, машины затормозили, и из кузова высыпали солдаты.

Прежде, чем Юрий решил, что ему делать, они оцепили дом. Юрий повернулся спиной к забору. Из легковой машины вышли Шварцвальд, переводчик Гельд и тот высокий полный офицер, приезжавший на завод после памятного гранатного взрыва.

— А, господин хозяин! Вот мы и встретились вновь. — Гельд сказал что-то высокому офицеру. Юрий понял только одно слово «футбол». Офицер выслушал не останавливаясь. — Открывайте, открывайте, — Гельд улыбался лисьей улыбкой, в которой сквозила затаенная возможность сделать со своей жертвой все, что угодно.

В сопровождении солдат прошли в дом. Юрий остался стоять у стены большой комнаты, когда Гельд спросил:

— Где жил ваш квартирант?

Токин показал.

— Вы знаете его вещи?

— Чемоданчик у него. В шкафу тоже его вещи. — Он подумал, надо ли говорить про книги, но Гельд уже начал перекладывать их одну за другой и, видно, не найдя ничего интересного, оставил на месте. Все вещи сложили и, подозревав солдата, заставили сунуть в большой брезентовый мешок, который солдат и унес.

Офицер что-то сказал, продолжая осматривать комнату.

— Господин оберштурмбаннфюрер спрашивает, кто приходил к вашему квартиранту?

— Несколько раз господин бургомистр, вот господин комендант, — краем глаза Юрий заметил, что Шварцвальд недовольно поджал губы. — А так больше никто. Сам Морозов редко ночевал дома, чаще на станции.

Гельд перевел. Оберштурмбаннфюрер кивнул, как бы соглашаясь со сказанным.

— А вы хорошо знаете вашего квартиранта?

— Почти никак. Мы мало виделись: то я на работе, то он.

— Как Морозов попал к вам на квартиру?

— Его направил заместитель господина бургомистра...

Офицер опять кивнул.

Они пошли к двери.

— А что с господином Морозовым, если не секрет? — спросил Юрий, провожая гостей до двери.

— Для вас не секрет, — улыбнулся Гельд. — Вы освобождены от своего квартиранта. Он расстрелян... — Офицер сказал ему что-то резкое, и Гельд сразу же умолк, кинув косой взгляд на Юрия. — Но советую пока держать язык за зубами. И тщательно выбирать себе квартирантов, если не хотите разделить участь Морозова.

«Гельд уже второй раз грозит мне. Третьего раза не миновать!»

Юрий смотрел в окно, как тяжело разворачивались на заснеженной улице машины.

Где-то в глубине души Юрию было жалко Морозова. Жалко, наверное, потому, что виновником непосредственной смерти Сергея Викторовича стал он, Токин. Он знал о готовящемся взрыве и был против — считал электростанцию отличным прикрытием лучших боевых групп. Но Филин был непреклонен, и Юрию не хватило твердости настоять на своем.

«Так дальше продолжаться не может, — думал Токин, глядя на пустынную улицу. — Необходимо единоначалие, иначе анархия задушит все. Пора собирать штаб и поставить этот вопрос ребром. Будут, конечно, и обиды. Но для общей же пользы надо решать».

Юрий был уверен, что незамедлительно последуют репрессии, но не думал, что обернется таким трагическим образом для Морозова. Он предполагал, что все закончится так же, как в прошлый раз. Арестуют, подержат-подержат и выпустят.

Взрыв оказался эффективным. Электростанция долго работала вполсилы, оставляя в часы «пик» под напряжением лишь сеть, обслуживающую объекты первой



необходимости. Пять дней простоял хлебозавод, пока оккупантам удалось кое-как наладить выпечку хлеба.

На следующий день после взрыва немцы отобрали троих заложников. Гельд объявил работавшим на станции, что, если она еще хоть раз перестанет давать ток или саботажники нанесут ей малейший ущерб, все трое заложников будут расстреляны так же, как Морозов.

Фашисты, видно, решили на расстреле Морозова набрать побольше козырей. Во всяком случае, они широко оповестили о казни, развесив броские плакаты почти на каждом углу. В них сообщалось, что саботажник Морозов расстрелян за халатность, благодаря которой и не был подан ток на хлебозавод, а это, в свою очередь, привело к затруднению с питанием населения и частей немецкой армии. Об истинной причине аварии немцы не сообщали, хотя было ясно, что такой взрыв не объяснишь случайностью. Но у них, видимо, сложилось впечатление, что главным саботажником был старый мастер, труп которого нашли тут же, возле выведенной из строя турбины. Среди россыпи осколков турбинных лопаток им не удалось обнаружить гнутый, опаленный сбодок корпуса противотанковой мины, иначе расстрелянным бы оказался не один только Морозов...

«Итак, решено, десятым будет Караваев».

Юрий чертил на листке схему связей организации и прикидывал, кому следует быть на сегодняшнем совещании. Все, кроме Караваева, знали о собрании. Его же должен был позвать сам Токин.

«Караваев, конечно, парень чужой, но трезвомыслящий. Он один поддержал меня, когда я был против взрыва. Да и во время операции в лагере показал себя неплохо. Думаю, ему можно поручить сбор информации...»

Юрий накрыл стол как бы для вечеринки — поставил бутыл с остатками самогона, принес миску солевой, головками, капусты, и полдюжины моченых яблок. Хлеб в связи с нерегулярной работой хлебозавода стоил так дорого, что положенной ему зарплаты едва бы хватило на буханку, покупай он ее с рук.

«Обойдемся. Для прикрытия и такой стол сойдет. Надо обсудить четыре вопроса. Да еще поговорить о переходе за линию фронта. Лагерники уже бунтуют —

рвутся в дело. Надо решить, кого с ними из наших отправить».

Собрались вовремя. Заштормили окна и для верности придавили подушками, чтобы ничего нельзя было подсмотреть. Свет убавили до минимума — можно было только различать лица.

— Начнем. Есть предложение без протокола — лишние бумаги нам ни к чему! Хотелось бы предупредить, что все сказанное здесь должно остаться между нами... — Голос Юрия дрожал от волнения. Он понимал, что ребята признавали его вожаком в первую очередь потому, что сказывался авторитет футбольного капитана. Но достаточно ли это? — Я взял на себя инициативу собрать штаб нашей организации в предлагаемом составе. Если есть дополнительные предложения, прошу вносить. — Юрий вел заседание штаба, как комсомольское собрание. — Как показал опыт январских событий на электростанции, самое страшное, что может быть в подпольной организации, — анархия. Нужна единая власть, единоначалие, как в армии.

— Я целиком за, — охотно подал голос лейтенант.

— А если будут другие мнения, чем у начальника, как быть? Ведь он не только своей головой рискует, — сказал Толмачев.

Филин вмешался:

— Понесла метелица! При чем здесь голова?! Просто решения бывают правильные, если они обсуждаются большинством. Мы знаем Токина как капитана команды, знаем, что он умеет ладить с людьми, и я предлагаю избрать его руководителем организации, действия которого будет контролировать наш штаб.

Филин подался в сторону Токина, чтобы как-то смягчить концовку своего предложения. Поддержали нестройным шумом. Токину показалось, что только Караваев промолчал.

— И все-таки, — упрямо повторил Токин, — если считаете возможным избрать меня, прошу принять мою оговорку — в спорных вопросах последнее слово за руководителем!

— Да что, тебе власти мало?! Не в словах дело, в самих делах, — запротестовал Филин.

— И в словах тоже! — резко возразил Токин.

— Юрий прав, — примирительно протянул лейте-

нант, — единоначалие необходимо. Пусть последнее слово остается за ним.

— Есть предложение — голосовать? — спросил Юрий.

— А как же! — Кармин даже привстал. — Все должно быть честь по чести. Настанет день — за каждый наш шаг придется держать ответ перед страной. Чему-то она нас учила...

Проголосовали за Токина единогласно. Токин перешел к следующему вопросу.

— Мы провели переучет того, что собрано. Я имею в виду оружие. На сегодняшний день арсенал составляет сорок два автомата, семьдесят винтовок, триста гранат противопехотных и двадцать шесть противотанковых, более трех тысяч, точно не установлено, патронов и один пулемет.

По комнате прошло возбуждение.

— Пулемет удалось добыть Караваеву.

— Мо-ло-дец! — восхищенно протянул лейтенант. — Какой? «Дегтярь»?

— Бери выше — «максимка»! И в отличном состоянии.

— Боезапас поступает в распоряжение лейтенанта, которого предлагаю избрать военкомом...

— Нет, парни, увольте. — Лейтенанта словно подкинуло пружиной. — Пока я тут, помогу как могу. Но мне нужно уходить туда. Думаю, там я буду полезней.

— Когда еще уйдешь...

— И это надо решить сегодня, — подхватил Юрий. — Ребята готовы. С каждым днем возрастает риск: начались серьезные облавы с участием полиции. Господин оберштурмбаннфюрер решил наконец доказать, что не зря ест хлеб. Кстати, думаю, у меня собираться дальше опасно — за Морозовым слишком дымный хвост. Вдруг что-нибудь понадобится по старому делу — и влипнем.

Токина поддержали, и Кармин предложил:

— Давайте впредь у меня. Улочка тихая. Ход к реке есть. Всегда концы в воду можно...

— Холодная вода-то больно.

— К лету нагреется.

— Хватит зубоскалить, есть еще вопрос. Как говорят наши «освободители», саботаж. Предлагаю строго

регламентировать всякую инициативу: чтобы нелепостью какой не вывести на провал. Саботаж должен быть тонким: то ли саботаж, то ли просто условия работы... Электростанцию пока не трогать. Жалко арестованных ребят. Obersturmbannführer свою угрозу выполнит не задумываясь. До Морозова он все-таки добрался, хотя работал мой бывший квартирант не за страх, а за совесть.

— Принято, — заключил Филин. — И давай к главному — к моему предложению насчет вооруженного восстания.

— Эка хватил, — присвистнул лейтенант. — Имеешь в виду лагерь?

— Нет, — в тон ему протянул Филин. — Имею в виду Старый Гуж.

— А дальше что будет? Поднимем народ, власть, скажем, захватим, а потом двинутся регулярные части и передавят нас, как котят.

— Подгадать надо, когда наши приближаться будут. Представляете: гитлеровцы через Старый Гуж драпают, а тут мы сидим и, здрасте вам, строчим из каждого окна так, что серые трупики уже и убирать некому.

Заспорили, перебивая друг друга. Юрий сидел, слушая и не слушая споривших. Для него было ясно, что восстание в городе дело несерьезное.

«Говорят о восстании, как о футбольном матче: если этим составом отыграем по пестовскому плану и выдержим темп, обязательно выиграем! В спорте на нашей стороне был опыт. И наш и пестовский. И многое зависело от самих себя. Не заболеть, не расслабиться... А в борьбе, перед лицом которой оказались так внезапно, такими неподготовленными, слишком многое зависит от случайностей».

Токин смотрел на своих друзей, так повзрослевших за последние месяцы, но сквозь взрослость нет-нет да и прорывалось бывшее ребячество. К стыду своему, он, руководитель, не находил в себе сил противиться многому, что, интуицией ощущал, к добру не приведет. «Как найти то главное, ради чего стоит работать, а если требуется, и отдать жизнь...»

— А еще, — Филин понизил голос почти до трагического шепота. — Охранник на электростанции трепанул, будто Гитлер по фронтам ездит, и ждут, что по дороге к

Москве он в Старом Гуже остановится. Дескать, сам решил разобраться, почему его генералы до сих пор Москву взять не могут.

— Брехня все это, — возразил лейтенант, — Чего ему по фронтам мотаться, генералов, что ли, мало?!

— А вдруг не брехня? Представляешь, лейтенант, если мы фюрера, когда он мимо проезжать будет, ухлопаем, а?! Тут и войне конец!

— Как в сказочке: иголку сломал — и смерть Кошьева наступила? — ухмыльнулся лейтенант. — Их там, этих фюреров, как собак на свалке. Другой на смену придет...

— Жизни бы своей не пощадил, — даже при блеклом свете было видно, как горят глаза Филина, — а удавил бы этого гада! Может, на всякий случай разработать операцию по встрече Адольфа, как смотрите?!

— Будет вам глупостями заниматься! — оборвал Токин. — Сейчас надо решать с переходом через линию фронта. Предлагаю в первых числах февраля. Как завьюжит. Надо приготовить лыжи. Халаты есть, оружие не проблема. Считаю возможным послать проводником Трушина. Федор — парень охотничий, область знает, как свой курятник, в двух соснах не заплутается. И еще хотел бы просить лейтенанта не уходить — нам без него будет трудно.

— Парни, увольте! Не могу больше! Душа горит — никакого огнетушителя не хватает, чтобы затушить! Видеть не могу эти рожи, слышать речь не могу, а после смерти Лешки и подавно. Чувствую — сорвусь. И так набедокурю, что под монастырь подведу всю организацию.

— Ишь какой непримиримый, — с ехидством сказал Кармин. — А нам их рыла, значит, пирожного слаще?!

Юрий не дал разгореться зарождавшейся ссоре.

— Всем тошно. Ты не прав, Саша. Лейтенант хлебнул лагерной жизни... А это не каждому пережить дано. Смотри, лейтенант, как знаешь, так и поступай. Мы же уходить из города будем только в крайнем случае. Надеюсь, до этого не дойдет, — улыбаясь, закончил Токин.

Донесение

Согласно сведениям, переданным маршевым агентом, резидент «216» при попытке взорвать электростанцию в Старом Гуже был раскрыт, арестован и расстрелян полевой жандармерией. Причины провала выяснить не удалось. Известно лишь, что в результате частичного взрыва выведена из строя основная турбина, благодаря чему была прервана подача энергии и не работали многие промышленные и военные объекты 83-й пехотной дивизии, расположенной во втором эшелоне фронта на территории Старогужской области. Вышедшие из города показывают, что на улицах были расклеены объявления о расстреле «216» по обвинению в саботаже. По последним донесениям «216» ничего не предвещало такого исхода. Наоборот, сведения были, как всегда, точны, и операция «Электростанция», одобренная Центром, подготовкой завершена. Весь запас необходимой взрывчатки, согласно сообщениям «216», к месту доставлен. Почему взрыв оказался частичным — установить трудно. Целесообразно направить в Старый Гуж нового человека. По слухам, в городе действуют еще неизвестные нам патриотические силы. Маршевый агент, передавший сведения о «216», при обратном переходе линии фронта был смертельно ранен и скончался раньше, чем смог сообщить какие-либо дополнительные сведения.

Считаю необходимым представить «216» и маршевого агента к награждению орденами посмертно.

Начальник оперативной группы «три»  
капитан Сорокин.

21 января 1942 года.

**ЯНВАРЬ. 1959 ГОД**

Я только отправил материал в набор, когда раздался телефонный звонок. Голос показался на редкость знакомым, но я не мог вспомнить, кому он принадлежит. А звонивший спросил:

— Как живется?

— Спасибо, стараюсь... — неопределенно ответил я, мучительно пытаюсь представить лицо человека, находящегося на другом конце провода.

Говоривший легко угадал мое состояние.

— Ну что, Джек Лондон, терзаетесь в догадках? С такой памятью на голоса только и распутывать старогужское дело...

Вторую фразу он мог уже не произносить — достаточно было Джека Лондона. Так меня называл только один человек — Дмитрий Алексеевич Нагибин.

— Дмитрий Алексеевич! Где вы? Откуда? Какими судьбами?

— Тихо, тихо, не спешите. Так сразу на все вопросы не ответишь, — засмеялся Нагибин. — А я тут, в Москве. Хотелось бы увидеться, если у вас есть время.

— Есть время?! — хмыкнул я. — Хоть сейчас!

— Давайте сейчас.

— Вы где?

— У Юрия Долгорукого. Время к обеду, быть может, и посидим в «Арагви»?

— Не смею отказаться.

— Сколько времени требуется Джеку Лондону на сборы?

— Голому собраться — только подпоясаться! Через пятнадцать минут буду у основателя Москвы.

Выскочив из машины почти на ходу — остановка в этом месте была запрещена, — я начал искать глазами знакомое лицо. Мне навстречу, улыбаясь, шел коренастый полковник, и это был он, Дмитрий Алексеевич Нагибин. Я широко развел руками, стараясь одновременно и выразить свое изумление, и сердечно обнять. Отстранившись, я не удержался от восклицания:

— Как понять, товарищ фельдмаршал?

— А так и понимать. За парадность прошу простить — был у начальства по случаю представления в звание и возвращения в органы.

— Значит, все обошлось?

— Скорее, пережилось. Впрочем, соловья баснями не кормят. А я голоден. Честно говоря, был бы рад с вами немножко выпить. Потом на работу?

Ресторан, как обычно в обеденные часы, был переполнен.

— Ну, рассказывайте, как живете, как поиск и как пишется книга, — когда официант отошел, спросил Нагибин и забросил в рот очередную «казбечину».

— Плохо. Как говорит Суслик, «исключительно плохо»!

— Кто такой Суслик?

— Наш общий знакомый — Сизов Алексей Никанорович.

— Поздравляю, Андрей! Точнее не скажешь. — Нагибин от души рассмеялся: — Суслик, да и только! Сразу весь облик его вспоминается.

Дмитрий Алексеевич сделал жест языком, как бы облизывая губы — ну точь-в-точь Суслик. Мы оба рассмеялись.

— А плохо-то почему?

— Дмитрий Алексеевич, дорогой, газета вообще молотилка, а спортивная и того хуже. Если ты ошибешься на два миллиона рублей, рассказывая о проектной смете новой гидростанции, никто, кроме начальника строительства, и слова не скажет, а вот, поди, одну десятую секунду не тому засчитай — сотни писем! В спорте, как и в литературе, понимают все! — Я махнул рукой. Нагибин успокоил:

— Бросьте, Андрей. Все идет прекрасно. Квартиру получили?

— Уже знаете?

— Привыкаю к старой службе. Она у нас на информации зиждется.

— Как же случилось, что вы опять в органах?

— Так и случилось. Из запаса вызвали, наговорили кучу комплиментов об опыте, заслугах... Будто их не было, когда шел другой разговор — крутой и несправедливый. Ну да кто старое помянет — тому глаз вон!

— Когда уезжаете в Таллин?

— Не уезжаю вообще. Остаюсь работать в центральном аппарате.

— Прекрасно! — не удержался я от восклицания.

— Я бы сказал, интересно, — сдержанно поправил Нагибин.

— А у меня плохо, ой как плохо! — опять заныл я. — Ничего не успеваю, мелкая суета затирает, и нет времени заняться Старогужьем всерьез. Кстати, хорошо, что мы с вами увиделись, — я завтра на пять дней уез-



жаю с хоккейной командой в Австрию, а потом в Прагу...

— Наслышаны, — улыбнулся Нагибин.

— Ну, Дмитрий Алексеевич, тогда что же вы меня спрашиваете? Может быть, вам уже известно и кто предал старогужское подполье?

— Пока нет, — слегка нажал на слово «пока». — Но у меня есть согласие руководства помочь вам разобраться в этом деле.

— Помочь мне! — хмыкнул я. — Это я должен помочь вам.

— Не будем считать, Джек Лондон, свои же люди...

Мы проговорили три часа. Записав рабочий телефон Нагибина, я вернулся в редакцию в отличном настроении. Вадька сразу же мне его испортил.

— Шеф свирепствует. В сданном тобой материале нашел фактологическую и грамматическую ошибки. Сказал, что подарит тебе ко дню рождения учебник русского языка.

— А фактологическая какая?

— Не помню. Мелочь. Ты же знаешь его память.

— Нашел — и славно! Он ведь тоже за что-нибудь деньги получает.

Я сел к столу и выволок из нижнего ящика кипы пришедших самотеком материалов, плохих и непрофессиональных, до которых по этой самой причине руки не доходили. Принялся их разбирать, но работать не хотелось. Сказав Вадьке, что у меня болит голова, я собрался домой.

— Надо закусывать лучше, — бросил мне в спину Вадька. — И не забудь про шефа!

Но я был уверен, что второй раз сегодня шеф обо мне не спросит: инструкцию на поездку я уже получил, паспорт и деньги лежали в кармане, а билет будет у начальника команды, и я возьму его прямо в Шереметьевском аэропорту.

## ФЕВРАЛЬ. 1942 ГОД

Последние три дня подготовки к переходу линии фронта пришлось особенно повозиться. Выяснилось, что лыжи, на которые рассчитывали, оказались непри-

годными. Добыв, наконец, лыжи, стали забрасывать оружие, одежду и продовольствие в деревню Карцево к тетке Трушина, ибо уходить прямо из города было рискованно.

Лейтенант возглавил группу и проявил максимум оперативности, но собрались все равно с опозданием на сутки.

Тетка Трушина предложила для укрытия просторный, но давно не отремонтированный коровник, сквозь щели которого, казалось, дули все ветры мира.

За сутки лишнего ожидания умяли добрую часть съестного, приготовленного в дорогу. Но порешили, чтобы не тратить время на пополнение запасов, уменьшить дневной рацион, но переход не откладывать.

Одевались в потемках. Трушинская тетка голосила, провожая племянша. Но тот на все предложения остаться отмалчивался, упрямо прилаживая свой сидор.

Ночь для выхода была отменной: снежной и ветреной. Когда выстроились цепочкой на огородных задах, под ветлами, задул попутный ветер, и мелкая пороша тут же кутала следы. Опасаться неприятной погони не приходилось, да к тому же отпадало беспокойство за тетку Трушина, почему лыжня ведет от ее лабаза.

Поначалу шли споро, но чувствовалась неравномерная подготовка. У Поливанова то и дело спадали крепления, и тогда группа застывала в молчании, а лейтенант, замыкавший цепочку, чертыхаясь вполголоса, копался в сыпучем снегу и морозил руки, пытаясь помочь закрепить неудачнику лыжи.

Старую черную гать, где до войны Федор частенько бывал по весне на глухаринном току, прошли часа за два.

— Близкой дороги не чую... — сказал Трушин.

— Как можно чують дорогу? — спросил лейтенант, поднося ко рту комок снега и стараясь заставить себя не глотать его, а топить, чтобы талой водой утолить жажду.

— По звуку — скрипеть должна. И пахнуть человеческой, пометом конским. Ветерок в лицо — обязательно шум или запах за версту принесет. А за спиной ничего не было.

— Мы не сбились? Ты уверен?

— Не должны, — скорее из скромности, чем из чувства неуверенности, сказал Трушин.

Светало медленно. Словно неохотно, с болью, отдавало небо свет этой погруженной в холодную тьму земле. Снег из бело-серого стал синеватым, потом на востоке подернулся легким розовым налетом, а когда взошло солнце и чистое небо разверзлось над головой, снег заискрился, засверкал тысячами отдельных огоньков. Трушин привстал и долго смотрел назад.

— Добрый был пометок. Если специально не приглядываться, не догадаешься, что лыжня. А дорога — вон она, — он показал лейтенанту вправо, и они увидели далеко, словно в другом мире, игрушечный обоз из трех саней, тянувшийся от деревни, которая угадывалась за леском по белым столбам дыма.

— К морозу дымы, к бесснежью. Плохо, — заметил Федор.

Подводы тихо проплыли вдаль и исчезли за видневшейся километрах в пяти черной полосой леса. Впрочем, лейтенанту только показалось, что обоз проплыл, — просто лошади, и сани, и люди, сидевшие в них, растаяли в солнечном многоликом белом море.

Обедали, естественно, всухомятку. Лейтенант видел, что ели больше дозволенного, но, понимая, что первый день самый трудный, как бы ни были трудны последующие, промолчал. Сам он лишь пожевал краюху черного домашнего хлеба и задремал. Трушин тут же его разбудил.

— Эй, лейтенант, спать в снегу — на тот свет собираться!

— Я не сплю. Так, дремота.

Когда вечер стал со звенящей в ушах тишиной опускаться на землю, Трушин поднял людей.

— Не рано?

— Пока разомнемся, пока до дороги дойдем — стемнеет. А сумерками нам, в халатах, только лечь — и сгнули. Лес дальше хорош. Километров пятьдесят тянется. С отцом раньше никогда его насквозь пройти не могли — вечно по краям брали. Предлагаю до полуночи идти, а потом ночевку устроить. С огнем. Следующим днем по лесу и засветло идти можно, коль езженую лесную дорогу пересекать не придется.

Ночевали у большого костра, разведенного Труши-

ным в глубокой балке. Лейтенант недоверчиво посматривал на щедрые языки пламени, тянувшиеся к мохнатым лапам елей, но Трушин успокаивал:

— Здесь, внизу, не видно. Как за стеной. А столб над головой на глаз не определишь где. Если только сверху засекут... Погода не та, чтобы метить...

У костра парило. Горячий чай из топленого снега, собственно, не чай, а узвар из сушеной черники с пряным, горчащим привкусом листы, перехватывал дыхание. Сразу забылись трудности тяжелого марша. Сытно поели. Трушин сварил из сала и пшена кулеш в двух больших котелках, сделанных из немецких противогозов, и начал, как нянька, укладывать разгулявшихся мужиков.

— А ты? — спросил лейтенант.

— Я за огнем послежу. Привык спать сидя. Вполглаза.

— Давай сначала я, а потом подменишь...

— Ложись, лейтенант! Я человек охотный! Да и спортом к таким делам подготовленный. Тебе же сила еще понадобится. Кроме треска костра, звуков не слышно... Далече фронт...

— Может, затишье? — с надеждой спросил лейтенант.

— Поживем — увидим, — опять уклонившись от четкого ответа, сказал Трушин.

Ночь прошла спокойно. Сборы в потемках, когда основательно продрогли на лапнике у затухающего костра, спросонья показались не столь приятными, как вчерашний полночный ужин. Да еще лейтенант заставил тщательно убрать следы ночевки, чем вызвал одобрение Трушина.

Снег в лесу хотя и был глубоким, но однородным. Шли быстро и ровно. С дорогой не повезло. На нее наткнулись часа через два после рассвета. Хорошо накатанное полотно со свежими следами гусениц и резных баллонов убеждало, что тракт достаточно шумный.

Трушин, сняв шапку-ушанку, долго прислушивался к разным звукам, по-лосяному крутя головой.

— Пойдешь, лейтенант, первым. За тобой все. Я замкну.

Он достал тесак и сделал из елового лапника густой веник. Когда отряд уже стоял в невысоком, но гус-

том ельнике на той стороне дороги, лейтенант понял назначение веника. Трушин шел медленно, затирая за собой следы. Особенно долго мел дорогу, которую перешел без лыж, в валенках. Едва он закончил свою работу и все облегченно вздохнули, послышался гул идущих машин.

— Кажется, пронесло...

Часа через два, обогнув небольшую лесную деревеньку, будто вымерзшую под снегом, по долгому косоугору скатились к реке. Вдоль высокого правого берега дошли до новой деревеньки, и тут Трушин понял, что сбился с пути: лес уходил вправо сизой дугой, и миновать деревню можно было только по речке. Обрыв кончился. Идти предстояло без всякого прикрытия.

— Что делать, лейтенант? — спросил Федор. — Ждать темноты или рискнем?

— Деревня вроде пустая. Может, попробуем? Уж больно нелепо здесь торчать.

Пошли гуськом.

Крайние дома молча проводили восьмерку слепыми глазницами окон. Когда, успокоенные, поднялись на пригорок, что примыкал к дальней околице, громко ударил пулемет. Белые фонтанчики взбитого снега заплясали вокруг. Федор рванул с плеча автомат, но в грудь что-то толкнуло не больно, но так, что сразу обмякли руки, и он, тяжело осев, повалился на спину. Федор увидел, как попадали парни. Услышал, как поливановский автомат хлестнул двумя очередями и смолк. Федор приложился к цевью и, преодолевая боль, тоже дал несколько очередей. Ему казалось, что стрелял вечность, то утыкаясь лицом в снег, то поднимая голову. Потом пулемет, бывший из крайней полуразваленной хаты, смолк, и Федор припал горячечной щекой к жгучему снегу, стараясь по звукам определить, что происходит вокруг. Внезапно тень накрыла его. Он обернулся и увидел четырех фашистов, направивших на него автоматы. Федор хотел крикнуть, выдернуть руку с приготовленной гранатой, но вторая рука утонула в снегу, и тяжелый удар обрушился на затылок.

Очнулся Федор от ощущения, что плывет по теплой, спокойной реке. Открыл глаза. Комната ходила ходунком. Потом все медленно встало на свои места, и он увидел, что лежит возле стола в жарко натопленной

избе. То, что ему вначале показалось солнцем, оказалось всего лишь керосиновой лампой. Два огромных столба — вовсе не столбы, а лишь две ноги стоявшего над ним солдата. Река — не река — солдат лил на него из ведра холодную, со льдом, воду. Увидев, что Федор пришел в себя, он подхватил его под мышки и поставил на ноги. Федора шатало. Он стоял босой, в одном исподнем, мокрым от крови и воды. Поднял руку и потрогал затылок. Будто молния в миллионы вольт ударила в мозг. Он бы, наверно, упал, но солдат, стоявший рядом, подпер его коленом. Обернувшись, Федор увидел, что в таком же виде стоит, прижимая левую руку к груди, Поливанов. Из носа у него беспрерывно идет кровь, а левый глаз заплыл, будто прикрыт темной нащепкой.

До сознания медленно дошли слова:

— Итак, бандюга, куда путь держал?

Из-за стола поднялся заросший щетиной полицай, в серой, с закатанными рукавами, рубашке, взмокшей на груди. За ним виднелись лица двух тихо переговаривавшихся между собой немецких офицеров. Справа, в дверях соседней комнаты, виднелось еще несколько гитлеровцев.

Федор молчал.

— Будешь отвечать, харя твоя босяцкая, или мало тебя били?! — заорал полицейский.

— В другую деревню шли. Голодно дома...

— Голодно?! — ухмыльнулся полицейский. — Вы что — сговорились?!

Он хотел ударить Федора своим пудовым кулачищем, но сидевший за столом гестаповец сказал по-русски:

— Оставь его. Это есть, наверно, правда!

— Так и я вам говорю, правда, — подхватил полицейский. — Разведчиков точно четверо было. У них не халаты, а белые костюмы: портки да рубаха.

— Гут. Будем ждать твоих разведчиков.

— А с этими что делать? Ведь врут бандиты, с оружием шли.

Вместо ответа офицер щелкнул двумя пальцами.

Из избы Федор вышел, будто пьяный. Но морозный воздух мгновенно отрезвил. Снег под голыми ступнями ожег. Через несколько шагов они потеряли всякую чув-

ствительность. Их втроем — откуда взялся третий и кто он, Федор в сумерках не разглядел — провели поперек просторного двора и начали выстраивать у стены. Федор все не мог встать половчее — мешал какой-то круглый предмет. Посмотрев под ноги, он различил припорошенное снегом, без обуви, но еще в маскировочном халате тело лейтенанта. Остальные трупы утопали в сугробе, наметенном под стену.

Федор хотел сосчитать, сколько их, чтобы представить себе, ушел ли кто, но на крыльце появился офицер, говоривший по-русски, и сказал:

— Давай быстрее! Ночной стрельбой испугаешь разведчиков. А закопать можно и завтра.

— Слушаюсь, — сказал полицейский и, сорвав автомат, попятился назад, чтобы увеличить дистанцию. Натолкнулся на уже стоявших за его спиной немцев. Посторонился. Последнее, что помнил Федор, — солдаты стояли не строем, а какой-то веселой кучкой, и поднятые автоматы заплясали в их руках.

Приближался праздник — День Красной Армии, который давно уже считался праздником чисто мужским. Тогда, еще мирными днями, мужчины ходили в этот праздник как именинники независимо от того, довелось ли им брать в руки оружие, или всю жизнь занимались гражданскими профессиями. Что говорить, даже мальчишки, сколько помнил Юрий, чувствовали себя в этот день героями.

На заседании штаба решили обязательно отметить праздничный день. Но вот уже двое суток Юрий, неизвестно где простудившийся, лежал с температурой за сорок. Катюшка моталась от кухни к его постели, накладывая на разгоряченный лоб тяжелые валки мокрых полотенец.

Юрий бредил. Когда приходил в себя, Катюшка, чтобы как-то развлечь больного, пересказывала, о чем он бормотал в бреду. Юрий жалко улыбался в ответ, сжимал слабыми пальцами ее руку, не имея сил выразить свою признательность как-то иначе. Потом Катюшка поднимала его голову и вливала в рот щедрые глотки остуженной кипяченой воды. Он глотал через силу. Тон-

кие струйки стекали по щекам, текли за ворот нижней рубахи, а Катюша приговаривала:

— Ну, миленький, ну, пей же! Тебе пить надо, много пить! Чтобы жар вымыть...

Он плохо помнил, что происходило в эти дни. Появлялись какие-то люди, о чем-то спрашивали, что-то с ним делали. Когда он после первой спокойно проведенной ночи открыл глаза, увидел осунувшееся лицо Кати, сидевшей рядом, и Кармина, тяжело облокотившегося на сомкнутые кисти рук.

— Уж не меня ли отпевать собрались? — тихо спросил он.

Катюша встрепенулась.

Кармин хотел что-то сказать, но Катюша замахала на него руками.

— Не бабье это дело — в мужские дела вмешиваться.

Как ни плохо чувствовал себя Юрий после воспаления легких — диагноз он установил себе сам, — он решительно кивнул:

— Что случилось? Рассказывай.

— Ты только лежи и не дергайся. Тебе сейчас покой да покой нужен. А дело дрянь, — безо всякого смягчающего перехода сказал Кармин, — ребята с лейтенантом далеко не ушли...

Юрий сделал попытку привстать, но Катюша, не обращая внимания на присутствие Кармина, прикрикнула:

— Поднимешься еще раз, выгоню Сашку!

— Хорошо, подчиняюсь насилью, — мрачно сказал Юрий и, обращаясь к Кармину: — А ты рассказывай.

— Известно пока мало. Как-то вечером на грузовике привезли семь трупов. Петр, готовивший лыжи, сразу же узнал лейтенанта, потом опознали Поливанова и остальных. Труп Федора не оказалось. Да и по счету, действительно, кого-то не хватает. Немцы выгрузили трупы возле котельной и заставили кочегаров сжигать.

— Зачем?

— А черт их знает? Видно, лень копать могилы. Зима все-таки. Пока яму выдолбишь, сам богу душу отдашь.

— Как выглядели ребята?

— По-разному. Двое раздеты. Ну, валенки, конечно, со всех стащили. Остальные в одежде. Один даже в бе-



лом халате. Петр толком разобрать не успел. Ибо первые два трупа, которые сунули в топку, немцев перепугали — в карманах убитых рванули патроны. Фрицы начали ругаться, а потом перебросали оставшиеся трупы назад, в машину, и увезли. Но, как показалось Петру, часть ребят погибла в бою, а двое явно расстреляны. В лейтенанте, говорит он, по крайней мере, с десятка пуль сидит. В груди дырка. Наверно, гады, в упор добивали...

— Где же Федор? — тихо спросил Юрий, еще толком не воспринимая, что это провал операции, на которую возлагал много надежд. Во-первых, установление связи с частями Красной Армии. Лейтенант, как договорились, обещал рассказать нашим обо всем, что они сделали, что замышляют... Лейтенант являлся гарантией признания организации, ее самым главным свидетелем. И вот никаких гарантий... Нет и самого свидетеля...

Но Юрия больше всего сейчас волновала судьба Трушина.

— Я тоже о нем думаю, — с нескрываемой тревогой в голосе сказал Кармин. — Хорошо, если ушел, а если попался?

— Федор не из податливых. С характером парень.

— Судишь по терпению, с каким столько лет сидел на скамейке запасных? В руках гестапо не отсидишься.

— Хочется верить, что он ушел. Жалко парня.

— Парня жалко, но, наверно, стоит подумать и о других, — Кармин произнес вслух то, о чем каждый думал про себя.

— Предполагаешь худшее?

— А почему бы нет?! Если от Федора добьются признания, в Старом Гуже тоже загремят выстрелы.

— Логично. Может, всех выудить и не удастся, но зацепят многих. Нужно собирать штаб!

— Штаб я бы собирать не стал — не стоит поднимать паники. А кое с кем бы поговорил.

— Мне кажется, ребята должны знать об опасности. Я бы объявил готовность номер один, и при первой же тревоге все, кто знал, как готовилась группа перехода, должны исчезнуть.

— Если цепочка начнет разматываться с Федора, то он знал не только готовивших переход.

— Давай так и порешим. Связь друг с другом на

время прервать, общаться только через Карно. К Бонифацию, как к богу, обращаются все, и проследить, чей веник по чьей спине пляшет, даже богу не удастся...

— А ведь мы, между прочим, на случай провала ничего не придумали, — растерянно сказал Кармин.

Они с час пытались разработать наиболее скрытные и быстрые способы связи друг с другом, от пятерки к пятерке. Схема не клеилась. Юрию опять стало хуже, и разговор решили перенести на вечер.

Когда остались одни, Катюша, глядя по волосам Юрия, спросила:

— Опасное что-нибудь?

— Как сказать... Если Федор не ушел, то может быть плохо.

— Что ребята погибли, я слышала. Правда, хорошо знала одного лейтенанта. Славный парень...

Она встала, подошла к окну, светившему слишком ярко — за ним разгорался солнечный зимний день, — и завесила его покрывалом. Сразу перестало мучительно резать глаза. Катюша отправилась на кухню готовить завтрак, а Юрий, только лежа в одиночестве, понял, сколь трудным будет ожидание опасности.

«Как долго протянется неизвестность? День, неделю, месяц? Вряд ли фрицы, выжав из Федора имена, повремят с арестами. Побоятся. Недельку последят и начнут хватать. Как первого возьмут, надо без промедления остальных спасать. А если игру затеят? Как котят водить за нос начнут? Мы что-то делать будем, а они все время рядом, все знать, все видеть! А потом...» Воображение нагнетало страсти.

Но сколько Юрий ни думал, лежа в темной тиши комнаты, ничего нового придумать не мог. Наконец, он заснул. И увидел во сне широкое, широкое поле. До самого горизонта ни кустика, ни лесочка. И не понять — то ли зимнее поле, то ли летнее. Если судить по тому, что он совершенно голый и ему не холодно, скорее летнее. Со всех сторон двигаются на него маленькие, маленькие точки. Кольцо сжимается бесконечно долго, как может сжиматься только в кошмарном сне. И он, голый, мечется по ровному, как стол, полю. И некуда спрятаться. А точки растут. И вот он уже видит, что это солдаты в фашистской форме. Идут с одинаково закатанными рукавами, сунув пилотки под левый погон. И ав-

томаты в руках одинаковые, и, что самое страшное, одинаковые лица — того рыжего немца, которого он последний раз видел перед яркой вспышкой связки гранат...

Неделя прошла тихо. Город будто вымер. Юрий поправлялся быстро. Катюша совсем переселилась к нему. Спала в морозовской комнате, считая, что спать вместе на узкой кровати неудобно, а Юрию надо высыпаться как следует. Как-то заглянул старший Архаров, заявив, что пришел с совершенно официальным визитом, проверить, почему не является на работу Юрий Токин.

— Никак опять саботаж учуяли? — спросил Юрий.

— Саботаж не саботаж, а Черноморцев зверствует страшно. И так деньги, что рабочему платят, не деньги. Отец же родной, чтоб ему сдохнуть, приказал каждому, кто день по неуважительной причине прогуляет, весь месяц паек не давать. Повторится прогул — отправлять в лагерь, как злостного врага нового режима, — Архаров-старший скорчил гримасу, показывая, как Черноморцев его напугал. — И теперь все ходят на работу, зато делают вдвое меньше...

Юрий улыбнулся.

— Как наши быстрые края живут?

— Ничего. Трудятся во славу рейха и спокойствия господина Черноморцева! Эх, был бы помоложе, удавил бы этого Иуду! Да, не перевелись на земле русской радетели народные! — Он хитро посмотрел на Токина.

— Насчет арестов не слышно? — спросил Юрий.

— Только приказами лютуют. Взялись за организацию летучих трудовых отрядов. Специальные списки составляют. Моих уже приглашали и подписку взяли о невыезде из города.

— Катюша, ты знаешь об этом?

— Да. Мой хозяин сказал, что из Берлина пришло указание государственной важности...

— Что ж ты мне не сообщила? — укоризненно покачал головой Токин.

— Значения не придала. У Черноморцева все дела особой государственной важности. Ему, видно, попало — последние два дня на работу ходит мрачнее тучи. На всех косится, будто врага личного высматривает.

— Борис Фадеевич, вы обещали кое-что узнать о пар-

тийном руководстве... — Токин привстал с кровати и заглянул в глаза Архарову. Но тот взгляд отвел, будто что-то рассматривал за окном. — А то Бонифаций в последние дни такую таинственность напускает... Спросил его о слухах про партизанский отряд в районе Знаменки, он наговорил с три короба. Не поймешь, где правда, а где сказки...

— Была у меня тут одна встреча, — Архаров пропустил мимо ушей замечание о Карно. — Но, признаюсь честно, тоже туманным показался человек. Я его прежде не знал, а он уж больно много обо мне, как из хорошей анкеты, выкладывал. И ошибочку одну допустил... Случайно ли, еще как — проверить надлежит. А обещание свое выполняю, ты не беспокойся... Вот поправишься только...

Когда Архаров ушел, Токин спросил Катюшу, будто спрашивал самого себя:

— А может, пока Гитлер к нам не заявился, пришить Черноморцева?

— Что его смерть даст? Нового, может быть, еще более лютого поставят.

— И того пришьем. Каждого, кто будет служить гадам, надо уничтожать. Чтобы неповадно было, чтобы и хозяева и прихвостни поняли — нет им жизни на нашей земле!

Чем больше он распалялся, тем больше крепло в его сознании решение казнить Черноморцева. И сделать это громко, чтобы по городу разнеслось.

«Судя по всему, — рассуждал Токин, — Федор ушел. Никаких признаков слежки. И Катюшку не трогают, хотя знают, что она со мной живет. Если бы Федор что-нибудь рассказал, наверняка ее бы убрали из управы. И еще эти списки... Что за трудовые отряды?»

— Кать, а Кать. Насчет этих отрядов ты поподробнее разузнай.

Вечером Катюша вернулась из управы зареванная — Черноморцев устроил ей нагоняй, хотя она была совершенно непричастна к пропаже документа.

Но в результате пропажи выяснилась любопытная деталь: документ, который в конце концов нашелся, служил предписанием о мобилизации всех трудоспособных и лояльно настроенных молодых людей на работы в Германию. «Это дело государственной важности, —

опять повторил Черноморцев, — и если мы не выполним задание, с нас головы снимут».

Сообщение Кати насторожило Юрия.

«Лояльно настроенных, трудоспособных»? Можно так организовать учет, что почти не окажется пригодных. С другой стороны, если мы можем работать здесь, почему не можем работать там? Нет, надо пойти навстречу господину Черноморцеву и, не дожидаясь, пока снимут с него голову немцы, снять самим. И сделать это за пределами города. Чтобы и мысли не зародилось, будто это наших рук дело. Засада! Месть за погибших ребят! Кровь за кровь!»

Ценнейшую информацию опять-таки дала Катюша. Как-то в беседе с пришедшей Риткой Черняевой она обронила фразу, что Черноморцев каждую пятницу навещается к своей любовнице, живущей за десять верст от города в селе Карпове. Чтобы не обидеть Катюшу, Юрий исподволь проверил слухок.

Любовницей Черноморцева оказалась дородная бабенка, торговавшая до оккупации в райсельмаге, а теперь державшая частную лавочку, которую, как выяснилось, снабжал с помощью полицейских поборов все тот же Черноморцев. Городской голова ездил к своей зазнобе на двух санях: сам на первых, и несколько полицейских в охране — на вторых.

Сначала родилась идея залечь у дороги. Потом прикинули, что удобнее засаду сделать в таких же санях и на встречном ходу расстрелять в упор из автоматов. Ночь следы заметет, и самим, случись неладное, под покровом темноты улизнуть сподручнее.

Решили, что для операции, названной «Возмездие», достаточно четырех человек. Токин выбрал себе в помощь трех, хотя Кармин опять возражал — дескать, ему, руководителю, негоже пользоваться властью и каждый раз пускаться на риск самому, не давая возможности поработать другим. Но Токин настоял на своем. Итак, группа сложилась: он, Кармин и оба брата Архаровы. Почти все нападение «Локомотива». Не хватало только Федора.

Лошадь, как и при вылазке в лагерь, легко раздобыл Караваев. Но Токин, сам не зная почему, решил до поры до времени ему не говорить, зачем понадобился транспорт.

Дабы не вызывать особых подозрений, в субботу отправились сразу же после обеда. Не доезжая километров трех до деревни, остановили сани на невысоком бугре, с которого, однако, далеко просматривалась дорога. К тому же санный путь шел вдоль Гужа, и всегда можно было вернуться в город с другой стороны.

— Ну, поработаем? — Юрий извлек из-под сена лопаты и лопаты. — Долбим втроем. Не спеша. Четвертый глаза держит открытыми.

Наблюдать за дорогой взялся Кармин. Остальные принялись счищать с накатанного полотна дороги снеговые наносы, которые никому не мешали. Наверно, это была самая ленивая работа. Только однажды они начали работать как следует, когда внезапно из-за леса, со стороны деревни, показалась легковая машина и на большой скорости, обдав снежной пылью, пронеслась в сторону моста. Токину показалось, что он узнал немецкого офицера, сидевшего на переднем сиденье «опеля», — лично комендант города Шварцвальд. Но он бы не поручился. Пока обсуждали, стоило ли упускать коменданта, вдали наконец показались две точки, и Кармин, увидевший их первым, закричал:

— Едут! Точно едут!

— Быстро по местам! Приготовить оружие! Стрелять только по моей команде, когда окажемся между двумя санями. Я с Георгием — по первым. Вы — по вторым. Учти, Сашок, сначала вали лошадей.

— Жалко животных, ведь не фрицы же они, — протянул Георгий Архаров.

— Разве я говорю, что не жалко? А вдруг унесут кого живьем?! Тогда наши шкуры на барабаны натянут.

Как ни медленно ехали, но от волнения казалось, что сближаются транспорты быстро, гораздо быстрее, чем того хотелось Токину. Как-никак, это было практически первое выступление с применением оружия.

«Не хватает лейтенанта. С ним спокойнее».

Юрий оглядел свое войско. Кармин внешне выглядел невозмутимым. Может быть, чуть бледнее, чем следовало. Архаровы сжались, как бы готовые выпрыгнуть сами вслед за своими пулями.

— Побеспечнее сядьте, побеспечнее! А то так за версту их напугаем.

Но Черноморцева и компанию — а это ехал действи-

тельно он, что было видно по богатому ковру, устилавшему передние сани, — ничего не пугало на привычной дороге. Все, кроме возниц и самого Черноморцева, сидели спиной к встречному ветру, а голова, любивший быструю езду, дышал полной грудью и что-то покрикивал вознице. Лошади шли наметом. Когда поравнялись с первыми санями, Токин даже испугался, что промахнется. Он дернул из-под себя автомат и, не поднимая его, от пояса ударил короткой очередью по лошади. Она рухнула под сани, Кармин рванул вожжи, и их сани юзом стали поперек дороги. Токин не видел, что было с санями охраны, он смотрел на повернувшегося с удивлением Черноморцева, на поднятые его руки, как бы защищающие лицо. И в это время Георгий длинной очередью опрокинул поднимавшегося бургомистра в сугроб. Истоиво закричав, Токин выпустил почти полдиска по вознице и сидевшему на задке полицаю. Когда обернулся, за спиной все было кончено. Вторые сани подкатились в упор. Лошадь еще билась в постромках. Полицейские лежали темными кулями на дороге один от другого метрах в трех, и красная киноварь изукрашивала снег вокруг тел. Двое ничком лежали в санях, неестественно закинув кверху ноги.

— Здорово! — срывающимся голосом прокричал Кармин. — Даже выстрелить в ответ не успели!

Токин стоял, будто вкопанный, глядя на картину мгновенной смерти шести людей.

— Быстро проверить, чтобы ни один не дышал!

За пару минут они осмотрели всех ехавших. Живой была только лошадь, и ее пристрелили, чтобы не мучилась.

— А теперь ноги в руки и айда по боковой дороге!

Токин вскочил в сани и сам, с гиканьем погоняя ошалелую от выстрелов лошадь, погнал в сторону леса.

Там, где дорога шла по краю глубокого оврага, он приказал ребятам бросить оружие. Первым метнул свой автомат под обрыв. Черный жук, мелькнув в воздухе, юркнул и пропал под снегом.

— Только запоминай — через неделю собирать приедем! — весело крикнул Кармин.

Не доезжая с километр до места, свернули на целину, и лошадь, выкидывая передние ноги и ударяя задними в передок, пошла так тяжело, что пришлось соскочить

с саней. Побежали рядом, проваливаясь в снег по колено и придерживаясь рукой за сани. Выскочили на новую обходную дорогу и въехали в Старый Гуж с противоположной стороны, с лихостью детской саночной ездки, когда всем городом катаются на высоком речном берегу.

Сразу же рассыпались, и Кармин в одиночку тихонько покати́л на санях к конюшне городской управы.

Катюшка сидела дома. Юрий сделал вид, словно задержался у Карно. Но к полуночи, когда легли спать, он не выдержал и все рассказал охающей Катюшке.

— Ой, сумасшедшие! Что будет?! Что будет?! Завтра фрицы всех на ноги поднимут. А если кто выживет и расскажет? Ведь Черноморцев тебя в лицо знал!

— И пусть себе знает. Мертвые не говорят.

— Юрочка, всякое бывает! А почему ты мне ничего не сказал? Не верил?.. Не верил?

— Нет, Катюша, нет! Переволновалась еще бы до дела! А теперь страхи в прошлом. Завтра слушай во все уши. Очень важно знать, как в управе следствие пойдет! Но будь осторожной! Не исключено, что затеят проверку работавших с Черноморцевым.

Катюшка прижалась к Юрию и, ненасытно целуя его, словно только сейчас осознала, как могла легко его потерять, шепнула:

— Мне кажется, я не переживу, если с тобой беда случится!

— Не бойся, глупышка! Все сделано чисто — комар носа не подточит. Спи спокойно.

## МАРТ. 1959 ГОД

Эти два документа лежали у меня в папке, как свидетельства творческой беспомощности. Один — авторский договор, просроченный настолько, что я боялся даже сунуться в издательство, чтобы не увидеть укоризненный взгляд директора, встретившего меня с таким радушием.

Я не написал книги. Черт с ним, с договором! Да простит мне издательство — желающих запустить в печатную машину бумагу хватит и без меня! Точил иной раз червь сомнения, заставляя ощущать угрызения совес-



ти каждый раз, как я вспоминал о Старогужском подполье, о суетности своей жизни, не позволявшей хоть как-то прояснить историю, казавшуюся все запутаннее и загадочнее. Концы многих следов моих редких поисков вдруг будто обрывались в прорубь. И что-то было, и чего-то не хватало. Я никак не мог поверить, что предала организацию отсидевшая свой срок Генриэтта Черняева. Чем больше разных линий сводил я в одну, тем явственнее вставала передо мной ее лишь косвенная причастность к предательству. Но тогда кто?

Второй документ был не менее интересен, но столь же бесполезен в разрешении моих сомнений. Я много раз вчитывался в строки и между строк, но ничего не мог выудить из двухстраничного текста. Время будто невидимая, непроницаемая стена, отгородило правду...

*«21 марта 1945 года.*

*Допрашивается Шварцвальд Вильгельм Фердинандович, бывший военный комендант, г. Старый Гуж.*

*В марте 1942 года ко мне в ортскомендатуру пришел начальник отделения 1-Ц штаба 83-й пехотной дивизии капитан Кнехт и сказал, что в одном русском доме слишком часто собираются по вечерам молодежь и другие гражданские лица. Сообщил ему об этом пожилой человек, фамилию которого не помню. Кнехт сказал, что должен окружить несколько домов и арестовать собравшихся там. Но для того, чтобы произвести сразу все аресты, жандармов 1-Ц отделения недостаточно, и он просит дать ему полевую жандармерию. В связи с этим я отдал все соответствующие распоряжения о выделении необходимого контингента жандармов. Знаю, что хотели сначала окружить несколько кварталов, но потом решение отменили, и аресты проводили по отдельным домам, но сразу во многих городских кварталах. О причинах арестов мне рассказывали начальник 1-Ц отделения Кнехт и оберштурмбаннфюрер Моль, лично проводивший допросы.*

*Как мне сообщили, в г. Старый Гуж арестовано гнездо заговорщиков. В том, что арестованные заговорщики, я убедился лично, увидев отпечатанные на русском языке лозунги, изъятые у арестованных. Лозунги эти я ви-*

дел у себя в комендатуре и в комнате Моля, а также у переводчика Гельда. Содержание лозунгов мне переводил Гельд. Где и на каких машинах они печатались, мне неизвестно, и Молю сведений об этом добиться тоже не удалось.

Кроме того, со стены комендатуры кто-то трижды похищал флаг рейха. Говорили, что они воруются для хозяйственных нужд, поскольку с тканями в России плохо. А это были шелковые флаги, сделанные по специальному заказу министерства информации и лично доктора Геббельса. Я не верил в случайность краж и считал это злым умыслом.

В марте 1942 года было арестовано около 85 человек. Тридцать семь было расстреляно, а остальные освобождены. Кто был руководителем гнезда заговорщиков, не знаю, но слышал, что он в день ареста скрылся. Об этом мне рассказал все тот же Моль. Из арестованных и освобожденных из-под стражи я знал только одного — пленного старшего лейтенанта Красной Армии Яковлева, работавшего на Старогужском лесопильном заводе до ареста и после освобождения. Больше я ничего не знаю и показать не могу».

На полях документа, который я скопировал как можно более тщательно, стояла еще надпись, сделанная рукой Головина. Вот она: «Речь идет не о молодежи, а о типографских рабочих». Что хотел сказать этой пометкой Головин? Ведь он хорошо знал, что типографских рабочих в таком количестве не арестовывали, хотя среди арестованных молодых подпольщиков были и работавшие в типографии. Не наваяно ли это казнью Пестова!

Уже в который раз перебираю выписки.

Вот показывает некто Кудрявцев:

«Сизов был арестован по месту работы на электростанции. Будучи освобожденным из-под ареста, Алексей упорно отмалчивался и ничего нам не сообщил. Он лишь сказал, что арестованных с ним по одному делу гестаповцы сильно избивали. На наш вопрос, били ли его, Сизов ответил, что лично он избиениям не подвергался. И это была правда, поскольку следов побоев мы не видели».

Ах, Алексей Никанорович, а сегодня, когда вы рас-

сказываете о вашем мужестве, у меня волосы становятся дыбом!

Как вы так можете, Алексей Никанорович? Только послушайте, что показывает ваша жена Секлетей Тимофеевна.

«Мария (сестра Сизова) рассказывала, что ее арестовали в одно и то же время, но по другому делу. То ли в связи с убийством Черноморцева, то ли по обвинению в связи с разведчиками и партизанами. После ее ареста, так сказать, схватили всех Сизовых. Сизов Алексей и Сизова Мария были в хороших отношениях. Алексей помогал Марии изучать немецкий язык».

Ну, Алексей Никанорович, может, вы хоть теперь признаете, что многое из рассказанного вами по меньшей мере не совпадает с тем, что говорят десятки других людей и, что еще хуже, так разнится с тем, что вы сами показывали много лет назад.

Документы разбередили мое сердце, и следующей ночью я опять трясся на полке вагона, катившегося в Старый Гуж. Хотел во что бы то ни стало увидаться с Секлетеей Тимофеевной. Я вспомнил, что в мой прошлый приезд ее не нашел — она жила от Сизова отдельно, — разошлись сразу же после прихода наших. И это показалось мне подозрительным. Я спросил у Сизова, жившего в доме сестры Марии, адрес его бывшей жены и направился к Секлетее Тимофеевне, но оказалось, что она лишь позавчера уехала в свою деревню и вернется в Старый Гуж не скоро.

Стук колес настойчиво вбивал в меня мысль, что отсутствие на месте бывшей жены Сизова было не случайным. Сквозь скупые строки протокольных показаний звучал искренний голос русской женщины. И что больше всего нравилось мне — не чувствовалось ни ненависти, ни озлобленности в отношении к бывшему мужу.

Честно говоря, сидя над этой бумажкой, я дивился следовательской слепоте. Лишь нежелание, вольное или невольное, видеть в Сизове возможного предателя организации могло так застилать профессиональный глаз Головина.

Трехконный старый домик, полуутонувший в сыром мартовском снегу, скопившемся горой в тесном палисадничке, стоял сиротливо, но по-утреннему многообещающе тянул в небо тонкий столб дыма.

Я заколотил в дверь тяжелым чугунным кольцом, висевшим на сквозном крюку.

Дверь открыла полная женщина, аккуратно, по-городскому прибранная. Светлое русское лицо с большими серыми глазами, размер которых не могли скрыть даже бесчисленные излучины морщин, слегка портил склад губ, словно перед вами стоял вечно обиженный человек, который никогда не простит миру чего-то своего, затаенного, никому не ведомого.

Не спросив, кто и зачем, лишь мельком взглянув на меня, она ушла в дом, оставив распахнутую дверь, будто приглашение. Из глубины комнаты прозвучал ее сочный голос:

— Заходите. Гостем будете.

Минуя сени, я сразу попал в горенку. Домик принадлежал к числу тех русских жилищ, в которых бедность объединяет все комнаты в одну. Бокастая русская печь стояла в центре. За цветастой ширмой просматривалась ухоженная кровать с двумя пухлыми и такими же цветастыми, как ширма, подушками. На столе — кружевная скатерка, в нескольких местах аккуратно подштопанная. Над столом — целый иконостас семейных фотографий переходил в настоящий миниатюрный иконостас, занимавший красный угол.

Хозяйка пекла блины. Ухват и три сковороды, стоявших на самом пылу, ходили у нее в руках ходуном, а деревянная ложка, отмеривавшая порцию жидкого теста, как бы плясала в воздухе.

Я невольно залюбовался работой хозяйки. Она заметила это и по-девичьи горделиво покраснелась. Возможно, мне это лишь показалось и розовый цвет ее лицу придавал отсвет печи.

Я присел на краешек лавки возле стола, а хозяйка, словно я был членом семьи или привычным гостем в ее доме, спокойно допекла остаток теста и поставила на стол миску дымящихся золотистых блинов.

— Мил человек, дверью не ошибся? — как бы между прочим, спросила она.

— Что вы, Секлетей Тимофеевна?! — смеясь, ответил я. — Если и ошибся, не признаюсь, увидев на столе такие блины!

Она тихо засмеялась.

— Ну, коль кличку мою знаешь, мил человек, давай

снедать. За едой и поговорим. Так-то старой одинокой женщине веселее масленицу править.

Она вышла и вернулась с маленьким пузатым кувшином, по самый край налитым густой сметаной. Плеснув ее в мою миску, сама себе не взяла, а положила немножко медку. Подвинув банку, сказала:

— Коль сладенького захочешь, отведай. И маслица свежего, своо боя.

Мы ели блины, и я исподволь посматривал то на Секлетею Тимофеевну, то на фотографии. На одной угадывался молодой Сизов — этакий франтоватый деревенский ухажер, совсем с недеревенским типом острого лица. Местный фотограф будто специально высмотрел какую-то неприязненность во взгляде. Наверно, выражение вечной обиды в складках губ Секлети Тимофеевны тоже от него, Сизова. Недаром говорят, что у супругов, живших долгие годы вместе, не только привычки, но и черты лица подгоняются друг под друга.

Было неловко сидеть за столом, не представившись, и я, как мог осторожнее, рассказал, зачем приехал.

— Знаю тебя, мил человек. Когда прошлый раз навещал, муженек меня, бывший, от тебя в деревню спровадил... — Признание было неожиданным.

— Зачем ему это понадобилось? — боясь спугнуть откровенность, почти шепотом произнес я.

— Не знаю, мил человек. Но муженек у меня не любил и не любит, когда поперек дороги кто станет. Если к чему пошел — жизни не пожалеет, а своего добьется. Пожилась я с ним. Только теперь отходить начинаю...

— А почему разошлись, Секлетию Тимофеевна? Ведь прожили немало...

— Детей у нас не было. Он меня обвинял. Бил даже... Потом оказалось, что в нем червоточина. А годы промчались. Так и остались бездетными. А ушел почему? Как все вы, мужики, коты мартовские — состарилась жена, пора на бабу помоложе менять.

— У меня просьба лично к вам, Секлетию Тимофеевна, — понимая, что говорить на эту тему хозяйке неприятно, сказал я. — Хочу найти правду по тому делу, по которому арестовывался ваш муж и вы сами допрашивались, когда вернулись наши.

— А зачем тебе это, мил человек? — Она испытующе посмотрела на меня.

— Хочу написать книгу о парнях, которые погибли на Коломенском кладбище. Рассказать, как воевали они и что сделали... Чтобы наконец о них узнали люди.

— Мне, старой, видно, тоже не разобраться, — призналась Секлетей Тимофеевна. — Что знала, он, антихрист, из головы своими рассказами выдавил.

Она умолкла, как бы собираясь с мыслями, подоткнула волосы под платок, тяжелым узлом державший не по-старушечьи пышную косу.

— Это он своротил меня на вранье, когда первый раз вызвали в управление госбезопасности. Весь вечер голову морочил, объяснял, что я вербовала в организацию Ваську Соколова, а он, Алексей, вербовал меня. Не было того в жизни. Знала, что кто-то бургомистра ихнего убил. Болтали в доме, что германец долго не продержится, хоть и силен, что пороху у него не хватит зимы нашу пережить. Замерзнет. А коль машин не будет, сам он, фашист, дохленький, и его, как косача, из-под ледка руками брать можно. Мать Алексея научила меня твердить, будто Мария не была в гулянье с немецкими офицерами и в Германию не добровольно подалась, а насильно ее погнали, и она где-то убежала и вот вернулась...

Секлетей Тимофеевна отодвинула миску с остатками блинов на самый край стола, будто мешала эта миска сказать все, что задумала.

— Мы жили голодно при немцах. Получал муж денег да хлеба немножко. Мать же его питалась за счет пайка, который давали Марии как немецкой подружке. Помню, еще зимой сорок второго, когда Алексея освободили из-под ареста, в первый же вечер он сказал мне, что неплохо бы подготовиться к встрече Красной Армии. Немцы не очень духу бойкого, и в тюрьме он разного наслышался. А перед Родиной надо быть чистеньким, как после бани. Дружок у него банщиком числился, и Алексей все горевал, что того расстреляли и теперь парная — не парная. С того дня он много рассказывал о подпольной организации. Как-то велел сходить к Соколову Ваське, работавшему в депо, но я прихворнула и никуда не пошла.

— Вы встречались с мужем после того, как он ушел к другой?

Секлетая Тимофеевна несколько раз кивнула головой, словно вспоминая, сколько было встреч.

— Зимой, когда они уже переехали на новую квартиру, он пришел забрать старый велосипед и снова стал меня учить, как себя вести. Я ответила, что мне без надобности его наука. Обозвал душой и сказал, что «если хочешь спать в своей постели, слушайся меня, иначе поедешь так далеко, куда Макар телят не гонял». Алексей сообщил, что его уже допрашивали и что наверняка я должна ждать вызова. Меня действительно вскорости позвали. Рассказала, что знала о Соколове, вернее, чему научил муженек. А мне тогда следователь зачитал бумагу, в которой говорилось, будто сам Соколов показал, что ни меня, ни мужа моего он не знает и никогда не видел. Стыдно было, но я твердила беспрестанно «знает, знает...». Когда, испуганная, рассказала мужу о допросе, он опять обозвал душой. Это его любимое словцо. Пояснил, что меня исключительно поймали на обман. Будь он, Сизов, там, сразу бы опроверг. Еще рассказала, что характеризовала Марию с самой лучшей стороны. Алексей тогда меня удивил, сказав, что я зря облагораживала двуличное поведение сестры и что он говорил о Марии совершенно другое. Я ничего не могла понять...

— Вы никогда не спрашивали мужа, за что он был арестован?

— Спрашивала, — Секлетая Тимофеевна говорила, водя указательным пальцем по кружевным узорам скатерти, словно читая по-слепому их загадочные нарядные письмена. — Спрашивала. Ответил нехотя, что арестовывался по делу Токина и что его избивали. Я помню лишь один синяк на спине, а тогда по приходе объяснил, что поскользнулся на улице. Потом добавлял, что вел себя храбро, ни в чем не сознавался и был освобожден.

— Как считаете, Секлетая Тимофеевна, был он в организации или нет?

— Кто знает. Могу сказать, что после работы всегда сидел дома. Если ходил куда с бутылкой самогона, так это в баню к дружку. После ареста вообще сидел сиднем. Потом сомнение — врет он много. Коль было, так и по-былому рассказывать надо. Но в последние дни немцев у него дружок-враль появился. Караваев фамп-

лия. Плохо его знаю, из пришлых он, не нашенский, не старогужский.

— Вы не путаете, Секлетея Тимофеевна?! Караваев приходил к вам после ареста?

Она даже фыркнула.

— Бог миловал, память еще не отшибло. И после расстрелов был — они об этом долго шептались.

— Его Владимиром звали, не так ли? — еще пытаясь как-то отвести Секлетею Тимофеевну от недоразумения, переспросил я.

Та не на шутку обиделась.

— Ты, мил человек, меня не путай. Меня муж много путал. Что говорю, так и есть.

— Секлетея Тимофеевна, я вам верю. Но то, что вы утверждаете, имеет огромное значение. Считается, что Караваев расстрелян вместе с ребятами на Коломенском кладбище.

— Окстись, мил человек! Я его, как тебя, вот за этим столом видела! Сидел, черт рыжий, до утра, спать не давал. Да еще и весной поздней появился, когда наши вернулись. Только с трудом узнала его, бородой зарос и усы отпустил. Спросила, что так, сказал, кожа лица с обморозу болит и бриться мочи нет.

— Больше не появлялся?

— Нет.

— А муж ваш в тот раз Караваева не видел?

— Не видел. Запропастился куда-то. Володька долго сидеть не стал: подождал-подождал, да и подался. Говорит, снова в армию берут, в Красную, воевать до победы.

Я сидел, больше не расспрашивая хозяйку ни о чем. Никогда не предполагал, что услышу нечто подобное. Ждал каких угодно откровений по поводу Сизова, но чтобы выплыла фигура Караваева?! Да еще живого, в то время, как он числится в списках расстрелянных?! Это была новая загадка, перекрывавшая все.

— Как вы считаете, могу я видеть Марию? — спросил я наконец у Секлетеи Тимофеевны.

— Уехали они. В прошлом году еще уехали.

— Кто они? — не понял я.

— Алексей вместе с Марией уехали.

Это была вторая неожиданность.

— Куда?



— Не докладал. Но люди болтают, что в Пермскую область будто бы, а где там — не ведаю.

Я заночевал у Секлетей Тимофеевны и утром решил, что делать мне в Старом Гуже больше нечего и надо возвращаться в Москву. Но до поезда отправился на Коломенское кладбище.

Старинное кладбище открывалось сразу же за объездной дорогой, высокой насыпью, как бы прижимавшей кладбищенскую ограду к заснеженному Гужу. Мартовский день выдался солнечным, бесснежным, и все, что февральские метели нанесли на кресты, холмики могил и старые купеческие склепы, приняло под лучами солнца скульптурные формы, приукрасилось блестящим нарядом сверкающих коротких сосулеч. Ворота кладбища, богатой кирпичной кладки и некогда торжественно-пышные, были изрядно побиты осколками. Башня-верхушка начисто снесена прямым попаданием снаряда.

В этот послеобеденный час кладбище было пустое. Лишь главная аллея с наезженным санным следом да конским пометом, по которому весело металась воробьи, убеждала, что кладбище не заброшено. К новой части, там, где разрешались захоронения, под редющей шапкой старых дубов, вела иная дорога. И тропы между могилами, украшенными венками из еловых веток и бумажных цветов, даже приблизительное название которых никто бы не смог определить, были густы. Свежие могилы помнятся острее старых.

Я бесцельно бродил по колено в снегу. В ботинки набились мокрые комья, и я уже махнул рукой и смело лез через сугробы от могилы к могиле, словно задался единственной целью — связать их всех цепочкой собственных следов. Читал надписи. И трогательные и скупые. И просто цифры под фамилиями людей, которых уже нет и никогда не будет на земле.

Я пытался представить себе место расстрела. Решил, что их могло быть два. Или там, на нынешнем новом кладбище, или вдоль насыпи дороги...

Вернувшись в Москву, я тут же позвонил Дмитрию Алексеевичу. Мы встретились в кафе у «Первопечатника». Видно, голос мой во время звонка звучал тре-

можно, потому что Дмитрий Алексеевич весьма участливо спросил:

— Случилось что-нибудь серьезное?

— Я был вчера в Старом Гуже.

Дмитрий Алексеевич посмотрел на меня внимательно.

— Думаю, вы поступаете неразумно, мотаясь туда без определенной цели. За день-два вряд ли что можно сделать толкового.

— И я так считаю. Но тут иной случай. Я встретился с бывшей женой Сизова.

— Они и сейчас состоят в браке...

— Но живут порознь еще с сорок четвертого года.

Мохнатые брови Дмитрия Алексеевича вздернулись в знак удивления.

И тогда я добил его окончательно.

— Но Секлетя Тимофеевна, — голос мой дрожал, будто я хотел объявить по меньшей мере о явлении нового мессии, — уже после освобождения видела «расстрелянного» Караваева...

Только выдержка Дмитрия Алексеевича позволила ему остаться внешне спокойным. Выпустив облако в полпапиросы дыма, он спросил:

— Не ошиблась?

— Нет. Он еще при немцах после расстрела бывал у Сизова неоднократно. А в последний раз явился при бороде и усах.

— Вст как? — В голосе Дмитрия Алексеевича прозвучали горькие нотки. — А я ведь собирался самым тщательным образом проверить списки расстрелянных. Не успел...

— Выходит, Караваев — единственный, кроме немцев, свидетель расстрела на Коломенском кладбище?

— Возможно, возможно. Скажите, Андрей, Сизова вам ничего не говорила о своей сестре?

— У Секлетей Тимофеевны разве есть сестра?

— Есть. Она живет в Югославии.

Теперь настала моя очередь удивляться.

— Я запросил по нашим каналам югославских товарищей. Они прислали нам ее опрос. Вы не знаете о ней ничего, потому как она очень быстро исчезла из Старого Гужа. Выйдя замуж за еврея, хотя брак и был заре-

гистрирован комендатурой, она скоро оказалась в концлагере Дейгайлац. После казни мужа ее отпустили, и она работала у немца Волендерга в городе Мариенверте по улице Торпер, дом 20. — Дмитрий Алексеевич приводил точные данные так спокойно, будто специально готовился к нашей встрече и ночь напролет зубрил их наизусть. — Затем ее направили на работу в больницу в Юкемюнде близ Штеттина. 27 апреля 1945 года она была освобождена Красной Армией.

Но в сентябре уехала почему-то не на родину, а в Чехословакию. Работала в нашей комендатуре города Братиславы и оттуда перебралась, получив соответствующие документы, в Белград. Вышла замуж за югослава Маровича. Из Белграда она прислала несколько писем сестре, но та, запуганная мужем, ничего ей не ответила, и Анна сочла Секлетею погибшей. Муж ее работает в пекарне в деревне Каратурма, улица Вишнички, дом 44. Что касается нашей общей заботы, показала мало. Считает, что зимой сорок второго года многие были арестованы за аварию на станции и расстреляны. Связь массовых арестов с аварией ошибочна, как вы знаете. Но Анна подтверждает — муж ее сестры был среди арестованных, и она якобы написала прошение в комендатуру, что Сизов невоенный, непартийный и никакого вреда немцам принести не может. Мужа сестры освободили... Допускаю, многое правдоподобно, по по срокам не совсем совпадает. Так-то, — заключил Дмитрий Алексеевич. — Но мои данные — ничто по сравнению с сообщением о Караваеве. Понимаете, Андрей, мне всегда казалось, что за старогужской трагедией стоит какой-то человек. Один, я уверен, но кто?

— Что будем делать?

— Искать Караваева.

— Каким образом?

— А это, Андрей, предоставьте уж, пожалуйста, нам.

## МАРТ. 1942 ГОД

День был банный. После работы Юрий запихнул пару чистого белья, мочалку и обмылок в свой футбольный чемоданчик и собрался к Бонифацию. Катюша настаивала, чтобы он прежде поел, и, наверно, настояла

бы, не приди Толмачев. Он рассказывать ничего не стал, лишь заторопил:

— Бонифаций за тобой послал. Велел быть как можно быстрее!

Оставив Катюшу, уже накрывавшую на стол, Юрий выскочил из дома, на ходу накидывая полушубок.

— Что случилось, не знаешь?

— Не знаю. Только в предбаннике раздеваться начал, как подлетает Бонифаций: «Беги за Токиным! Одна нога здесь, другая — там. Есть важные новости!»

В кассу стояла очередь, но Бонифаций встретил прямо на лестнице.

— Разденешься у меня...

Когда вошли в каморку Бонифация, тот запер дверь на ключ.

— Вчера Караваева видели с шефом гестапо. Парень, который видел, надежный человек. Караваев сделал все, чтобы его не заметили. Без пропуска юркнул назад в парадное. А сегодня утром еще один верный человек сообщил, будто в пьяной компании Караваев хвастался, что скоро фрицы арестуют всю красную сволочь. Что скажешь?

— Неожиданно как-то, — протянул Токин, стараясь прикинуть, насколько тяжело может сказаться связь Караваева с гитлеровцами на делах организации.

«Во-первых, он знает руководство. Если предал, немцы заберут прежде всего нас. Остальных знает плохо. Недаром так настаивал на составлении полных списков... А зачем нам списки, когда мы не только в лицо и по фамилиям своих знаем...»

— Неожиданно, — снова повторил Токин. — Твои предложения?

— Уходить из города всем, кого он знает. И как можно быстрее. До вечера время есть. Засветло вряд ли арестовывать будут. Побоятся. Скорее всего ночью.

— Но ведь это конец нашей организации?

— Не худший конец. Если все обойдется, можно, отсидевшись где-то, вернуться.

— Где отсидишься? Нет, если уходить, то с оружием пробиваться к своим. Сейчас фронт ближе, чем когда прорывался лейтенант. Послушай, Бонифаций, а ты уверен, что тревога — не пустое?! Мало ли почему человек оказался рядом с немцем?

— С шефом гестапо! А насчет компании — тоже болтовня?

Довод был убедительным, и Токин надолго задумался.

— Хорошо, — сказал он, наконец приняв решение. — Предупреди штаб. Всех, кроме Караваева. В полночь собираемся у старой часовни на Коломенском кладбище. Одеться потеплее, захвати продукты. Оружие возьмем из первого тайника.

Карно кивнул. Ему ли не знать про первый тайник? Это была его идея — сделать резервный склад оружия в подполе старой часовни. Почти тридцать гробов с автоматами, патронами и гранатами перевозили они в часовню, надежно укрыв от любого досужего глаза.

— А ты-то сам как?!

Старый Бонифаций хмыкнул.

— Спасибо, что вспомнил, — он задрал подол клеенчатого фартука и отер лицо, лоснившееся от пота. — Но я останусь. Мне, старику, давно умирать пора, глядишь, все обойдется и вновь смогу ребят собрать. Ты твердо решил за линию фронта?

Почти до десяти часов Токин обходил штабистов. Не застал только троих. Но никому объяснять ничего не стал, лишь предупредил, что сбор по тревоге. Перед ним стояла проблема личная: как быть с Катюшей? Лучше всего ей перебраться назад, к Генриэтте. Брать женщину в трудный поход за линию фронта смысла не имело. Сказав Катюше, что намечается многодневная операция и что она не должна волноваться, если он задержится, Токин с трудом успокоил ее и помог собрать необходимые вещи. Только сейчас увидел, что у Катюши практически ничего нет, — весь гардероб уместился в узелок, чуть больше бабкиного с пасхой. Он проводил ее к Генриэтте, запретив говорить подруге что-либо. На место сбора пришел с опозданием минут на десять, но у часовни встретил лишь троих — Кармина, Толмачева и Купреева. Потом подошли остальные. Вновь повторил все, что он рассказал первой тройке.

— Чертовщина какая-то! — сказал Кармин, настроенный чрезвычайно благодушно. — Мы и тебя с немцами видели. Да еще в обнимку, но паники никто не поднимал.

Толмачев поддержал.

— Старому Карно страхи под кроватью уже мерещатся. Если бы его слушали, когда играли, то и до финальной пульки России не дошли.

— Тут не финальная пулька. Свинцовой пахнет, — сказал Купреев. — Да только мне тоже мало верится. Бывают совпадения. Как бы дров не наломать.

— Правильно ли уходить всем штабом? Это же конец организации!

— Но Караваем знает нас, и любому оставшемуся конец, — сказал Токин. Он был в странном положении вызывающего к побегу. — Гибнуть бессмысленно, когда можно уйти за линию фронта и вернуться сюда с победой.

— Отложим решение до завтра. Утром встречусь с Караваемым и поговорю по душам. Как считаешь? — предложил Кармин.

— Завтра может быть поздно.

— Ну если так! Перепуганный волк любой овцы слабее.

Это было оскорбление, но Юрий сдержался.

— Я, как руководитель, приказываю покинуть город. Лыжи и оружие готово. Здесь, под полом, — он топнул ногой.

— Что касается меня, то я остаюсь, — отрубил Кармин. — Выдумке Бонифация не верю. Убежден: Караваем свой парень.

Наступило молчание, тягостное, казалось, бесконечное, хотя длилось оно, может быть, и мгновение — в такие минуты ощущение времени притупляется.

У Токина не было конкретных фактов, а без них доводы, пусть самые горячие, неубедительны. Особенно в споре с Карминым, отношения с которым уже давно сложились своеобразно. В памяти Токина, будто вчера это было, всплыла старая ссора, чуть не дошедшая до драки. На танцульках в «железке», так называли клуб паровозного депо. И если бы не взрослые мужики, не давшие в обиду лучшего нападающего команды железнодорожников, неизвестно, чем бы тогда кончилось. Но Токин надолго запомнил неприязненное выражение глаз Кармина. Потом, когда сошлись в одной команде, вражда внешне вроде бы затухла. Но стоило только возникнуть конфликтной ситуации, Кармин непременно, даже если был явно не прав, оставался в оппозиции к своему

капитану, которого и капитанство-то признавал лишь потому, что играл Токин отменно.

— Помнишь, голосовали, что последнее слово в критических ситуациях за мной? Я считаю ее таковой! — взвился Токин.

— А я не считаю. И пошел-ка ты, начальник... Если паникеру власть дать, весь народ со страху в штаны наложит!

Не будь последней реплики Кармина, Токин, возможно, и смирился бы: сомнения терзали его первым, когда Бонифаций рассказал о Караваеве. Но обвинения в трусости Токин снести не мог.

— Я слагаю с себя полномочия руководителя организации, поскольку штаб мне не подчиняется. Но вот когда попадешь в руки оберштурмбанифюрера Моля и начнешь ребят продавать, тогда вспомнишь мои слова. Я в предательстве товарищей участия принимать не буду. Командуй, Кармин. Кто хочет — со мной, кто хочет — с ним!

Токин отворотил угловую плиту и извлек из-под пола лыжи, автомат, два диска и пару гранат, увязал в рюкзак, валявшийся во время спора в углу. Ребята стояли полукругом и, не выйдя Токин из часовни столь поспешно, наверное, последовали бы за ним. Но он пошел, не оглядываясь, лишь чувствуя на своей спине осуждающие взгляды. Когда он завернул за обломок кладбищенской стены и оглянулся, ребят уже не было видно. Да и сама часовня гляделась расплывшимся фиолетовым пятном на фоне голубоватой промокашки.

Юрий вздохнул. Шевельнулось сомнение. Потом пришел страх перед дорогой, которую предстояло пройти в одиночку. Он подавил в себе и страх и сомнение, понимая, если отступит — жизни ему нет. Он слишком резко обрубил концы, сдав полномочия и не сумев завоевать ребят.

И все-таки не решался уходить. Долго стоял на круче Гужа и смотрел в сторону кладбища. Он не чувствовал холода. До рези в глазах всматривался в темноту. Временами ему мерещились скользящие по снежной целине фигуры ребят.

«Как же так? Как же так?! Я не могу уйти один... Это же предательство. Но если вернусь, они уговорят меня остаться совсем. И останутся сами. А я чувствую,

что Бонифаций прав. И мне напускная храбрость Караваева казалась подозрительной. Если он действительно продался врагу, то объяснимо, почему он такой безумно храбрый! Начнут брать ребят... А я ушел?! — Юрий чувствовал, как в груди растет резкая боль — такое ему приходилось испытывать лишь после обидно проигранного по его вине матча. — Нет! Они должны пойти за мной! Помитинговав, они поймут мою правоту...»

У Юрия не было и тени страха перед возвращением домой. Он даже не думал о немцах, о том, что случится, если они ворвутся в его комнату. И только гордыня, боязнь показаться смешным в глазах парней, которых хорошо знал и уважал, не позволили Токину принять окончательное решение о возвращении.

Стоять на месте стало зябко, и он двинулся к опушке леса, угадывавшегося в темноте. Он так был поглощен своими мыслями, что не обратил внимания ни на храп лошади, такой громкий в морозной ночи, ни на немецкую речь. Только окрик из темноты: «Хальт!» — заставил его остановиться. И еще не соображая, что делает, он сорвал с плеча автомат и пустил длинную очередь на голос. Потом лихо скатился с крутого берега Гужа и вдоль обрыва побежал в сторону от давно спавшего города. За спиной, где-то вверх, прогрехотало несколько ответных очередей, но пули уже не могли догнать его внизу. Чувствовалось, что фашисты палили наугад. Тем не менее путь назад был отрезан.

Токин шел легким накатистым шагом, шел до утра, а когда забрезжил восток, резко свернул с проезжей дороги и, забравшись в глубь леса километра на два, как медведь, забился под огромную, вывороченную с корнем сосну.

Стряхнув с корней снег, он устроил себе мягкое и, главное, сухое кресло. Усталое уселся в песок, зажав автомат между коленей. Оружие было ему сейчас не нужно. Он заснул как убитый. Его можно было брать голыми руками.

Штаб сразу же разошелся по домам. Договорились вечером следующего дня собраться у тетки Толмачева. Пробравшись домой, Кармин лег спать. Едва задремал,



как раздался грохот в дверь. Испуганная мать в одной рубашке кинулась к запорам. От сильного удара дверь распахнулась, и с автоматами наперевес в комнату ворвались трое гитлеровцев. Потом вошел четвертый и, подойдя к постели, на которой сидел заспанный, ничего не понимающий Кармин, сказал:

— Я тебя знаю. Ты есть Кармин Александр. Собирайся.

Сборы заняли несколько минут. Мать, так и оставшаяся в одной рубашке, металась между шкафом и кухней, пытаясь сунуть в небольшой мешок и одежку потеплей, и харч пощедрей. Но немец, выведивший Кармина, перехватил котомку и бросил ее вперед своим товарищам. Что-то сказал по-немецки под общий гогот. Обернувшийся Гельд, это был он, пояснил:

— Вряд ли ему потребуется так много еды!

Мать не слушала немца, причитая: «Куда же ты, куда?» Она кинула платок на плечи и бросилась за сыном, но стоявший у дверей солдат ударом отогнал ее назад, в горницу. Гельд опять пояснил:

— Не выходить. Расстреляю. Днем придешь за справкой в комендатуру.

Кармина везли в крытом грузовике, везли недалеко, как подсчитал Александр, не больше двух кварталов.

«Гестапо находится дальше», — прикинул он, а сердце сжалось дурным предчувствием, захлебнулось стыдом, что не послушался Токина.

Но пожалеть об этом у него еще будет время. И начало оно свой отсчет через минуту, как только замер грузовик. В кузов, раскачав, как бревно, кинули тело. Александр не без труда признал окровавленное лицо Толмачева — изо рта текла кровь, переносица вспухла пирогом. Перевесившийся через борт Гельд сказал, обращаясь к Кармину:

— Если будешь сопротивляться, пристрелят без следствия. Он пытался взорвать немецких солдат гранатой. Он — смертник.

Потом машина вновь закрутила по улицам и наконец застряла на одном месте. Александр, сидевший в глубине кузова, не мог распознать улицу. И только когда несколько раз повторилась фамилия «Токин», понял, что они стоят у Юркиного дома. Немцы долго и громко ругались. Грузовик, так и не приняв никого,

двинулся дальше. Зато с каждой новой остановкой в кузов заталкивали очередную жертву. Кармин сидел, зажав голову руками, не глядя на новеньких, чтобы не закричать от отчаяния. Токин был прав лишь наполовину — брали не только членов штаба. Список арестованных оказался настолько широк, что, когда в кузов бросили старика Бонифация, Кармин зажмурил глаза и застонал.

Карно пробрался к нему вплотную и, сев на трясущийся холодный пол, по которому каталось тело Толмачева, свистящим шепотом произнес:

— Я же говорил вам...

И умолк. В слепой ярости Кармин начал озиаться, ища случая рвануться из кузова, но на борту, держась одной рукой за крепежку брезентовой крыши, а другой стискивая автоматы, сидели двое фашистов. Прежде чем он допрыгнет до одного, второй трижды прошьет его очередью.

«Надо сделать это на остановке», — подумал Александр. Когда грузовик остановился еще раз и солдаты соскочили вниз, Кармин кинулся к борту. Грузовик стоял в глухом дворе гостиницы «Москва». Двор был полон немцев и полицаев. Один из них с повязкой кричал стоящим у входа:

— Принимай вторую группу! Скоро прибудет третья! Гельд скомандовал:

— Выходи!

И погрозил пистолетом.

Кармин тяжело выпрыгнул из грузовика. Поодиночке, они вылезли на брусчатый двор, служивший некогда разгрузочной площадкой гостиничного ресторана, в котором столько раз обмывали очередную победу команды.

Карно помог Толмачеву, пришедшему наконец в себя, подняться, но подскочившие полицейские пинками сбили его с ног. Двое полицейских подхватили обмякшее тело, как мешок с зерном, и поволокли в дом.

Когда Кармин стал подниматься по лестнице на второй этаж, он вдруг представил себе, как еще прошлым летом притащил сюда Ритку Черняеву к ребятам из сборной клубов Ленинграда. Мастера прибыли в Старый Гуж на товарищеский матч. В их составе был пяток немножко состарившихся знаменитостей, делавших сбор, но не игру. Счет оказался 3 : 0 в пользу «Локомотива»,

по настроение у гостей было отличное. И вечером в большом «люксе» накрыли стол. Было весело как никогда. Ему, Кармину, предложили вместе с Токиным подумать насчет переезда в Ленинград. Обещали работу и отличные условия для тренировок. Играл патефон, кружились пары, а на душе было так захватывающе легко, что казалось, кружению не будет конца.

«Неужели в тот же номер?! — испуганно подумал Кармин. — Точно».

Комнаты, правда, были разгорожены, и из каждой пробита в коридор отдельная дверь с решетчатым окном. Мебели никакой. Вдоль стены стояло человек десять — и от этого просторная комната показалась тесноватой. Кармин узнал в лицо трех ребят с электростанции. Карно сидел в углу, по-турецки скрестив ноги, и внимательно смотрел на входившего Кармина. Гнетущая тишина стояла в комнате. Только за стеной стонали, страшно, навзрыд, и Кармину показалось, что он слышит, как больно Толмачеву.

Александр опустился на пол рядом с Карно. Исполобья оглядел стоявших у стен. Кроме знакомых лиц, подавленных не то чтобы страхом, скорее обстановкой, непривычной и тревожной, увидел двух подозрительных типов и потому решил быть осторожным и ни о чем пока не спрашивать.

Но Карно поступил иначе.

— Где Токин? — одними губами спросил он.

— Ушел за линию фронта.

— Один?!

Кармин, собравшись с мужеством, признался:

— Мы отказались идти с ним, сочтя его решение паникой.

— Да! Как были сопляками, так и остались! Без Пестова вы бы не только первенство России не выиграли — по мячу ударить не смогли. Я-то старый дурак! Следовало все взять в свои руки... — Он умолк.

— Что теперь говорить, — Кармин пожал плечами. — Видно, все здесь.

— С размахом аресты проделали! Если верить полицейским и прибудет третья партия, то человек сорок наберется.

— Караваев не мог знать столько. Мы же пятерками...

Один из стоявших странных типов опустился на пол рядом с Карно, и тот ничего не ответил. Разговор прервался. Так они и остались сидеть, думая каждый о своем, но, в сущности, оба думали об одном.

Переодевшись в рабочую одежду, Сизов только направился ко второй топке — вчера барахлил основной манометр, — как сверху, по железной лестнице, раздалось звонкое цоканье подков и ноги солдат показались в люке. Ганс Данцер, полуспустившийся из люка, показал рукой на Сизова. Солдаты подошли к Алексею, и один из них взял за плечо. Данцер с верхней площадки распорядился:

— Вы, Сизов, должны следовать за солдатами. Вам объяснят, за что вы арестованы.

— Я арестован?! — Сизов сделал испуганное лицо и судорожно облизнул сразу запекшиеся губы. — Но за что?!

Немец, державший его за плечо, подумал, что тот отказывается идти, и коротким толчком в спину отбросил хлипкого Сизова к основанию лестницы. Сизов не удержался на ногах и осел на первую ступеньку. Пытаясь схватиться за поручень, он больно ударился спиной об угол. Спина ныла, но он суетливо начал подниматься вслед за солдатом, а второй конвоир шел сзади, покрывая:

— Шнель, шнель!

У выхода из котельной стоял грузовик. Поднимаясь в кузов, Сизов бросил взгляд на электростанцию. Увидел часы. Они показывали четверть десятого.

Всю дорогу Сизова трясло внутренней дрожью. Когда его вели по лестнице гостиницы «Москва», он шел, втянув голову в плечи и почти не глядя по сторонам, словно боясь, что увидит еще что-то более страшное. Его ввели в большую комнату с номером 03 на двери. Она была залита ярким солнечным светом. Справа, в дальнем углу, стоял стол с пишущей машинкой, за которым сидел солдат. Рядом с ним ефрейтор Гельл. У дивана, напротив маленького столика с бутылкой водки и какой-то закуской — Сизов сразу не рассмотрел — стоял гитлеровский офицер, раскачиваясь с носков на пятки и похлопывая куском тяжелого черного

кабеля по руке в такой же черной перчатке. Казалось, что и кабель и перчатки сделаны из одного материала. Сизов, войдя в комнату, вежливо и быстро поклонился: — Здравствуйте!

Это было, видно, столь нелепо, что немцы громко и открыто засмеялись, а Гельд с сарказмом ответил:

— Добрый день, господин Сизов.

— Да уж какой он добрый, если с работы прямо сняли. А там дел хватает...

— Бросьте, Сизов, бросьте! Работать надо было, когда мы уговаривали вас! А здесь все старательные. — Он подошел вплотную и, заглядывая в глаза Сизову, которые тот с большим трудом старался не отвести, боясь, что его тогда сочтут за виновного, спросил: — Вы хорошо знаете тех, кто работал на электростанции?

— Хорошо — сказать нельзя! Всех не узнаешь!

— Всех не надо, — перебил Гельд. — Мы вам сейчас покажем одного человека, а вы нам потом расскажете о нем все, что знаете. И главное, с кем вы его видели, с кем он дружил и встречался чаще всего?! Вы сами, говорят, были дружны с Морозовым?!

— Что вы, что вы! — замахал руками Сизов. — Он был мой начальник. Кричал только да ругался... А так какое знакомство?! Бог с вами!

— Не торопитесь так сразу ссылаться на бога. Лучше надейтесь на свою память!

Дверь открылась внезапно, и первое, что увидел Сизов, был большой, словно разодранный до ушей, рот. Левая щека кровоточила, а правого глаза вообще не было видно — синюшный наплыв скрыл его совершенно. Руки вошедшего были связаны за спиной. Он тихо стонал, изредка сплевывая на пол сгустки кровавой слюны. Вид крови, да еще в таком избытке, вызвал у Сизова головокружение, и это не укрылось от офицера. Он что-то приказал, и Гельд перевел:

— Подойдите ближе, Сизов. Вы знаете этого человека?!

— Нет, нет, — поспешно заверил Сизов — вид вошедшего не обещал ничего хорошего и его знакомым.

— Да не бойтесь, — с презрением сказал Гельд. — Нам важно, чтобы вы узнали этого человека.

Сизов подошел еще на шаг, хотя и со своего места

видел, что перед ним стоит Толмачев, бывший вратарь «Локомотива», работавший с ним в машинном отделении электростанции.

— Да, теперь узнаю, — тихо сказал Сизов. — Толмачев это, Александр, с электростанции.

— Отлично, — сказал Гельд. — Можете увести, — приказал полицейскому.

Они остались в комнате в прежнем составе.

— Итак, что можете сказать?

— Я с ним почти незнаком. До войны, как и все, ходил на футбол. Знал, что Толмачев неплохой вратарь — играл в «Локомотиве». Звезд у нас было немного. Вот еще Токин...

Гитлеровцы быстро переглянулись.

— Что Токин? Вы знаете его?

— Как болельщик. С трибуны видел.

— А здесь, в городе, встречались?!

— Нет. Слышал, что работает на заводе Либкнехта.

— Что-о?! — заорал Гельд.

— То есть, извините покорнейше, на «Ост-3».

— И все?!

— Все, — неопределенно протянул Сизов.

— Ну, что ж, Алексей Никанорович, сейчас вас отведут в камеру, и будет время подумать, прежде чем вы еще раз скажете «все».

Но вывести Сизова не успели. В комнату из боковой двери, что скрывалась за диваном, вошел человек, которого Сизов никак не рассчитывал увидеть здесь.

Караваев прошел в комнату и уселся рядом с офицером. Они заговорили по-немецки, и жестом Караваев остановил конвоира, выводившего Сизова. Караваев говорил что-то, кивая головой в сторону Алексея, а тот, не зная языка, следил за его губами, мучительно пытаясь понять, о чем ведет речь его столь частый собутыльник. Мысль Сизова работала лихорадочно — он пытался вспомнить, не сболтнул ли чего-нибудь лишнего. Гарантией служила неприязнь ко всему советскому. Правда, неустроенность быта при новом порядке, не нравившаяся Сизову еще более, чем действительность советская, списывалась им совершенно искренне на трудности военного времени, и оба — Караваев и Сизов — в один голос утверждали, что все образуется.

«Неужто забыл, подлец, сколько вместе выпито?! А вдруг набрешет что, и измордуют меня, как этого комсомольца с электростанции?!»

Сомнения развеял голос Караваева:

— Что, Алексей, понервничал немножко? Не переживай. Я сказал господину следователю Молю и готов под присягой подтвердить, что ты человек, к новому порядку лояльный. Моего поручительства предостаточно. Ты свободен. Но, — он картинно вскинул руку, — советую тебе посидеть денька два-три в камерах с арестованными. Во-первых, если сразу выйдешь, твоим друзьям покажется подозрительным. Во-вторых, помоги нам. Послушай, что говорят по камерам. Мы знаем все и можем спокойно расстрелять каждого, как Толмачева, поднявшего при аресте руку на немецкого солдата. Но мы не варвары, мы проведем следствие и, доказав вину, накажем, чтобы неповадно было другим.

Скептически смотревший на Караваева, Гельд тем не менее кивал головой в такт словам говорившего.

Чтобы подтвердить высказанное расположение, Караваев разлил стоявшую на столе водку по стаканам и протянул один из них Сизову.

— Выпей, это поддержит. Всякое придется увидеть. И запомни — мы теперь с тобой одной веревочкой повиты. И если понадобится, будешь делать все, что прикажу...

Он чокнулся с Модем, осушил свой стакан и, встав, по-хозяйски открыл форточку. Вместе со свежим мартовским ветром, пахнувшим сыростью и теплом одновременно, влетели невнятные звуки. Водка на мгновение заглушила все, но, когда жар во рту стал остывать, — потянуться за закуской Сизов не посмел, а ему не предложили, — он явственно услышал несущуюся со двора из уличного динамика музыку. Это был его любимый Чайковский. «Танец маленьких лебедей» — мелодия, волновавшая его некогда до глубины души, непременно вызывавшая безудержное желание помечтать, уйти от обрывдлой жизни куда-то в воздушное, ласковое, нежное. Как ужасно все переплелось — и эти божественные звуки, и эта комната, и окровавленная маска вместо лица бывшего вратаря «Локомотива».

Моль осунулся и похудел. Чтобы поддерживать тонус и спокойнее относиться к изрядно надоевшему спектаклю допросов, однообразных и, в общем-то, не давших за четыре дня никаких результатов, он непрерывно пил. И от этого покалывало сердце. И что самое обидное — поиски главаря не увенчались успехом. Его поимка славно бы завершила проведенную операцию. Вчера наконец он отправил обстоятельный доклад своему начальству и как следует выспался.

«Да, — он смотрел на себя в большое, не по размерам ванной комнаты, привезенное откуда-то зеркало. — Мешки под глазами слегка опали. Или мне это только кажется?» — Он оттянул пальцем веко, и вид красной воспаленной глазницы заставил его вздрогнуть — слишком явственно напомнил кровоподтеки допрашиваемых.

«А собственно говоря, почему бы и нет? Уверен, доведись мне оказаться на их месте, я был бы разделан не хуже. Странно другое — рабочие парни ведут себя слишком грамотно. Не ожидал. Казалось, дурачков легче заставить говорить правду, если и не всю правду, то частями. Дурачки молчат...»

Он начал мягкими мазками наносить на щеки пушистую пену. Наносил тщательно, словно заботился, чтобы каждый волосок получил свою порцию. Заправив в бритву новое лезвие, стал так же старательно выбривать щеки. На правой скуле волосы росли у него в трех направлениях, и ни один незнакомый парикмахер не мог выбрить его тщательно с первого раза. Тыкать носом незадачливого брадобрея доставляло Молью немалое удовольствие.

«Как получилось, что ушел главарь? Мы схватили почти всех, а он ушел. Это не случайность! Значит, кто-то предупредил его?»

Закончив бритье, Моль долго натирал щеки кремом, пока на бледной коже не выступил румянец неестественно коричневого отлива. Тон нездорового румянца опечалил Моля.

«Надо себя беречь. Конечно, солдат, возвращающийся домой с победоносной войны без награды, не солдат. Железный крест стоит того, чтобы не поспать из-за него несколько ночей. Но все-таки здоровье дороже всяких иных благ. Хорошо, что удастся соблюдать диету.



С детства отец приучил меня есть только необходимое организму. Он справедливо утверждал, что лишь треть съдаемой пищи поддерживает в нас жизнь, а за счет других двух третей живут наши врачи.

Расстроганный воспоминанием об отце, он, напевая легкий марш, быстро оделся и подошел к телефону.

— Гельд, как дела? Все готово? А сброд вывели весь? Так, так. Хорошо. Я буду через несколько минут. Кстати, Шварцвальд пришел? Пригласите его, ему будет полезно посмотреть этот спектакль.

На ходу натянув перчатки, он вышел во двор. Вчерашняя затоптанная брусчатка была покрыта свежим, легким снежком. Морозило по-утреннему, как только может морозить в марте, когда холод еще силен, но в него уже не веришь, зная, что власти зимы приходит конец.

«Майн гот! Как нелепо одсты эти свиньи! — Моль оглядел строй заключенных, прижатых к трем стенам. — Когда они вместе, это внушительная толпа. Когда идут через кабинет по одному, просто нудная и бесконечная вереница теней».

Подошел Шварцвальд, и они поздоровались.

— Что вы затеяли, Моль? Гельд звонил мне, будто у вас дается преинтереснейший спектакль.

— Так и есть. Сейчас мы проведем показательную казнь одного из этих ублюдков. Думаю, что, увидев все воочию, остальные будут на допросах словоохотливее.

— Моль, я же вам говорил, что не люблю смертей, — поморщился Шварцвальд.

— А это разве смерть? Это уничтожение скота. Не больше.

Шварцвальд промолчал, не желая вдаваться в спор с человеком, располагавшим, по его данным, отличными связями в Берлине.

«Когда-нибудь, — рассуждал Шварцвальд, — эта совместная служба в заброшенном русском захолустье может оказаться неплохой основой для карьеры. И черт с ним, что он немножко садист. У каждого из нас есть недостатки. Но он мне пока не вредил».

За спиной послышались шаги. Они обернулись. Толпа, не понимая еще толком, зачем выстроили се под дулами стольких автоматов, повернула головы влево. Между двумя конвоирами, здоровенными полицейскими, одного из которых Моль нередко видел у дома убитого

партизанами бургомистра Черноморцева, шел Толмачев. Руки его были связаны за спиной грязной веревкой. Лицо чисто вымыто, хотя следы побоев от этого казались еще страшней. Его поставили лицом к толпе, прижав спиной к высокой кирпичной стене. Конвоиры стали напротив, взяв автоматы на изготовку.

Моль сделал знак Гельду, что можно начинать, и тот, повернувшись к толпе, громко, будто благовещал, заговорил:

— Вы все знаете, сколь милостив новый порядок к людям, которые лояльно и честно выполняют свои гражданские обязанности. Но в нашем городе обнаружена группа, которая активно выступала против немецкой армии. Всякий порядок только тогда будет порядком, когда он строго выполняется. Один из его непоколебимых законов — неприкосновенность жизни немецкого солдата. Стоящий перед вами бывший рабочий электростанции при аресте пытался взорвать немецкого солдата гранатой. В его доме обнаружено также два автомата и много патронов. Любой террорист согласно законам военного времени подлежит расстрелу без суда и следствия, но мы милосердны. И провели серьезное дознание, полностью подтвердившее его вину. Именем нашего великого фюрера Адольфа Гитлера он приговаривается к расстрелу.

Моль с интересом переводил взгляд с лица Толмачева на лица в толпе, стараясь уловить ту реакцию, которую производят слова Гельда. Тупое безразличие со стороны Толмачева насторожило его.

— Мы надеемся, что все стоящие здесь правильно поймут наши усилия, направленные на выявление виновных и их наказание. Невинные будут немедленно освобождены. Виновные расстреляны.

Гельд закончил свою речь явно не в том порядке, какого требовало произнесение приговора, и, несколько не смущаясь повторением, сказал:

— Именем нашего великого фюрера Адольфа Гитлера Толмачев Александр приговаривается к расстрелу. Приговор приводится в исполнение немедленно.

Легкий шум прошел по толпе. Но Толмачев, ошалевший от побоев, стоял все так же безучастно, будто слова Гельда к нему не относились.

Моль увидел, как в глазах невысокого старика по-

явились слезы. И это было приятно. Двое или трое стоявших в первом ряду зажмурились, но испуганно распахнули глаза вновь, когда дружно, парой, ударили автоматы и извивающееся тело Толмачева по-вратарски мягко легло на брусчатку.

Толпа молчала, но в ее молчании Моль не улавливал признаков страха, которые жаждал найти.

— Тело не убирать, — тихо сказал Моль стоявшему рядом Гельду. — Пусть впитывают вкус смерти подольше.

Шварцвальд стал прощаться.

— Извини, Дитрих, я должен идти. Дела. Желаю успеха в борьбе с этими свиньями.

Он пошел своей негнущейся походкой, а Моль стал раскачиваться с носков на пятки, как делал это во время допросов. Во дворе висела гнетущая тишина. Кто-то врубил музыку через уличный динамик, и, поморщившись, Моль приказал:

— Развести всех по камерам!

Он крупными шагами направился к двери и поднялся в кабинет.

«Посмотрим, будут ли скоты так же упрямы, — с вождением потерев остывшие в перчатках ладони, подумал он. — Спектакль в целом удался. Если бы не эта дурацкая музыка. Надо предусматривать все до мелочей...»

## СЕНТЯБРЬ. 1959 ГОД

Время от времени я получал небольшие казенные конверты всесоюзной справки, в которых лежало или печальное сообщение, что интересующий меня человек уже никогда не сможет со мной встретиться, или, что было чаще всего, в картотеках управления данное лицо не числится. Это значит, что приведенные мною данные были не точны или не полны, или судьба так кинула человека, что даже контроль паспортного режима не в состоянии за ним проследить. Конечно, я сразу же заказал справку по Караваеву и быстро, гораздо быстрее, чем ожидал, получил ответ: «по данным Старогужского городского паспортного стола товарищ Караваев Владимир Алексеевич погиб во время апрельского

расстрела участников подпольной антифашистской организации».

Редкую радость приносили письма, в которых сообщался адрес пусть и не самого главного, но одного из очевидцев той поры. И тогда я, бросая все, как можно быстрее бежал, летел, ехал на встречу с новым свидетелем старогужских событий. Как правило, такие встречи приносили мало. Лишь еще раз убеждая в запутанности жизни, удивляя, как можно одно и то же событие изложить столь по-разному, что нет никакой возможности установить наиболее правдоподобный вариант.

Леопольд Леопольдович Нечаев в футбол вместе с Токиным не играл, но слыл ведущим велогонщиком города. Поскольку Старый Гуж, как и большинство русских городов, в своих спортивных симпатиях был однолюбом, то футбол затмевал все. Занятия парня, который крутит педали в беспредельном одиночестве дорог, мало кого интересовали. Но Нечаев, будучи в одном с Токиным спортивном обществе железнодорожников, не мог не знать ребят.

Нечаев ныне жил в Туле. Работал тренером сборной команды советских велогонщиков. Неоднократно выезжал за рубеж, хотя сам в седле особых успехов не добился, потому как, несмотря на свойственную тулякам любовь к треку, на трек идти не захотел. Шоссейная гонка манила его простором, возможностью широко размахнуться для настоящего спортивного удара. Арсенал трековика казался ему бедноватым, сковывал широкую душу Лепы, как называли его, когда я спросил, где найти Нечаева, появившись на тульском треке.

— Лепу? В мастерских-то под противоположной трибуной.

На тульском треке я был только однажды, с рейдом по проверке готовности спортивных баз к летнему сезону. Велосипед, честно говоря, я тоже не считал достойным мужчины занятием. И только однажды по оказии попав на один из этапов «Тур де Франс», вдруг понял, что в своем представлении о велоспорте нахожусь на уровне обывателя, который считает, что карточная игра разорительна, забывая, что она разорительна не более чем все игры, в которые мы не умеем играть.

Мастерская находилась в низком полуподвальном

помещении и была, как всякая мастерская, заставлена верстаками, унизированными тисочками и рисками, заброшена тысячами металлических предметов самой разной формы и размеров. Я всегда с благоговением относился к механикам за их неповторимое умение из вороха хлама вдруг найти какую-то вещицу и тут же пристроить ее к месту, заставляя почти бросовый хлам жить и давать жизнь другим.

Лепой оказался проворный, подростком шмыгнувший мимо меня мужчина, на которого я вначале не обратил внимания.

Говорил Лепа так же быстро, как и бегал:

— Из самой Москвы? Ко мне? Из «Спортивной газеты»? — Но потом, на какое-то мгновение посерьезнев, добавил: — А вы не ошиблись, товарищ?! Я уже не тренер сборной. И вряд ли...

— Честно говоря, — перебил я, — меня меньше всего интересует велосипед.

— Ну вот, — вновь затараторил он, — я так и знал, что вы ошиблись. Что вы не ко мне. У меня в последние годы мало удач, а ваш брат к неудачнику редко ходит...

Пришлось опять его перебить:

— Меня интересует ваша жизнь в Старом Гуже во время оккупации.

Мне показалось, что Лепа как-то сразу сник и слишком внимательно посмотрел на меня.

Я ждал от него любой реакции, кроме наступившей.

— Хорошо, — сказал он просто. — Пойдемте-ка на трибуну, сядем на тепленьком солнышке и поговорим.

Мы поднялись на верхний ряд трековой трибуны, так что два горкообразных поворота как бы опрокинулись под нами. Напротив, за трибуной, на фоне серых редких облаков, в остатках царственного золотого наряда плыли вершины полураздетых тополей и еще плотно-кронных берез. Легкий ветерок тянул то справа, то слева, и казалось, пестрая стайка трековиков гонялась за ветром, стараясь поймать его порывы в свои вздувавшиеся пузырями майки. Так носятся ласточки над волной, то взлетая стрелой, то соскальзывая на крыло и подхватывая мошку над самой водой.

Я начал без объяснений:

— Вы знали Юрия Токина?

— Знал. Это был центр нападения «Локомотива», спортивный кумир нашего города.

— Почему он остался в оккупации?

— Он не остался. Он попал, как попадали многие.

— Что он делал при гитлеровцах?

— Вас интересует он или прямо перейдем ко мне?

— Сначала он...

Лепа пожал плечами — жест, выражавший скорее — ну как вам угодно!

— Токин руководил подпольной организацией. Что они делали, толком не знаю. Хотя об организации говорили многие. Я к ним не имел никакого отношения. Не потому, что увиливал от борьбы, — скорее они, футболисты, относились к нам, представителям других видов спорта, с презрением. Меня это всегда бесило. За неуважением к многоликости спорта, я считаю, скрывается обычное невежество человека.

«Интересно, — подумал я, — заметил ли Лепа, как я покраснел? А уж что покраснел — так точно. Словно он по мне прошелся».

— И все-таки, наверное, не только эта спортивная антипатия была причиной вашей отчужденности?!

— Верно. Не только. И не главное. Хотя и существенно осложняло дело. У меня был ранен брат при обороне Старого Гужа. Он умирал на руках матери. Ему оторвало обе ноги. Спасти не удалось — слишком большая потеря крови. Мать его смерти не перенесла. Слегла сразу же без болезни. Попить сама не могла. Перед смертью брата только что получила похоронку на отца. Сами понимаете. Вот я и крутился: паек зарабатывать надо, и от дома не отойти. Наверно, это предосудительно, но мать мне показалась дороже того скромного вклада, который я мог бы внести в борьбу...

Откровенность, с которой Лепа сделал это не очень лестное для себя признание, меня удивила.

— Мать умерла накануне прихода наших. Буквально за день-два. И я ушел на фронт. Воевал. Года три, знаете, если интересовались велосипедным спортом, выступал за армейский клуб Москвы. Потом пригласили в Тулу. Приехал, женился, и вот живу...

Он вздохнул, словно в этой цепи событий где-то сделал давно замеченную ошибку, которую уже, к сожалению, исправить невозможно.

— Что с Токиным, не знаете? — спросил я, стараясь проверить еще раз Лепу.

— Не знаю. Слышал, был осужден за предательство организации. Откровенно, это показалось мне странным. Проверить — случая не представилось. В Старом Гуже был дважды и то проездом — ничего меня с ним не связывало, разве только могилы брата да матери.

— Юрия оправдали. После освобождения работал шофером, попал в катастрофу, и его разбил паралич. Сейчас живет в Вологодской области, в деревне, — сказал я, внимательно изучая лицо Лепы и стараясь определить по реакции, как относится он к такой информации, выпаленной мною сразу, после многих наводящих вопросов.

Лепа понял.

— Проверяли. Дескать, что знаю и как. Ну, коль пошло начистоту, хочу и я знать, зачем вам это все нужно.

Я рассказывал быстро, натренированно, поскольку уже выработался некий стереотип, когда сама фабула излагается, но настолько, чтобы собеседник, поняв смысл, не уловил деталей.

Лепа поверил и повеселел.

— А я, знаете, в позапрошлом году встретил одного немца, который работал начальником электростанции после того, как расстреляли Морозова.

— Его фамилия Данцер?

— Точно. Старенький такой. В немецкой велосборной механиком работает. Хотя у самого довольно приличный магазин велосипедного оборудования. Познакомились, потому как говорит по-русски. Сносно говорит. Начал рассказывать, что был в России. Слово за слово, оказалось, почти знакомые. Ребята гонщики смеялись, говорят, по такому случаю попроси его подкинуть полдюжины «компанелл». Это трещетки. Классные.

— Он не рассказывал что-нибудь об организации?

— Постараюсь вспомнить весь разговор. Рассказывал, что Морозова расстреляли не за срыв подачи тока, а как советского военного разведчика. Готовил большой взрыв электростанции. Долго искал заряды, которые не успели взорвать во время отступления. Уже было все подготовил, но на чем-то попался. Данцер говорил, будто бы его кто-то выдал. Кто — Данцер не помнил.

Но тот же, кто предал всю подпольную организацию. Гитлеровцы считали, что во главе ее стоял Морозов, а Токин только числился руководителем для отвода глаз.

Пожалуй, это была самая интересная информация, которая попала ко мне в руки после признания Секлети Тимофеевны. Я не удержался, достал блокнот и записал: «В военной разведке навести справки о Морозове».

Лепка, как мальчишка, заглянул через плечо и одобрительно кивнул:

— Точно. Может быть, там знают. Мы же Морозова прихвостнем фрицевым считали. Уж старался он, из кожи лез, чтобы станцию в порядок привести. Из ничего собирал. Знал, что сам все это своими руками на воздух поднимет.

— Токина немец упоминал?

— Говорил, что спасся. Но это мы и без него знаем.

— Других фамилий не называл?

— Не помнит. Вот только Морозова, поскольку с ним работал. А вообще он тихий, вроде и не немец. Из тех служаек, что свое дело аккуратно выполнили, и привет. У него сначала задача была — подготовить станцию к переводу на немецкое оборудование. Все ходил с логарифмической линейкой. А когда Морозова убрали, пришлось крутиться. Тут и наши нагрянули.

На трекке появилась новая пара и, вяло раскачиваясь, стала подниматься и падать на поворотах. Я засмотрелся на ладную посадку высокого чернявого парня, на его мощные, мускулистые ноги, на которых, казалось, не только жиринки — волосу удержаться невозможно, на широкую, совсем не велосипедную спину.

Перехватив мой взгляд, Лепка с нескрываемой гордостью сказал:

— Васильев. Мой парень. В деревне подобрал. Два года назад. — Он оживился. — Интересная, между прочим, история. Еду на машине, смотрю, пилит парень на велосипеде в резиновых охотничьих сапогах. Таких, с отворотами. Машина у меня барахла, пару раз вставал километров через двадцать, и каждый раз приходилось этого кота в сапогах обгонять. Когда третий раз нагнал, считать стал, а прикинул — ахнул. Парень крутил так рьяно и легко, что я спидометру не поверил! Ну, фамилию спросил, где живет, а весной в на-



стоящее седло посадил. Вы о нем еще услышите! Впрочем, — вдруг спохватился он, — вам ведь это неинтересно. Вам о прошлом надо...

Я не стал его переубеждать.

— Скажите, Лепа, у вас лично есть какое-нибудь мнение, кто бы мог оказаться предателем?

— Честно говоря, нет. Но в предательство Токина не верю.

— Это уже доказано. Но кто?

Лепа развел руками. Глаза его неотрывно следили за фигурой Васильева, все набиравшего темп и тяжелым, красным буллитом взлетавшего на поворотах к самой бровке трека. Деревянный настил будто прогибался под колесами его машины и легко выталкивал вперед. Я понял, что Лепа весь ушел в свою работу. И действительно, тот закричал, сложив руки рупором:

— Коля! Низко берешь! Низко!

Мы просидели еще с полчаса, наблюдая за тренировкой Васильева и его партнера. Лепа следил, бормоча губами какие-то заклятья. Я порешил для себя непременно вырвать время и написать о Лепе. Но это уже была иная тема...

Настроение сегодня оказалось на редкость благодушное. Иначе я бы никогда не стерпел Вадькиного критиканства. А уж он, сев на любимого конька, как говорят, исходил слюной.

— Ты полный кретин! Далась тебе эта старогужская история? Столько с ней возишься! Даже шефу подсмеиваться над тобой надоело.

Мы обедали в Доме журналиста. Время было пиковое, у дверей стояло несколько пар в ожидании свободных мест, но за наш столик никого по просьбе Вадьки не сажали. Он был завсегдатаем Дома, который я не любил за то, что практически вокруг были те же знакомые лица, что и на работе. Вадьке же доставляло наслаждение здороваться направо и налево. Он будто плыл по знакомым лицам. Всех официанток звал по именам, и на столе появлялись те «резервные» остатки, которые шли в маленький, для невесть какого начальства заведенный зал.

Я улыбнулся. А было не до смеха. Зеленая папка

вспухла, будто почка весной, но пора, когда она разродится добротным листом, не предвиделась. И я только в мечтах представлял себе, как засяду за книгу, как, отрешившись от всего, буду строчить страничку за страничкой, положив слева от себя стопку белой, гладкой-прегладкой бумаги, а исписанные листы кидать вверх, чтобы они неестественно большими хлопьями писательского снега оседали на пол и покрывали его как можно плотнее.

— Вадька, а я ведь почти нашел настоящего предателя.

Вадька отложил вилку и нож.

— Серьезно?

— Вчера разговаривал с Дмитрием Алексеевичем. Он пока темнит, но дал понять, что нащупываются следы Караваева. Представляешь, если мы найдем его и прижмем к стенке?!

— Боже, как несправедливо устроен мир. Для того, чтобы сказать вслух доброе о хороших людях, надо потратить полжизни на розыски подонка. — Вадька оживился. — А?! Ведь ничего сказал, правда?! Записывай, литератор, пока я жив. Такие перлы не должны пропадать. А рассказать подробнее можешь?

Я помотал головой.

— Не доверяешь?!

— Сам не знаю. Нагибин велел ждать. А у меня руки чешутся. Хочу к Сизову прокатиться в Пермскую область. Может, он к дружку подался? Впрочем, Сизов знает, что его отъезд не останется незамеченным...

Тут мне пришла в голову одна мысль, и я сразу же поделился ею с Вадькой.

— Слушай, старик, а что, если он своим переездом решил навести нас сам на Караваева? Я довольно явно дал Суслику понять — не верю ему и подозреваю, что он сыграл «исключительно отрицательную роль в старогужской истории». Может быть, так?

— Фантазия, — решительно сказал Вадька.

Ах, елки-метелки, если бы он поддержал мою версию, я, наверно, забыл бы о ней еще до того как расправился с поджаркой. Но его ответ еще больше укрепил меня во мнении, что идея бесплодна. Остаток обеденного пиршества я скомкал, обидев тем самым

Вадьку почти смертельно, и кинулся в редакцию. Уговорить зама — шеф был в заграничной командировке — удалось легко, и в тот же вечер я вылетел в Пермскую область.

Сизов и не собирался скрываться. Он жил официально, согласно справке паспортного стола, на улице Прокатной, но только не в Перми, а в Липецке, о чем оставил заявление перед отъездом из Перми, в котором провел лишь несколько месяцев. Это очень походило на подставку. Я, увлеченный своей новой идеей, видел доказательства тому в каждом факте.

Прикинув скромные бюджетные возможности, я решил за свой счет перекочевать в Липецк. Вышел из поезда в Грязях и последним ночным автобусом долго тряся по старой, разбитой дороге до областного центра. Приехав, как потом выяснилось, на правую сторону реки Воронеж, был вынужден трамваем отправиться на Левобережье, в новый поселок строителей металлургического завода.

Сизов снимал комнату в двухкомнатной квартире, в которой жила вдова почетного металлурга.

Суслик нисколько не удивился, увидев меня.

— Приехали? — безо всякого интереса сказал он и рыцарским жестом пригласил в комнату. — Располагайтесь, Андрей Дмитриевич. Мария вернется с рынка, позавтракаем. Небось только с поезда?

Остаток ночи я провел на автобусной станции и решил заявиться к Сизову пораньше, чтобы застать до работы, если тот работал.

— С поезда, — подтвердил я, чувствуя, как сон неотступно, клетку за клеткой, захватывает мое тело.

— Никак новое что узнали?

Он сел напротив и застучал пальцами по столу, словно заиграл на неведомом мне инструменте, звучащем только для него.

— Узнал, — я решил идти напролом, — и потратил на это узнавание все время, которое мог потратить на написание того, о чем вы просили.

— Это меня теперь мало интересует. Я живу исключительно другой жизнью и отказался от прошлого.

— А вы уверены, что прошлое от вас отказалось?

Он промолчал.

— Я узнал одну мелочь: Караваев не был расстрелян на Коломенском кладбище...

Сизов скривил губы в презрительной усмешке — точь-в-точь какую носила Секлетей Тимофеевна.

— И что следует из этой выдумки?

— Ничего. Кроме того, что вы, Алексей Никанорович, отлично знаете, что Караваев не был расстрелян.

— Допустим, — он уже пришел в себя.

Вошла Мария с полной кошелкой.

— Готовь на троих, Машенька! У нас гость, дорогой гость.

Когда Мария выкатилась из комнаты, столь тихо и быстро, что я толком не успел ее рассмотреть, Сизов сказал уже глуше:

— Допустим...

— Почему вы не сообщили об этом на допросе в управлении госбезопасности?

— Меня не спрашивали. К тому же я мог ошибиться. И тогда...

— И тогда?!

— Вы очень напоминаете мне Головина. Был у нас такой следователь. Исключительно молодой и горячий. Все понимавший с полуслова.

— Я учту ваше замечание, Алексей Никанорович, но пока ответьте, если можете, на один вопрос: организацию предал Караваев?

Мне показалось, что вздох облегчения, такой внутренних, скрытый, Сизов подавить не мог.

— Не располагаю никакими данными, кроме тех, что изложил, — сухо отрезал Сизов. — Надеюсь, у вас есть еще что-либо рассказать мне?

— Есть. Вы помните Данцера?

— Еще бы! Немец, заменивший расстрелянного Морозова. Мой начальник на электростанции, арестовавший меня.

— Он жив.

— Очень жаль.

— И он рассказал многое, что знали лишь Моль, Гельд, Караваев и... — я сделал умышленную паузу.

Даже пятилетнему мальчишке было понятно, как мучительно ждал своей фамилии Сизов. И это меня очень огорчило. Я вдруг заколебался в версии с Ка-

раваевым, и стрелка подозрения стала клониться в сторону Сизова.

Алексей Никанорович вновь взял себя в руки. Чувствовалось, что на этот раз спокойствие его искреннее.

Пришла Мария и пригласила на кухню завтракать. Пили чай с колбасой и закусывали крупными поздними помидорами, в которых почти не было жидкости, лишь сахаристая розовая мякоть.

— У меня работа с одиннадцати, а Марии нужно уходить, — сказал Сизов, наливая себе новую чашку чаю. — К ней у вас вопросов нет? — Сизов разговаривал так, будто за нашим столом сидела кукла, собственность Сизова, которой он распоряжался по своему усмотрению.

«Странная метаморфоза, — думал я, — по всему казалось, что Мария не из робкого десятка, а так подчинилась, что и смотреть противно!»

Мария была молчалива и совершенно равнодушна ко всему происходившему. На небольшом, лисьем личике тусклыми пятнами темнели глаза. Седеющие волосы были зализаны назад, волосок к волоску, и стянуты на затылке в жидкий узел, из которого крысиным хвостом торчал кончик косы.

Я покачал головой. Мария, словно только и ждала моего жеста, молча встала и, не прощаясь, вышла.

Мы вновь остались одни.

— Что будете делать с Караваевым, коль, допустим, найдете?! — спросил Сизов.

И тут я растерялся. А действительно, что я буду с ним делать? То ли, как предателя, передать — легко сказать «передать» — в руки соответствующих органов, то ли самому допросить? Ясно было одно — если он и впрямь виновен в провале организации, вряд ли станет беседовать со мной столь же спокойно Алексей Никанорович. Неужели все, что знает Караваев, насколько не может повредить ему, Сизову?

— Мне надо с ним поговорить, — не очень уверенно сказал я, отхлебывая горячий чай, который снова налил Сизов, как бы предлагая продолжить беседу.

— Благоразумное решение. Вы всегда уверены, что и с вами хотят разговаривать?

— Не всегда. В частности, не предполагал, что наша беседа будет такой искренней и содержательной.

— Комплимент за комплимент. Исключительно из вежливости, — Суслик облизал губы. — Не ожидал от вас такой бульдожьей хватки! Думал, молодой, увлекающийся — наскоком налетит, зубки обломает, да и скроется...

Сизов долго молчал, потом внезапно, будто выстрелил, произнес:

— Увидеть Караваева можно. Он работает на стадионе «Трактор» тренером по стендовой стрельбе. Известный в Липецке охотник. Фамилия его нынче Торопов, а зовут также, Владимиром Алексеевичем. В двенадцать на стенде у него стрельбы. — Сизов взглянул на часы и облизнул губы. Он не мог не понимать, что совершает предательство по отношению к Караваеву, предательство, неведь какими последствиями тому грозящее, но даже искры раскаяния или сожаления не мелькнуло в его маленьких, смотрящих мимо собеседника глазах.

Сизов снова облизнул губы. И теперь он напоминал мне уже не Суслика, а скорее варана, выбрасывающего перед собой раздвоенный язык.

Верить или не верить?

«Пок! Пок!»

Словно готовились к большому застолью, хлопали пробки выстрелов за белой стеной, отделявшей стадион от опушки засаженного ровными рядами ельника.

Я прошел на стенд. Был он небольшим. Две покосившиеся хибарки из плохо очищенных досок, сквозь которые просматривались и пусковые механизмы, и люди, выплевывавшие с их помощью тарелочки. Я подошел к двум парням в тренировочных костюмах, следившим за тем, как стреляет на круглом стенде пожилой, явно пенсионного возраста человек. Не скрою, подумалось, что, судя по тому, как с завидным постоянством после выстрела вспыхивает на том месте, где находилась тарелочка, черное облачко дыма, стреляет сам Караваев.

— Торопов? — переспросил парень, оглядев меня изучающим взглядом. — Записаться, что ли? Так вон он идет.

От небольшого домика с выцветшим голубоватым плакатом на стене, изображавшим стрелка, шел чело-

век неопределенных лет. Шел, тяжело раскачивая руками и согнувшись, будто нес тяжелый горб или неведомая болезнь скрутила его. Пышная окладистая борода с редкой проседью в золотистых волосах делала Караваева похожим на святого или мученика.

Я шагнул ему навстречу, не в силах сдержать волнения.

— Вы Торопов?

— Допустим, — совсем как Суслик сказал он. И посмотрел на меня снизу вверх — видно, головы поднять не мог, но смотрел пронзительно, оценивающе.

— Я из Москвы. Мне рекомендовали обратиться к вам. Хотелось написать о секции рабочих стрелков. Для спортивной газеты.

— Ничего не получится, — сказал он, стоя передо мной с широко разведенными руками, как делают штангисты, которым мешают мышцы спины опустить их вдоль туловища. — Не получится. Я не люблю вашего брата писателя. И популярности не жажду. Мне хватает удовлетворения в работе.

Он прошел мимо, но Караваев-Торопов не знал, каким настырным бываю я, когда хочу.

— Я буду писать о ребятах, с которыми вы занимаетесь. К вам у меня лишь несколько общих вопросов.

Караваев остановился, будто прислушиваясь к самому себе, и непонятно почему быстро согласился.

— Хорошо. Приходите в пять. У меня кончаются тренировки, и вы не будете мешать. А сейчас уходите.

Он что-то громко крикнул стрелявшему на стенде, и стрелок, переломив ружье и небрежно повесив его на плечо, пошел к Караваеву, но тот опять что-то крикнул, и человек, послушно вернувшись, начал собирать стреляные гильзы.

— Торопов порядок любит, — сказал стоявший рядом парень, указывая на тренера. — Аккуратный человек.

В пять, когда я пришел на место назначенного свидания, сотни раз мысленно проговорив все, что хотел спросить у Караваева-Торопова, знаменитый тренер не явился. Я прождал его больше полутора часов, но безрезультатно. Бросившись в Горсправку, узнал адрес и пришел домой.

Однокомнатная квартира в длинном, желтом, барачного типа сооружении была заперта на три видимых замка. И я не смог достучаться.

Вышла соседка.

— Чего гремите? Уехал он часа три назад. За ним заехали товарищи, и они уехали. Наверно, на охоту. Теперь в понедельник, раньше не будет.

Ждать было бессмысленно, надо было подключать Дмитрия Алексеевича. И хотя практически я не узнал ничего нового, меня распирало от самодовольства, что нашел удачный ход и не ошибся в расчете.

## АПРЕЛЬ. 1942 ГОД

Первый допрос для Кармина был самым тяжелым. Потом обвыкся. Допрос походил на допрос, с теми же побоями, попытками отмолчаться, с очными ставками, опознаниями людей, которых он знал многие годы и должен был делать вид, что не знает, с молниеносными решениями, что можно говорить и что нельзя.

Черный кабель Моля, свистевший в воздухе, и парабеллум Гельда, зверевшего от допроса к допросу, уже казались обычными канцелярскими принадлежностями.

...Двое суток Кармин лежал в камере. Хотелось есть, но кормили плохо. Кидали в комнату бачок с бурдой, и Бонифаций, взявший распределение питания в свои руки, аккуратно разливал тепловатую жидкость по алюминиевым мискам. Мучило неведение: что знают об организации?! Казалось, что для начала о Кармине забыли. Пожалуй, уже вся камера перебивалась на допросах — его не трогали. Кармин вернулся с допроса повеселевший, рассказывал многое иносказательно, но дал понять, что у него сложилось впечатление, будто знают они куда меньше, чем можно было ожидать. Как-то, очнувшись ночью, — нестерпимо затекла спина и болела шея от неудобного положения, в котором он спал, — Кармин долго сидел, уставившись открытыми глазами в темноту камеры.

«А может быть, они и вправду ничего не знают? Может быть, мы попались в случайной облаве? Но почему так методично, организованно?! И почему так много знакомых лиц? А если принять версию, будто



аресты необходимы для угона молодежи в Германию, то зачем тогда расстрел Толмачева и объяснения Гельда?»

Вопросы теснились, набегая друг на друга, и с каждым разом загадки принимали все новые и новые формы. Когда в полдень его вызвали на первый допрос, он где-то в глубине души даже обрадовался — наконец сможет ответить на многие из бесчисленных «почему».

В сопровождении двух полицейских Кармин вошел в знакомую комнату. Собственно, ее и не было — он шагнул скорее в плотный полукруг людей, стоявших в молчаливом ожидании его прихода. Они стояли, заложив руки за спину, только Гельд, которого Кармин уже знал достаточно хорошо, держал перед собой парабеллум и поигрывал им, будто связкой ключей. За своей спиной он слышал тяжелое напряженное дыхание замкнувших круг полицейских.

Мольт кивнул головой, и удар сзади бросил Кармина на колени. Он взмахнул руками и сумел удержаться на полусогнутых ногах. А может быть, удержался от встречного удара сапогом, который нанес стоявший рядом с Мольт фельдфебель. Тошнота подступила к горлу. Кармин почувствовал, как ноги становятся ватными, и он медленно осел на пол. Рот наполнился кровью. Александр поспешно сплюнул и слышал над собой голос Гельда:

— Ну что, комиссар, заждался? Думал, о тебе забыли? Встань! Это тебе будет вместо «здравствуйте». Чтобы не питал никаких иллюзий и знал — говорить правду, и только правду.

Мольт сделал знак. Фигуры разбрелись к стенам. И тогда Кармин ощутил, насколько просторна комната, так просторна, что, кажется, и сил не хватит дойти до стены и опереться рукой, когда станет совсем плохо.

Мольт сел на диван.

— Начинайте, Гельд.

Тот кивнул и, повернувшись к немцу, сидевшему за машинкой, что-то продиктовал.

Раздался дробный, будто свинцовые капли били по гудящей голове Кармина, стук пишущей машинки. И даже когда она умолкла и Александр услышал голос Гельда, ему показалось, что машинка звучит не пере-

ставая, будто перемалывая все, что касалось его, Кармина, будущего.

— Это были формальности. А теперь к делу, — сказал Гельд после того, как Кармин ответил на вопросы, касающиеся биографии. — Откуда вы узнали, что в Старый Гуж собирается приехать фюрер?

— Кто? — переспросил Кармин.

— Наш фюрер, Адольф Гитлер.

— А-а! Фельдфебель, начальник караула электростанции, многим рассказывал о поездках фюрера на фронт, сказал, что скоро он будет и здесь, по дороге в Москву.

— И что собиралась предпринять по этому поводу ваша организация?

Как ни иезуитски был поставлен первый вопрос по делу, у Кармина хватило духу ответить:

— Я не знаю, о чем вы говорите. Если бы Гитлер приехал, мы бы встретили его достойно.

— О, не сомневаюсь! — подал по-немецки реплику с дивана Моль. — Где хранится переданная красным разведчиком взрывчатка для подрыва поезда Гитлера?!

Гельд перевел.

— Не знаю ни о какой взрывчатке. Я работал на электростанции. Можете спросить у начальника...

— Не у Морозова ли? — Моль усмехнулся. — Нашли себе достойного свидетеля! Вот что, Кармин, кончайте играть в незнайку! От скорости, с которой вы расскажете все, зависит ваша жизнь. — Моль говорил быстро, но еще быстрее переводил Гельд. Кармину казалось, что он говорит с Модем без переводчика. Может быть, эффект этот усиливал стук машинки в ушах, заглушавший тихую лающую речь Моля.

— Где Токин? — Гельд подошел к Кармину вплотную. — Куда спрятался предавший вас трус?

— А почему я должен знать, где он? Токин мне не родственник.

— Послушай ты, свинья! Когда я говорю, что мы все знаем, я не шучу. Не понимаешь? Может, тебе разъяснить при помощи этого? — Он сунул стволом парабеллума в лицо Кармина, и Александр почувствовал, как острый угол мушки резанул щеку. Но он не отстранился.

— Я не знаю, где Токин. Мы редко виделись с ним в последнее время. До войны играли в одной команде...

— Спортивные мемуары нас не интересуют. Расскажите, во что вы играли последние месяцы?

— Зима! Какая же игра? — опять прикинулся дурачком Кармин. — Работать не успевали.

— А вечеринки проводить каждую неделю успевали? Может быть, ты красотку Черняеву не знаешь? Или эту ленинградскую куклу, которая жила с Токиным? Ну же, ну же, отвечай! И не надо так долго думать, может расколоться голова! — Гельд замахнулся парабеллумом, Кармин зажмурил глаза и невольно поднял руки, чтобы прикрыть лицо, но окрик Моля остановил удар. Гельд выругался и отошел к солдату, писавшему на машинке. — Так дело не пойдет, — начал он переводить речь Моля. — Ты будешь говорить правду? Это первый вопрос, на который я хочу получить честный ответ.

— Я говорю все, что знаю... — ответил Кармин.

— Тогда расскажи, кто навел партизан на убийство бургомистра Черноморцева, кто взорвал генератор, кто учил мальчишек собирать оружие и воровать гранаты у немецких солдат, кто сжег склад на Московской площади? Имена, и только имена!

Кармин молчал. Многое из перечисленного Молям было в действительности — кто-то уже рассказал немцам о делах организации. Многое, похоже, было ими додумано. И вот тогда-то родилось молниеносно, как рождается в минуту опасности, решение. Александр с мучительным стыдом вспомнил весь разговор у часовни на Коломенском кладбище, свое поведение и, как бы шагнув вперед, сказал:

— Хорошо. Скажу все. Организатором этих дел был я. Только я. Токин и еще Толмачев помогали мне в боевых операциях. Никакой организации не было и быть не могло. Вас все боятся, а мы не боялись. Токин, наверное, сбежал, когда начались аресты. Но он был трусом не только сейчас. Он был трусом всегда и никакого отношения к руководству боевыми операциями не имел.

Кармин говорил быстро, будто спешил, будто чувствовал, что, если не спешить, ему не дадут высказаться.

ся, не поверят. И он почти сорвался на крик. Мольтер, положив руки на колени, и, как змея, на полу перед ним вился кабель. Гельд диктовал немцу торопливо, пытаясь уловить все, что говорил Кармин.

— Меня вовлек в боевые действия Морозов. Я не знал, что он разведчик. Он говорил, что надо бороться, и это мне нравилось. Это по-футбольному. Кто видел, как я играл, знает, что я был самым агрессивным на поле. А Токин хоть талантлив, да труслив. Я всегда ненавидел его как зазнайку и как человека, которому незаслуженно выпадает слишком много славы...

Мольтер подкинуло, будто пружиной.

— Хватит! — заорал он с такой яростью, что даже солдат перестал печатать на машинке и с удивлением посмотрел на своего начальника.

Мольтер отдал стоявшему все время безучастно у окна фельдфебелю какое-то распоряжение и двинулся в сторону умолкнувшего Кармина. Мольтер шел прыгающей походкой, по-кошачьи мягко переставляя ноги, впери в Кармина неподвижный взгляд, словно гипнотизировал. Когда между ними остался едва ли метр, он сделал молниеносное движение рукой. Кармин прозевал его. Свист кабеля — и ожог, будто провели паяльной лампой по лицу, заставил вскрикнуть и закрыть глаза. Он замер в ожидании следующих ударов, но их не было. Когда Кармин открыл глаза и окружающие предметы постепенно начали принимать резкие очертания, он увидел перед собой не лицо Мольтера, а лицо Караваева. Оно улыбалось.

— Здоров ты врать! Вот уж не думал. Правда, на заседаниях штаба ты всегда отличался фантазией, помнишь? Поднять восстание в лагере? — Он засмеялся и что-то сказал Мольтеру. Но Мольтер недовольно поморщился. — Что же ты, советский Сусанин, так глупо жертвуешь своей жизнью ни за что? Ай, ай! «Родина не забудет»? — передразнил Караваев. Он взял из рук Гельда парабеллум и, подойдя еще ближе к ничего не понимавшему Кармину, поднял ствол прямо к глазам. — Врать и оправдываться бессмысленно! Ты должен понять: здесь хватит любых доказательств деятельности организации, чтобы пустить тебе пулю в лоб! И не одну пулю. Ты можешь выкупить свою жизнь. Цена — пуля. Имена тех, кто настроен против немцев?! Име-

на руководителей пятерок?! Где Токин?! Об остальном можешь не беспокоиться.

— У, морда! — волна дикой ярости бросила Кармина вперед. Он почти выбил парабеллум из рук Караваева, но твердый, боксерский удар левой остановил его, а следующий удар рукояткой пистолета отбросил к двери. Потом удары посыпались со всех сторон. Ему казалось, что он стоит, но руки ползали по скользкому полу, пытаясь найти опору. Какие-то тяжести припечатывали кисти рук к паркету, видно, наступали ботинками.словно в поврежденном мениске, в груди булькала кровавая жидкость. Дышать было невозможно.

Очнулся Кармин в камере. Его голова лежала на чем-то мягком.

Окончательно придя в сознание — свет бил в потолок из окна, яркий, веселый, солнечный, — увидел склоненное над собой, только вверх подбородком, лицо Бонифация, приговаривавшего:

— Ничего, Сашок, ничего. Обойдется, миленький, обойдется. Поправимся, и пройдут все боли, сынок. Пройдут, Санечка.

Кармин хотел пошевелиться, но тело не подчинялось — он смог лишь тихо дернуть головой...

А потом началось. Через два дня в камеру бросили избитого до полусмерти Карно. Старик лежал бездыханно, и Кармину, еще самому не оправившемуся от побоев, порой казалось, что Бонифаций умер. Подозвав на помощь кого-то из ребят, сначала шарахавшихся от избитых, но потом привыкших, Александр сделал старику искусственное дыхание и, опустив посиневшую кисть руки на волосатую грудь Карно, пытался прослушать удары сердца. Когда Карно пришел в себя, Кармин сказал ему о предательстве Караваева.

— Я знал, знал это, — сказал старик. — Надо сделать все, чтобы на воле узнали о предателе. Выберемся отсюда — отомстим.

С каждым днем Кармин все меньше верил в то, что удастся выбраться. Допросы становились короче и проводились реже. Он несколько раз видел, как из комнаты допросов вытаскивали бесчувственные тела ребят. Александр с трудом узнавал их, но память накрепко фиксировала страшные встречи. Старика Архарова истерзали так, что, казалось, его рвали дикие птицы. Го-

ловой по полу протащили Стаську Тукмакова, кричавшего истошно, видно, от нестерпимой внутренней боли. Мишку Казначеева провели так близко, что Кармин даже коснулся плеча, могучего плеча штангиста, одного из лучших в городе. Когда Кармина вели после очередного избиения, зябко поеживаясь, прижалась к стене Рита Черняева, в сопровождении полицейского, крепко державшего ее под руку.

Окно камеры, заложенное кирпичом так, чтобы с пола не рассмотреть, что делалось на улице, заканчивалось вверху решеткой. И если Кармину позволяли ненадолго утихавшие боли, он залезал на подставленные колени и выглядывал на волю. Окно выходило во двор и упиралось в глухую стену противоположного дома. Видеть, собственно говоря, было нечего. Только кусок крыши флигеля как бы тянулся к окну, и по нему, под весенним солнцем, сновали кудлатые воробьи, чистились клювиками и громко, было слышно за двойными стеклами окна, судачили о чем-то своем.

«Весна», — думал Кармин, глядя на жалкий ошметок снега, по-грибному спрятавшийся за северной кромкой стеного выступа.

Он старался не думать, что будет с ними. Не потому, что смирился, — размышления на эту тему лишь усиливали терзания. Он думал о весне отвлеченно, словно они существовали в разное время — весна в свое, а он, Александр Кармин, в свое. И время у них разное, и интересы тоже разные. Он считал дни, проведенные в тюрьме, и у него выходило, что апрель катится к середине. Вот-вот вскроется Гуж. И пойдет крутить льдины по воде. И половодьем захлестнет все окрест. И бить шук тогда острогами — одно наслаждение. Бить ночью, с фонарем, слегка побаиваясь не очень-то шустрого рыбнадзора.

Каждый из сидевших в камере пытался по очереди выглядывать в окно. То ли желая посмотреть, что делается на воле, то ли надеясь увидеть кого-нибудь из родственников и передать весточку, ведь терзаются небось в неведении.

Теперь Кармин знал наверняка, что с железной логикой было продумано все — от ареста до допроса. Их распахали в камеры, которые выходили во внутренний двор. Их разместили так, чтобы члены штаба, кото-

рых, конечно же, Караваев знал лучше других, не сидели вместе. Только однажды они оказались на несколько часов вместе с Филиным, но рядом так демонстративно устроилась пара незнакомцев, что они почти не говорили. Да и о чем говорить? Он только спросил:

— Видел Караваева?

Филин кивнул головой.

— Глаза бы мои на него не смотрели...

Ночи приносили облегчение. Они валили людей на пол, на тряпье. Во сне удавалось забыться. А дни тянулись нещадно, словно медленная лебедка, выбирающая из колодца бесконечный трос. Шаги за дверью, крики избиваемых где-то внизу и наверху, потом тишина, обманчивая, напряженная. И снова шаги, и падения тел, и скрипучий лязг больших металлических запоров на тяжелых дверях, и нестройная перекличка на смеси русского и немецкого языков, и снова тишина. И тогда остаешься один на один со своими мыслями. Размышления не приносят ничего, кроме тупой боли, заставляющей сжиматься сердце.

Сегодняшний день выдался особым. Почти к вечеру — Кармин не слышал, с чего началось, — вдруг ударил взрыв. Окно будто вогнулось и дохнуло звуком в камеру — упругим и тяжелым. Взрыв поднял арестованных на ноги, всех, кроме Карно, только приподнявшегося с полу.

— Что случилось?

Но прежде чем успели ответить Бонифацию, захлопали зенитки, и в окне Кармин увидел стайку самолетов, пронесшихся над самой крышей.

Потом еще раздалось несколько взрывов, то громких, то более приглушенных. По коридору забежали. Раздались голоса команд. И Кармин понял, что это бомбежка и что виденные им самолеты наши, советские. Но тут все утихло. А в камере — и Александр был уверен, не в одной только их камере — принялись горячо обсуждать первую, за все эти долгие месяцы оккупации советскую бомбежку Старого Гужа.

— А-а, черти, забежали?! — бормотал Карно и показывал рукой в сторону двери. — И чего они, родимые, не угодили в это проклятое богом здание?! Уж лучше бы вместе с палачами нашими. Хоть мстостью бы насытились!

— Бонифаций, а это ведь значит, что мы набираем силу! Видишь, и до Старого Гужа руки дошли!

— Может, о нас узнали? — тихо, чтобы не слышали соседи, сказал Бонифаций.

— Токин, думаешь? — произнес Кармин.

Бонифаций кивнул.

— Добрался, наверно.

— Что он там расскажет?! — Кармин поперхнулся. — Что вышел один? Жалкая шайка приятелей оказалась выполнить его, руководителя, приказ?! Не больно это красиво!

— Не в красоте дело! Ведь остались не для развлечения картежного, — обиженно сказал Бонифаций. — Коль не так что сделали — на том свете сочтемся! Главное — жили по-людски и умрем, как жили.

— Не хочется умирать, — задумчиво протянул Кармин. — Не хочется, — повторил, словно уговаривая себя.

— Так, к слову сказал, — поспешил заявить Карно. — Умирать нам ни к чему! Пусть они умирают. А мы еще, Сашок, с тобой проживем назло Караваевым!

Он сел, обнял Кармина своей сухой сильной рукой и умолк. Так, молча, обнявшись, они и просидели до сумерек.

Списки были готовы, но требовалось выполнить формальности — заверить их в военной комендатуре. Шварцвальд тем временем заартачился, считая, что тайная полиция не произвела должного расследования и предлагаемая столь массовая экзекуция не пойдет на пользу, а вызовет лишь озлобление и, возможно, беспорядки. Моль говорил с комендантом по телефону резко, как не разговаривал никогда. Но Шварцвальд стоял на своем.

— Дитрих, я прекрасно понимаю, что вы проделали огромную работу. Но как комендант, отвечающий за жизнь города, а не нескольких десятков свиней — поймите, мне их не жаль, — я не разделяю вашего мнения о необходимости расстрела всех восьмидесяти человек.

— Семидесяти двух, — поправил Моль.

— Пусть даже стольких...



— Но мы доказали виновность каждого из них. Вы можете ознакомиться с протоколами допросов в любую минуту.

— Хорошо, — Шварцвальд поморщился. Моль выходил из себя, а ссориться с ним из-за такого, хоть и не пустякового, дела, все-таки не следовало. — Предлагаю компромисс. Расстреляйте сейчас любую выбранную вами половину виновных. А остальных можно будет расстрелять позже. Посмотрим, какова будет реакция населения. Останется шанс сыграть на нашей справедливости.

Моль хотел вспылить, но мысль коменданта показалась разумной, тем более что расстрел в две очереди устраивал его больше — сделать приготовления к сегодняшней ночи едва успевали.

— Я к вам зайду, Вильгельм, — сказал Моль, — и мы обсудим лично.

— Милости прошу. Угощу французским коньяком и чашечкой доброго кофе.

Перепечатка сокращенных списков заняла полчаса. Когда Моль вошел в кабинет Шварцвальда, просторный настолько, что казался скорее временным прибежищем, чем рабочим местом, комендант, надев очки, просматривал недельную сводку.

Они перешли к кофейному столику, и Моль передал Шварцвальду список, уже заверенный им и Гельдом. Шварцвальд увидел только цифру «тридцать семь» и, не глядя, подмахнул документ. Отложив его в сторону, сказал:

— Вы не забыли, дорогой Дитрих, что в списках расстрелянных должен быть и Караваев. Берлин очень настаивает на этом.

— Конечно, не забыл. Хотя признаюсь, сам Караваев почему-то не разделяет разумности этого шага. Впрочем, наверху виднее.

— Вы его повезете на расстрел?

— Нет. Пусть поверят на слово.

— Когда планируется?

— Сегодня в полночь.

Шварцвальд вздрогнул.

— Не ожидал такой оперативности.

— Не забывайте, дорогой комендант, что порабо-

щенные — это порох. И его надо как следует подмочить, иначе трудно спать спокойно. Как вам понравилась советская бомбежка?

Шварцвальд отхлебнул кофе.

— Случайность. Чистая случайность. Агония умирающего зверя.

— И я так думаю, — поддакнул Моль.

— Как поступим дальше, дорогой Дитрих? Объявим по городу широко или ограничимся беспроволочным сообщением? От слухов страхов больше.

— Честно говоря, Вильгельм, это уже ваше право. Я бы объявил.

— На том и порешим.

Моль встал, подошел к телефону и, набирая номер, сказал:

— А коньяк-то у вас, комендант, не очень... Легковесен! Я бы сказал, молод!

В трубке ответили.

— Вы, Гельд? Да, все готово. Прошу к полуночи, как договорились. Так, так...

Он повторял это слово с одинаковой интонацией, будто подводил черту под каждым из сообщений своего собеседника.

— Отлично. Постарайтесь убрать сумасшедших баб, которые дежурят напротив ворот. Придумайте что-нибудь. Не поверят — разгоните. Завтра будет официальное сообщение. Да, я у господина коменданта. Сейчас спрошу.

Он повернулся к Шварцвальду.

— Вы не хотите с нами проветриться сегодня ночью? Обещаю яркое зрелище.

Шварцвальд на мгновение задумался, сделав вид, будто допивает кофе, потом небрежно сказал:

— Пожалуй, нет, дорогой Дитрих. Чертовски устал сегодня, и болит голова. Мигрень с детства. К весне дает о себе знать. Как будто ломит старые кости.

— Воля ваша. — И в трубку: — Как договорились, Гельд. Мою машину подадите в полночь.

Они сели к столу и вновь принялись тянуть кофе. Моль посмотрел на часы. Половина восьмого. Моль внезапно встал.

— Пойду вздремну, а то ночка будет не из легких.

И так каждое утро мешки под глазами. Проклятая зима нагоняет старость.

Взяв со стола список, он вышел, помахав Шварцвальду рукой.

Кармин задремал, словно для того, чтобы увидеть именно тот сон. А снилось ему голубое-голубое небо, по которому журавлями, очень похожими на три краснотелых самолета, виденных днем, скользили беззвучные, как в немом кино, тени и раздавались взрывы. Тело Кармина откликалось на эти взрывы радостью. Одна из этих взрывных волн оказалась особенно сильной.

Кармин очнулся. Над ним черными тенями стояли два полицейских, резко выделявшихся на фоне беленого потолка, залитого ярким, не по-ночному экономным светом.

Кармин огляделся — людей в камере не хватало. Не было Бонифация.

Полицейский ударом ноги пнул его в бок.

— Ты, паскуда, вставать будешь?! Скоро отоспишься! — Он загоготал.

Кармин поднялся. Его вытолкнули в коридор, который был заполнен народом и гудел десятками голосов. Александр лицом к лицу столкнулся с Филиным.

— Что это значит? — В голосе Глеба звучала тревога.

— Может, бомбежки бояться и в лагерь перевести хотят, как грозились.

— Ночью-то? Что, им дня мало?!

Кармин сонно зашагал по ступенькам крутой лестницы, на каждой площадке которой стояло по два немецких солдата с автоматами на изготовку.

Не без самодовольства Кармин подумал: «Бойтесь нас, черти! Безоружные мы, а все равно бойтесь, будто вооружены мы до зубов!»

Двор был залит светом прожекторов, и бок о бок стояли тяжелые грузовики, крытые брезентом. Ночь была звездная с кокетливым народившимся месяцем, будто посаженным на край крыши. Последний раз Кармин видел тот же двор, припудренный мартовским снежком. Это был день расстрела Толмачева. Се-

годня от камней шел тихий теплый дух. Не было ни ветерка.

Арестованных, разбив на семерки, загоняли в грузовики, в которых уже сидели гитлеровцы.

Защелкали запоры бортов, и машины одна за другой взревели моторами.

Сразу стало легче дышать, поскольку тишина душила, тишина сковывала волю, рождала невольный страх.

Сегодня Александр смог увидеть многих из своих друзей, с которыми ни разу не встречался со времени ареста. Перед ним видением страшным и неожиданным мелькнуло изможденное лицо Катюши с безумными от непроходящей боли глазами. Кармин даже не успел взглянуть на нее толком, как их растащили, и он не смог бы поручиться, что это была она, Катюша Борисова, или, вернее, то, что от нее осталось. Кармин ловил на себе жадные, вопрошающие взгляды ребят. Братья Архаровы, Стас Тукмаков, Казначеев...

«Значит, они не выпустили почти никого! Но почему нас так мало? Где остальные? Может, все-таки удалось отбрехаться и их освободили? Так это хорошо! Так это же почти победа! Хотя весь штаб, за исключением Токина и Караваева, здесь. Точная информация...»

Моль с Гельдом ехали в мощном черном «вандерере».

Моль пристально всматривался в полосы света, выхватывавшие из темноты углы старогужских заборов, состарившихся за одну зиму настолько, что молодые веселые палисадники превратились в пустыри заброшенного города.

Лимузин обгонял грузовики, порой выскакивая на тротуары, и, когда последний остался позади, круто повернул к Коломенскому кладбищу. Водитель хорошо знал дорогу. Ему трижды пришлось быть здесь только сегодня. «Вандерер» затормозил, почти уперевшись бампером в огромный старый дуб со срезанной снарядом вершиной, будто в целях маскировки уложенной на склон высокого железнодорожного полотна. Моль вышел из машины и зябко поежился: «Легковато оделся. Так и простудиться можно. Опять гланды с куриное яйцо вздуются. В этой проклятой России не было дня без болячки: то гланды, то почки, то сердце...»

Лучи сильных фар упирались в желтую глину, вы-

брошенную из большого, метров в десять, рва, зиявшего безднной чернотой.

Солдаты, застывшие с автоматами на изготовку, оцепили с трех сторон небольшой пятачок между кладбищенской стеной и железнодорожной насыпью. Земля, выброшенная из рва, прямо на насыпь, своим валом как бы продолжала стену за рвом. Разбрызгивая жидкую весеннюю грязь, подскочил сержант и доложил, что все сделано согласно инструкции. Мошь хотел пройти к яме и посмотреть, какова глубина, но хлюпающая грязь остановила его. Он подтянул на коленях брюки и, выбрав местечко посуше, остановился на бугорке, довольный тем, что не промочил ног.

Со стороны города слышался шум идущих машин, и Гельд бросился им навстречу, скользя по комьям сырой глины. Размахивая руками, он давал указания, тонувшие в шуме моторов. Грузовики, визжа колесами по глине, развернулись строем и, образовав полукруг, ударили светом фар в насыпь и яму перед ней. Ночь обернулась ярким днем. Только в слепящем свете фар от каждой кочки, от каждого предмета бежали, словно хотели скрыться от этого всепроникающего света, жалкие, тощие тени.

Когда Кармин выпрыгнул из грузовика и увидел сложное автомобильное построение, он сразу понял, что это конец. Стоявшая с краю машина наехала колесом на кочку, и задранная правая фара бросала свет далеко вдоль ограды кладбища на стену часовни.

«До нее метров сто, и в подполе оружие! Если броситься всем сразу, то в суматохе они не сообразят, где свои, а где чужие, и можно уйти. До спасительной темноты двадцать шагов, не больше. Если всем уйти не удастся, то хоть кому-то».

Кармин услышал рядом тихий женский плач. Он не понял, чей это, но сразу перед глазами всплыло лицо Катюши.

«Что же ты, Юрий, не прихватил ее с собой или не спрятал куда подальше?! Неужто подумал, что ее не тронут?»

Плач произвел на Александра странное действие — он как бы сковал волю, разоружил его. Кармин понуро опустил руки, уставившись на часовню. На яму Александр смотреть не хотел. Часовня притягивала его

взгляд. Она служила как бы немым укором, и Кармин мучительно вспоминал, что говорил, стоя там всего месяц назад, когда бунтовал против Токина.

Арестованных тем временем разбили на группы. Стоявшую справа толчками в спину отогнали к яме и выстроили лицом к насыпи. Только один — самый маленький — арестованный повернулся. И Кармин узнал в нем двенадцатилетнего сына типографского рабочего Владимира Кострова. Игорек не раз с гордостью подносил до стадиона карминовский чемоданчик.

— Сволочи, ребенка пожалейте! — крикнул он, но выросший из темноты Гельд заорал:

— Заткни глотку, а то глиной замажу!

Отец, стоявший рядом с Игорьком, взял сына за плечи и повернул лицом к насыпи, но мальчик, держа руку у глаз, еще продолжал щуриться от ослепительного света фар. И ударили автоматы. Они били из стоящей в темноте шеренги оцепления. Фигуры напряженно ждавших людей, подобно белым столбам, начали ломаться. Несколько рухнуло в яму. Игорек, которого отец перед залпом оттолкнул в сторону, остался лежать на бугре, цепляясь скрюченными пальцами за мокрую рыжую глину. Фонтанчики пуль заплясали по рукам, и тело медленно сползло вниз.

Когда повели к яме вторую семерку, Кармин, истощенно выкрикнув, ринулся на ближайшего солдата. Еще кто-то метнулся из соседней группы. Раздался поспешный выстрел, второй... Потом крики слились в рев.

Ударом ноги Кармин опрокинул стоявшего рядом немца и вырвал из рук автомат. Он совсем уже разогнулся, поднимаясь навстречу кинувшемуся от легковой машины Молю, но спина будто вспыхнула от огня, и автомат стал тяжелым, таким тяжелым, что сразу пригнул его к земле.

Моль не ожидал, что так тщательно продуманный сценарий расстрела полетит насмарку.

— Стрелять! Всех стрелять! — в панике завопил он и, вырвав из кобуры парабеллум, начал посылать пулю за пулей в сторону еще стоявших у ямы людей. Потом кинулся к месту, где происходила свалка.

В свете со всех сторон направленных фар тени плясали по ночному небу, будто шла схватка гигантов. Моль увидел одного из арестованных, поднимавшего

ему навстречу автомат. Он попятился. Но очередь в спину скосила русского, а Мольт для верности сделал еще один выстрел. Все смешалось на тесной площадке. Стреляли в упор, в каждый штатский костюм. Добивали раненых, пытавшихся встать из грязи. Наконец побоище кончилось, и запыхавшийся Гельд сказал:

— Кажется, все...

— Пересчитайте трупы! Если ушел хоть один арестованный, голову сниму! Слышите? Сниму голову!

Мольт тяжело зашагал к машине и, плюхнувшись на сиденье, словно последним выстрелом, захлопнул дверь. Сквозь запотевшее стекло он видел, как солдаты начали стаскивать трупы к яме, а Гельд считал лично. Мольт сидел в теплой машине, но у него мелко стучали зубы. Он пытался сдержать дрожь, чтобы не заметил шофер. А тот, вцепившись в руль, смотрел широко раскрытыми глазами на происходившее, как бы стараясь непременно запомнить все до мельчайших подробностей.

Устало подошел Гельд.

— Все в порядке, господин оберштурмбаннфюрер! Трупов, к сожалению, даже на один больше — убит один из полицейских, копавших яму.

— Черт с ним, Гельд, садитесь. Остальное доделают без нас, — уже миролюбиво сказал Мольт.

Гельд, хлюпая мокрой одеждой, завалился на заднее сиденье, и «вандерер», взыв мотором, выскочил из светового каре.

Вскоре навстречу опять помчались углы домов и заборов Старого Гужа. Мольт устало прикрыл глаза.

## МАЙ. 1960 ГОД

Честно говоря, столь спешного вызова к Нагибину я не ожидал. Он позвонил в ту самую минуту, когда я подошел к своему рабочему столу, еще не успев поздороваться с Вадькой.

— Андрей, прошу вас немедленно зайти ко мне. Пропуск вам заказан. Номера подъезда и комнаты в нем проставлены. Если нужно, готов позвонить вашему начальству.

— Нужды никакой нет. У меня есть время и еще нет начальства, — растерянно отшутился я. — Случилось что-нибудь?

— Приходите, все узнаете.

Нагибин сидел за столом в большом темном кабинете. Перед ним лежала пухлая папка. Он выслушал два каких-то коротких телефонных сообщения и, поздоровавшись, сказал:

— Извините, Андрей, мне еще нужно минут пять. Вот вам любопытный документ. Почитайте, полезно.

Он протянул мне пожелтевший от времени лист, исписанный с обеих сторон мелким, но четким почерком.

Я сел в углу у окна и принялся читать.

*«Данцер Ганс Георгиевич, 1918 года рождения, обер-ефрейтор штаба 83-й пехотной дивизии германской армии, п/я 19338-«а». Взят в плен 16 мая 1943 года в городе Старый Гуж.*

*Показывает:*

*Был начальником электростанции с февраля 1942 года по 16 мая 1943 года. Ни Юрий Токин, ни Владимир Пестов мне не знакомы. До вступления в должность начальника занимался оснащением электростанции. Как мне сообщил военно-технический инспектор штаба 83-й пехотной дивизии отделения «5-Б» Ройман, работавший ранее начальником станции, Морозов расстрелян за связь с партизанами, подготовку взрыва электростанции и уничтожения охраны ко дню 23 февраля 1942 года. В период работы на станции знал Сизова Алексея и Кармина Александра. Еще знал одного лейтенанта, 33 лет, по имени Василий, выбывшего, как и все военнопленные, в распоряжение коменданта по приказу об эвакуации в последних числах февраля 1943 года. Всего на станции работало около ста сорока человек. Водонапорная станция также подчинялась мне. О Морозове многое рассказывал Ройман, который выехал в Германию до окружения гарнизона в Старом Гуже. И Сизов и Кармин считались на станции хорошими рабочими. Отдельные факты, которые можно трактовать как попытки к диверсии, наверно, имели место. Но они могли рассматриваться и как обычная халатность рабочих. Однажды в дизель попали металли-*



*ческие стружки. Но я сам присутствовал при пуске дизеля и сам устранил угрозу. Много аккумуляторов испортилось, особенно в феврале и во время моего от пуска в 1942 году. Когда на должность начальника мастерских назначили Сизова, порча аккумуляторов значительно сократилась...»*

Я дважды прочитал протокол допроса от начала до конца. Не за тем же вызвал меня Нагибин, чтобы показать эту бумажку?

Дмитрий Алексеевич прекрасно знал, что меня терзает неведение. Наша последняя беседа с ним была не из приятных. После возвращения из Липецка я сразу же позвонил ему.

Сказал, что нашел Караваева, и был готов лопнуть от гордости, но Дмитрий Алексеевич спокойно ответил:

— Знаю. Караваев арестован и находится у нас. А вы, Андрей, нам крепко помешали своим появлением в Липецке. Пока идет следствие, вряд ли смогу хоть в чем-то удовлетворить ваше справедливое любопытство. Потом позвоню.

Это была выволочка, хотя и интеллигентная. Мне стало стыдно, что таким кустарем ломился в открытую дверь, совершенно забыв, что есть люди, служебный долг которых — повседневно делать показавшееся мне едва ли не подвигом.

— Андрей, хочу порадовать вас. Получил разрешение руководства о вашем присутствии на весьма интересной встрече. — Он посмотрел на часы.

Вошел капитан и доложил:

— Товарищ полковник, свидетель ждет в коридоре.

— Отлично. Прошу вас, Андрей, только об одном — ни во что не вмешиваться.

Я кивнул. Нагибин нажал кнопку, и комнату заполнило несколько офицеров. Посреди комнаты стояло два стула — один против другого. Открылась дверь, и вошел Алексей Никанорович Сизов, вошел своей обычной сторожкой походкой, судорожно облизывая губы. Поражало самообладание, с которым он вошел в кабинет. Увидев меня, сидевшего в углу, он кивнул и едва приметно улыбнулся, несколько не удивившись моему присутствию. Я посмотрел на Нагибина. Тот, стараясь подавить усмешку, опустил голову к бумагам.

«Значит, Сизов и впрямь подумал, что я работник органов безопасности?! — Только сейчас многие поступки Сизова стали для меня более понятными и мотивированными. — Мое присутствие здесь — лишь доказательство его предположений. Хорошо же я выглядел, когда уверял, что собираю материал для повести о спортсменах-подпольщиках!»

Я бы, наверно, не выдержал и что-то сказал, но в это время открылась дверь слева и в комнату вошел Караваев. Он шел тяжело, по-арестантски сложив руки за спину. Он еще больше согнулся, и буйная буро-клочковатая борода его словно упиралась в грудь. Из-под мохнатых бровей единым взглядом он окинул комнату, лишь на мгновение задержавшись на мне. Пройдя к стулу, сел.

Если бы я не знал, что эти два человека давно и хорошо знакомы, никогда не подумал бы, что они встречаются не в первый раз.

— Сизов Алексей Никанорович, — начал Дмитрий Алексеевич, Сизов привстал со стула едва заметно, но почтительно, — и Караваев Владимир Алексеевич. — Тот поднялся во весь рост, спрятав руки за спину, и сел лишь после того, как Нагибин посадил его жестом. — Вы присутствуете на очной ставке по делу о предательстве Старогужской молодежной подпольной организации. Вы оба знакомы с делом?

Сидевшие друг против друга кивнули. Сизов — поспешно, Караваев, как бы раздумывая: не ошибся ли?

— Тогда приступим. На очной ставке присутствует, кроме названных и сотрудников комитета, специальный корреспондент «Спортивной газеты» Андрей Дмитриевич Сергеев, много времени потративший на выяснение обстоятельств гибели подпольщиков Старого Гужа.

Оба сидевших в центре человека повернулись ко мне, и я невольно встал — обстановка оказалась сильнее моего желания остаться в тени.

Нагибин опять улыбнулся.

— Приступим к очной ставке. Вы знакомы?

И Караваев и Сизов кивнули.

— Знакомы ли вы? — повторил Нагибин.

— Да, я знаю этого человека с осени 1941 года. Его фамилия Сизов.

— Значит, вы, говоря прежде, что незнакомы с Сизовым, давали ложные показания?

— Да, давал ложные показания. Не могу отрицать, что именно этот свидетель является тем лицом, которое было арестовано в качестве участника подпольной патристической организации в марте 1942 года и с которым я был на очной ставке в немецкой комендатуре.

Сизов что-то хотел сказать, Нагибин поднятой ладонью остановил его.

— И вы знакомы, Сизов?

— Конечно! На том допросе я узнал его, как гнусную личность и предателя. До этого мы были знакомы, но скорее как собутыльники, чем добрые приятели.

— Вы утверждаете, Караваев, что именно Сизов пригласил вас на вечеринку, во время которой началось формирование руководящего ядра организации?

— Нет. Меня пригласил и познакомил с Токиным Александр Кармин, с которым мы познакомились в парной Бонифация Карно.

Мне показалось, что Сизов облегченно вздохнул, словно долгие-долгие годы ждал именно этих слов.

— Расскажите о вашей роли во время допросов арестованных.

— Я уже показывал, что аресты были проведены по моим данным, которые удалось собрать, пробравшись в штаб организации. Я присутствовал на многих очных ставках во время следствия и помогал уличать арестованных в антинемецких настроениях и действиях.

— Делал ли это же свидетель Сизов?

— Нет. После первой очной ставки он был по моей просьбе отпущен, так как я считал, что после разгрома организации мне будут нужны люди, которые смогут подтвердить, если понадобится, что я честно выполнил свой долг подпольщика.

— Что заставило вас после стольких лет существования под другой фамилией признаться в предательстве организации?

Караваев говорил, как маньяк. Во всяком случае, в его голосе я не уловил ни нотки страха или раскаяния, не заметил ни малейшего желания выгородить себя.

— Будучи уличен свидетелем Сизовым, я решил признаться следствию, что действительно предавал участников подпольной организации, то есть тех, которые были

на допросах и очных ставках со мной в немецкой комендатуре и которых я уличал в конкретных фактах подрывной деятельности против немцев.

— Как и почему ваша фамилия оказалась в официальных списках расстрелянных?

— Это естественно, — сказал Караваев. — Я боялся возмездия. Наилучшим способом было скрыться под видом расстрелянного. Представится случай, всегда можно сказать, что чудом удалось избежать расстрела и выдать себя за героя. Я был уверен, что никто не избежит смерти, с кем встречался в комендатуре. Такова была договоренность с Модем.

— Что вас толкнуло на предательство?

— Я был и остаюсь человеком, не принимающим Советской власти. Отец мой был репрессирован. Наша большая семья потеряла все — и дома, и земли, и ценные бумаги, которыми располагала до революции. Я воспитывался в духе ненависти ко всему советскому.

— Вы и сейчас не изменили своего отношения к советскому строю?

— Не изменил. — Караваев сказал это твердо, будто давал внутреннюю клятву.

Сизов, очевидно, не ожидал такой твердости от Караваева, он сделал даже попытку отодвинуться, насколько позволял стул, от сидевшего напротив.

— Вы, Сизов, почему решили так поздно рассказать о предателе и что вас к этому побудило?

— Я боялся. Многие годы пытался добиться исключительно справедливого отношения к организации.

— О том, чего вы добивались, давайте сейчас говорить не будем...

— Слушаюсь, товарищ полковник. Я боялся, что следственным органам не удастся справедливо во всем разобраться, — опять сказал Суслик и осекся. Но Нагибин не сделал ему замечания.

— А теперь страх у вас прошел?

Сизов повернулся ко мне, будто отвечая не на вопрос Нагибина, а на свой внутренний вопрос и мой тоже.

— Нынче я делаю признание тоже из страха. Но другого. Этот молодой человек очень долго и тщательно распутывал дело. Как никто, с кем мне доводилось видеться. Он сразу же, не знаю почему, не принял мою

версию, и я почувствовал, что рано или поздно он найдет Караваева, и тогда...

— И тогда вас обвинят как его укрывателя и сообщника?

— Именно так, — Сизов несколько раз поспешно кивнул головой.

Я смотрел на Караваева. Тот сидел спокойно, словно присутствовал лишь в качестве резонера на неинтересном, давно надоевшем спектакле.

— И последнее к вам, Караваев. Вы подтверждаете, что во время оккупации Старого Гужа, примерно с ноября месяца по март, там действовала подпольная молодежная организация, которую возглавлял бывший центр нападения команды «Локомотив» Юрий Токин?

— Подтверждаю. И сроки подтверждаю.

— Учтите, Караваев, этим вы признаете себя изменником Родины, виновником гибели Старогужского молодежного подполья.

— Учитываю и тем не менее подтверждаю. Как бы меня ни наказали, я сделал то, что сделал.

«Итак, — думал я, когда закончилась очная ставка, — я добился своего. Дождался, когда могу сказать, что организация была, сказать всем, кто долгие годы не верил или не хотел верить. Пусть сделано мной далеко не основное, но я внес свою посильную лепту. А что двигало мной, что заставляло искать? Неужели только желание утвердить собственное «я»? Или меня вело стремление написать ту, единственную книгу, которая бы заставила поверить в свое призвание?»

Голос Нагибина вывел меня из задумчивости:

— Ну, Андрей, довольны?

Я пожал плечами.

— Для меня, журналиста, это лишь начало. Судьба Караваева как таковая малоинтересна. Выродок.

— Согласен, — Нагибин встал и прошелся по кабинету. — Главное сейчас — отдать должное людям, погибшим героически. Правду о событиях той ночи не знает никто... — неуверенно подытожил Нагибин. — А жаль! Там, наверно, было немало прекрасных и трагических минут мужества.

Дмитрий Алексеевич закурил.

— Думаю, что теперь вы напишете о ребятах.

— Бессспорно.

— Можете сослаться на нашу полную поддержку. Имею «добро» своего руководства.

Он как-то странно посмотрел на меня.

— А хотите, я вас немножко попугаю?

— Возможно ли это после всего виденного и слышанного?

— Еще как! Знаете ли вы, что ваш липецкий визит показался Караваеву очень подозрительным? Наши товарищи, давно следившие за Караваевым-Тороповым, сделали несколько неосторожных шагов. И он принял вас за работника нашего ведомства. Приготовил все к побегу, но решил поговорить с вами, выяснить, как далеко зашла слежка, а при необходимости — убрать...

— Глупости, мы договорились встретиться на стенде.

— Именно там это и удобно сделать. Несчастный случай! Новичок, дескать, неосторожно и неумело обращался с ружьем...

Сильной ладонью Нагибин захватил мою шею и пригнул к себе.

— Ну, Джек Лондон, буду с нетерпением ждать книги. Кстати, я распорядился, чтобы подготовили все материалы, которые удалось собрать в нашем Центральном архиве. Кое-что из Старогужского управления, но много нового. До встречи.

Я написал шесть больших очерков в газету и получил два чемодана писем: возмущенных, официальных, человеческих, восторженных, обеспокоенных за судьбы, еще не выявленные...

В одном лежала десятирублевка, а к письму была сделана короткая приписка, что деньги посылаются на памятник старогужским ребятам.

До сбора денег на памятник было еще далеко, но газета направила официальное прошение в Президиум Верховного Совета СССР об учреждении мемориала на Коломенском кладбище и награждении многих из расстрелянных, чьи конкретные дела в подполье удалось установить. Токин был представлен к ордену боевого Красного Знамени.

Да, дни после старогужских публикаций я буду помнить всегда. Я стал нужен сотням и сотням доселе мне незнакомых людей. Где-то в суете телефонных звонков

прозвучал теплый бас директора издательства, доброго и трогательного Юрия Николаевича, поздравившего с удачей и сказавшего, что договор, если я не передумал, остается в силе.

Оксана тихо радовалась моим успехам, а я, конечно, как порядочный негодяй, совсем не думал о цене, которой и она заплатила за сегодняшний успех, — и одиночеством командировочных ночей, и возней с дочкой, и смирением с моей ничем не оправданной раздражительностью. Но что-то в деле Старогужского подполья оставалось для меня незаконченным.

Почти каждый день я звонил в наградной отдел Президиума Верховного Совета СССР, справляясь об Указе по Токину. Наконец обычно мило отвечавшая женщина не выдержала:

— Послушайте. Не умрет ваш Токин без ордена. У нас ведь тысячи дел. Надо иметь терпение и уважение к работающим здесь людям тоже...

Я узнал номер комнаты, где сидит эта женщина, и пошел к ней. Она действительно была милой и пожилой, заваленной сотнями голубоватых папочек, стопками бесконечных списков, сколотых одинаковыми гулливеровскими скрепками.

Просто и сжато рассказал о Токине. Она слушала не перебивая. Так и не задав ни одного вопроса, извлекла из кипы токинскую голубую папочку и унесла по гулкому коридору, в какой-то дальний кабинет. Вернувшись, сказала:

— Позвоните завтра в одиннадцать.

— И я сразу смогу получить выписку из Указа?!

— Почему вы? Ах да, — вспомнила она, — можете, только запаситесь доверенностью от представлявшей организации.

Через три дня газета с опубликованным Указом о награждении Юрия Токина орденом боевого Красного Знамени лежала у меня на столе. В семнадцать тридцать с позволения редактора я сидел в поезде, уходившем в Вологду. Вадька обещал уже вдогонку позаботиться об организации встречи.

Несмотря на ранний час прихода поезда, у вокзала ждала машина редакции молодежной газеты. Отказавшись от завтрака, я прямо с вокзала, как и в прошлый раз, только с большим комфортом понесся в Кириллов.

Мимо развилки, на которой голосовал тогда с помощью лейтенанта милиции, мимо растянувшегося Кубинского озера, с церковью, словно чудом державшейся на его свинцовых водах. Наконец, въехали на знакомую деревенскую околицу.

Баба Ульяна хлопотала во дворе и меня не признала. Когда я напомнил ей о прошлом приезде, скорбно перекрестилась, будто был пришельцем с того света.

— Умер Юрочка, умер сынок. На сенокос и умер.

Охватило ощущение, будто умер я сам. Ребята из газеты растерянно глядели то на меня, то на Ульяну.

— Баба Ульяна, — начал было я, но она оборвала:

— Чего на ветру слова мусолить? Заходите в дом, с дорожки поешьте. Деда нет — за прошлогодней клюквой подался.

Пока мы ополоснули руки и походили по горнице, неловко теснясь, Ульяна уже накрыла на стол, сделав это, как всегда, с магической быстротой и неприметностью. Тяжелое кресло с высокой спинкой, в котором я прошлый раз застал Токина, за ненадобностью отодвинулось в дальний угол, и на нем стояли Ульянины, черные с красными латками резиновые сапоги. Посреди стола красовалась деревянная миска с отборной клюквой, еще пахнувшей зеленоватым мхом болота и морозами минувшей зимы. Краснобокая, словно налитая почка, какой бывает ягода, когда берут ее загодя, до тепла, из-под только что сошедшего снега.

Я достал газету и положил на стол.

— Баба Ульяна, а мы порадовать Юрия собрались. Вот наконец его запутанное дело и кончилось — правительство наградило большим орденом.

Ульяна восприняла новость спокойно.

— Знала я, что парень он добротный. Без червоточки. Только больно невезучий в жизни. Есть такая порода — не в шлею родятся, не в шлею и живут...

Она взяла газету негнущимися пальцами с толстыми вздутыми суставами, натруженными на повседневной и миру незаметной работе. Полюбовалась, как игрушкой, и аккуратно положила назад.

— Баба Ульяна, к вам большая просьба — взять эту газету себе. У Юрия нет в мире более близкого человека, чем вы, да и вы имеете право на часть награды...



Она замахала руками, но потом, словно что-то сообразив, решительно и быстро согласилась.

— Это правильно! Ближе к Юрочке, чем в моем доме, награда нигде не будет. Как бы ему оставлена. Коль вернется, сразу и возьмет и прочитает...

Она говорила о Токине, будто он ушел в соседнюю деревню за сеном и часа через два-три вернется.

После завтрака Ульяна повела нас на кладбище: неогороженное, открытое простору, с оплывшими могилами, утыканное покосившимися и почерневшими от времени крестами.

Юрину могилу признать было нетрудно — над ней стоял желтый, словно из золота, свежерубленый сосновый крест. Чувствовались рука и бывшее плотническое дело мастера.

Ульяна по-домашнему, словно во дворе, опустилась на соседнюю, как мне показалось, могилу, оказавшуюся лишь искусно наметанной из глины скамеечкой, и, ухватившись за концы черного платка обеими руками, будто боясь, что он сорвется под ветром и улетит, замерла. Она не плакала и не причитала. Она смотрела на крест суровым, немигающим взглядом. Складки ее морщинистого рта тихо двигались. Слово по ним текло время, все сотканное из переживаний и мудрых невысказанных мыслей.

Пожалуй, это было первое кладбище, на котором я чувствовал себя существом, не униженным перед вечностью, существом, которое отведенное ему время стоит на земле прочно, а коль приходит срок лечь в землю, остается и тогда хозяином, а не жалким отбросом, затерянным в бездонности бытия.

Деда мы так и не дождались. Сердечно попрощавшись с бабой Ульяной, которая, несмотря на все наши протесты, всучила резное, сработанное для себя лукошко, полное отборной клюквы, мы ехали до Вологды молча.

## ОКТАБРЬ. 1964 ГОД

Сегодня, ровно в три часа дня, начинался один из самых интересных видов программы — марафонский бег. Он был интересен еще и тем, что выступал босоногий эфиопец, герой Римской олимпиады. Всех

волновал вопрос, как пробежит Абебе Бекилла здесь, в Токио. У меня лежало готовое интервью с ним, полное твердых, граничащих с беспардонным зазнайством заявлений.

На стадион я прибыл только-только, даже не успев заглянуть в столовую пресс-центра и проглотить дистиллированный европейско-японский обед.

Ложа прессы находилась справа от королевской ложи, напротив места, где линия финиша перерубает коричневый поток беговой дорожки и возвышается особая трибуна для судей. Ложа была полупуста, старт марафона мало кого интересовал. Пробежав круг густой безликой толпой, марафонцы исчезали под трибуной, чтобы появиться вновь через два с лишним часа уже растерзанной, развалившейся на отдельные группы борющихся с усталостью героев. Журналисты уселись к маленьким телевизорам «Сони», стоявшим перед каждым вторым рабочим местом в ложе прессы. Десятки камер словно вели бегунов метр за метром, и, глядя на голубой экран, можно было следить за борьбой на всей трассе.

Сосед появился рядом со мной незаметно. Когда во время рекламной вставки я оторвался от экрана, то увидел рядом с собой одетого с иголочки благообразного пожилого мужчину, с таким южноамериканским медным загаром. Он громко заказал пиво на дурном английском языке. Я попросил у подошедшего разносчика бутылку и для себя.

— Вы из Калифорнии? — спросил я.

— Нет. Из Аргентины.

— Коренной аргентинец?

— Не совсем.

На этом разговор оборвался. И может быть, никогда не возобновился, если бы мы, млея от восторга, не смотрели, как методично мерил своими босыми ступнями токийский асфальт бегун из Эфиопии.

— Пожалуй, такого не видел еще спортивный мир, — признался сосед.

— В Мельбурне на десять тысяч метров Владимир Куц бежал не хуже.

— Уж не русский ли вы? — На лице соседа выразилось любопытство.

— Допустим.

— Очень много снега, — вдруг сказал он по-русски. Настолько нелепой показалась фраза в обстановке японского стадиона, — раздетая толпа, почти тридцатиградусная жара, — что я оторопел.

— Вы говорите по-русски?

— Что? Что? — переспросил он уже по-английски. — Я знаю лишь несколько фраз. И то стал забывать. Я воевал в России. Давно.

— А теперь живете в Аргентине?

— Да, я работаю в газете немецких колонистов, эмигрировавших в Аргентину.

— А я — в московской «Спортивной газете».

Я вынул из кармана визитную карточку и протянул собеседнику.

Тот достал тугой, крокодиловой кожи бумажник и, вынув оттуда лощеный, с ворсистыми прожилками квадратик бумаги, протянул в ответ. «Моль Дитрих, журналист. Владелец и редактор газеты «Нойе Аргентинише цайтунг».

«Моль Дитрих? Нет. Этого не может быть».

Я вспомнил рассказ Лепы о Данцере и именно поэтому еще раз сказал себе «нет».

Но это был он, тот Моль Дитрих. Сомнения отпали сразу, как только он начал называть русские города, которые прошел вместе с «наступающей немецкой армией» летом первого военного года. «Старый Гуж» он произнес чисто, словно последние десятилетия упрямо репетировал.

— Были в действующей армии? — осторожно спросил я.

— Конечно. Офицер.

— А почему не пошли дальше с фронтом?

— Меня оставили... — он замялся, — для обеспечения тыла.

На голубом экране показывали две бесконечные ленты японских лиц, зрители на всем протяжении трассы стояли в рост, стояли на коленях, сидели и прямо лежали на асфальте, ни на миллиметр не заступив за границу отведенной им резервации, и бурно приветствовали бегуна номер один. Это был Бекилла. Он бежал так, как бежал четыре года назад по улицам Рима. Я видел его в тот год по телевидению, как смотрел сей-

час, и, если бы не японские рекламы с иероглифами, готов был поклясться, что это идет старая пленка. А ведь прошло четыре года! Срок для марафонца почти вечный!

Честно говоря, я боялся продолжать разговор, боялся спугнуть случайность. Хотя уже знал, что спугнуть ее не удастся.

— Это была трудная работа — быть шефом старогужского гестапо? — спросил я прямо, ничуть не задумываясь, какова будет реакция сидевшего рядом со мной человека.

Моль вздрогнул, поднял на меня светло-голубые, словно выцветшие вместе с волосами, глаза и тихо спросил:

— Откуда вы это знаете?

Я начал рассказывать, понимая, что, если хочу добиться главной цели — узнать правду о последних минутах старогужских парней, — должен быть искренним до конца. Моль слушал, кивая головой, и, может быть, слишком часто, чаще, чем раньше, прихлебывал пиво. Бутылка кончилась. Он нервно заказал другую.

Я рассказывал со многими подробностями: и о смерти Токина, и о судьбе Черняевой, и, наконец, о том, что Караваев был разоблачен и по приговору суда расстрелян.

Когда я произнес фамилию «Караваев», он усмехнулся.

— Почему вас это тронуло?

— Так, — неопределенно ответил он.

— Вам жалко вашего бывшего помощника? — спросил я.

— Моего помощника? Боюсь, что вы ошибаетесь. Он был скорее моим начальником.

— Вы говорите какими-то загадками.

— Загадками? Нет.

Моль, кажется, был очень доволен, что может и мне рассказать нечто интересное.

— Караваев прибыл из Берлина. Ему и подчинялся. Часто получал директивы прямо оттуда. Это был довольно наглый и самодовольный человек, безмерно веривший в свой талант. Нам трудно было жить вместе и работать. Я надеялся, что он скоро исчезнет из Старого Гужа.

— Почему?

— Мне показалось, что его основной задачей была легализация. Его очень огорчило, что через организацию саботажников он не смог наладить связь с партизанами, с Центром, с Москвой. Он бы приложил все силы, чтобы, как партизан уйти в тыл вашей армии.

— Он немец?

— Этого я не знаю. И никто не знает. Путь разведчика — из одной неизвестности в другую. Впрочем, другая неизвестность Караваева известна. И мне его не жаль.

— Насколько я знаю, вы не из жалостливых.

Это, конечно, было не очень тактично с моей стороны, но я и не хотел быть тактичным.

Моль посмотрел на меня, словно не веря в мою враждебность.

— Солдат не может быть жалостливым. Вы не воевали? Так я и думал. — Он хотел еще что-то сказать, но рев трибун вернул нас к действительности. Из темного квадрата подтрибунных ворот на дорожку выбежал Абебе Бекилла. Худенькое, черное тело его несло легко, он бежал, высоко воздев руки, приветствуя неистовствующих зрителей. Тысячи японских флагов, белых, с ярким красным кругом в центре, ритмично дергались, как бы заставляя трепетать весь воздух над стадионом в приветственном танце.

Моль глядел тусклым взглядом, и, скосив глаз, я понял, что мыслями он далек отсюда. Что видится ему? Бескрайность белых заметенных полей или апрельская слякоть Коломенского кладбища?

Абебе финишировал. И так же поразительно легко сделал еще круг почета, когда наконец на дорожке появился второй бегун. Потом спортсмены пошли гуще. И вот я уже записывал номера своих ребят, на этот раз далеко не блеснувших результатами. А Моль сидел все так же отрешенно.

— Господин Моль, — сказал я, — у меня к вам просьба.

— Пожалуйста, — как-то очень устало откликнулся он.

— Я бы хотел встретиться с вами вечером и попросить рассказать только об одном — о расстреле на Коломенском кладбище. Вам, думаю, не особенно приятно

такие воспоминания. Мне тоже не доставит удовольствия ваш рассказ. Но мы журналисты. И как солдаты, не должны быть сентиментальными.

— Хорошо, — сказал он, подумав. — Вам надо знать правду? Я расскажу все, как было, все, что сохранила память...

Моль беспрерывно курил. Его рассказ был настолько полным, что я удивился, как могла память сохранить через двадцать два года не только мелкие подробности той ночи, но и эмоциональные оттенки почти каждой минуты событий.

Бар плыл в красном полумраке. Тяжелые кресла уютно качали тело. Но нам обоим было неудобно. Не берусь судить, насколько искренен и правдив был Моль, но мне показалось, что это так. Ибо порой в рассказе его звучали почти садистские нотки морального самоистязания. Он будто специально шел на признание, как на исповедь: рассказать — и отрешиться от рассказанного, поведать — и больше не вспоминать.

— Господин Моль, а почему вы не вернулись на родину?

— Какую? Часть Германии, оккупированная вами, меня не устраивает так же, как часть, оккупированная вашими бывшими союзниками. Я был и остаюсь мыслящим национал-социалистом. Но я уже стар и немножко болен. К тому же не вижу реальных возможностей для людей моего поколения вновь сделать попытку утвердить наши взгляды. Это дело молодых...

— Считаете, что такая возможность может повториться?

— Вы хотите меня распропагандировать? Не стоит терять времени. Если вас интересует личное мнение Дитриха Моля, отвечу: думаю, повторится. — Он сказал это со слишком несвойственным его возрасту и настроению пафосом.

— Думаю, вы необъективны в оценке истории...

— А вы? В вашей книге о тех месяцах в Старом Гуже будете объективны? — Моль цепко впился в меня глазами. Мне было немножко смешно, и потому я, легко выдержав его взгляд, сказал:

— Нет. Я не буду объективен. В каждой строке того,

что напишу, буду питаться ненавистью к тем, кто пришел на мою землю, чтобы поработить ее, кто принес смерть и разрушение.

Он горько усмехнулся.

— Вы мне нравитесь своей откровенностью.

— Честно говоря, и я рад, что мы не лукавим друг с другом.

Мелодичная японская песня плыла в прокуренном воздухе бара, и, казалось, что голос певца, модулировавший на самых высоких нотах и размывно скользивший по густым клубам сигаретного дыма, идет сквозь стены с улицы.

— А знаете, господин Моль, я, кажется, забыл вас спросить: как вам удалось выбраться из Старого Гужа? Ведь Шварцвальд попал в плен...

— Знаю. Когда я услышал, что фронт на флангах прорван и городу грозит окружение, я позвонил Вильгельму. Господин комендант заявил, что он солдат и до конца останется с гарнизоном.

— А вы?

— Мне надо было спасать архивы секретных документов. На двух бронетранспортерах удалось прорваться буквально за несколько часов до того, как кольцо сомкнулось намертво.

— А потом? Что делали вы потом?

— Когда я решил, что все уже позади и нахожусь в безопасности, шальной снаряд тяжело контузил меня. Более пяти месяцев провалялся в госпитале и был оставлен на работе в генеральном штабе. Потом ваши танки пришли на мою родину, и я уехал. Остальное в моей судьбе принадлежит не мне одному, и потому я не волен рассказывать. Признаюсь лишь, что мы жестоко наказаны, оставшись без родины. Впрочем, это познается только личным опытом...

Мы снова надолго умолкли. Потом Моль взглянул на часы.

— Извините, я должен идти. У меня назначено рандеву с моей землячкой.

— Аргентинкой? — спросил я.

— Немкой, — в тон мне ответил Моль.

Мы много раз сталкивались с ним потом то в столовой пресс-центра, то в журналистских автобусах, то

на трибунах различных олимпийских баз, но ни у него, ни у меня больше не было желания к той откровенности, с которой мы говорили в день нашего знакомства.

Дмитрий Алексеевич слушал рассказ о встрече с Модем внимательно, вертя в руках белую японскую деревянную куклу — маленький сувенир, привезенный из моего последнего вояжа, — и одобрительно кивал головой. Но когда я рассказал о Караваеве, он помрачнел и по-детски насунился.

— Вы ничего не напутали, Андрей?

— За что купил, за то и продаю.

— Ой-ой! Если господин Мошь не лукавит — а что ему лукавить? — тогда мы допустили серьезную ошибку. Многие в Караваеве казались подозрительным. И внесение в список расстрелянных старогужцев, и умение так легко раствориться в нашей жизни, и столь поспешное, будто принесшее облегчение, признание в предательстве...

Дмитрий Алексеевич даже не скрывал своего огорчения. Он хлопнул ладонью по колену, встал и, снова закурился, сел.

— Надо было еще над Караваевым поработать. Он не мог не наследить. Но мы, Андрей, за вас боялись...

— Ну, извините, Дмитрий Алексеевич. — Я встал и шутовски раскланялся. — Опять виноват. Лучше бы не встречал господина Моля.

— А вот в этом совсем не уверен.

— Если это так важно, то зачем Мошь рассказал мне о Караваеве правду? Он легко мог умолчать.

— Причин, по-моему, могло быть две. Первая и незначительная: он действительно не любил Караваева и хотел хоть как-то отомстить мертвому. Вы ведь сообщили Молю, что мы расстреляли предателя, не так ли? — спросил Дмитрий Алексеевич и, получив мое подтверждение, продолжал: — Вторая и самая важная: очевидно, Мошь оторван от кругов, считающих, что их поколение еще многое может сделать. И не подумал о продолжающейся борьбе. Он решил, что Караваев просто скрывался от возмездия и только...

— А вы считаете, что Караваев все эти годы продолжал работать?



— Тихо, тихо, Джек Лондон! Пожалуйста, не рисуйте в вашем воображении картин, достойных Эдгара По. Оставьте и нам немножко простора для фантазии...

Я видел: Нагибину не терпелось что-то предпринять, и начал поспешно прощаться.

— Нет, Андрей, вы уж посидите. В последнее время мы так редко видимся. А о Караваеве еще придется немало подумать... И не спеша... Так, говорите, Бекилла неподражаем?

Я снова начал рассказывать Нагибину об Играх.

Спохватился, когда за окном уже начало смеркаться.

Нагибин полуобнял меня и повел по длинному коридору, застланному мягкой ковровой дорожкой.

— А теперь, Андрей, у меня к вам личная просьба, — он заговорщицки наклонился к самому уху: — Отвлекитесь от спорта и беритесь за издание книги. Я рукопись получил и на этой неделе безотлагательно ее прочитаю. Кстати, и с учетом того, что рассказал Моль. Уверен, что книга вам удалась, и я буду с нетерпением ждать ее выхода. Мы, конечно, поставим ребятам каменный обелиск, но никакой камень не заменит в душах людей живую память о достойных...

...Конверт был синий, жесткий, по центру прошитый суровой ниткой и, как бы для прочности, закрепленный жирным фиолетовым штампом. Я взял ножницы и с хрустом вскрыл его. В конверте лежал один листок, изукрашенный характерным почерком Нагибина.

«Дорогой Андрей!

Буду рад вас видеть в пятницу на следующей неделе. В 10.00 у меня. Сейчас уезжаю в командировку. Если время для вас почему-либо неудобно — позвоните моему секретарю. Рукопись с удовольствием прочитал. Замечания есть, как профессиональные, которые надо учесть, так и читательские, которые вынесу на ваше усмотрение. До встречи!

Да, а Караваев все-таки наследил.

Ваш Нагибин».

**Голубев А. Д.**

Г 62 Умрем, как жили: Роман. — М.: Мол. гвардия, 1981. — 271 с. (Стрела).

В пер.: 1 р. 10 к. 120 000 экз.

В основу романа положены события, происшедшие в одном из городов Центральной России в грозный год прихода фашистских захватчиков на нашу землю. Герои книги — молодежь, участники подполья.

Г 70302—089 231—80. 4702010200  
078(02)—81

**ББК 84Р7**  
**Р2**

ИБ № 2436

**Анатолий Дмитриевич Голубев**

**УМРЕМ, КАК ЖИЛИ**

Редактор **М. Катаева**

Художник **В. Федоров**

Художественный редактор **К. Фадин**

Технический редактор **З. Ходос**

Корректор **А. Долидзе**

Сдано в набор 07.07.80. Подписано в печать 18.02.81. А07753. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 14,28. Учетно-изд. л. 14,7. Тираж 120 000 экз. (1-й завод 70 000 экз.). Цена 1 р. 10 к. Заказ 890.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сушчевская, 21.

Scan Kreyder - 26.08.2018 - STERLITAMAK

1 р. 10 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ